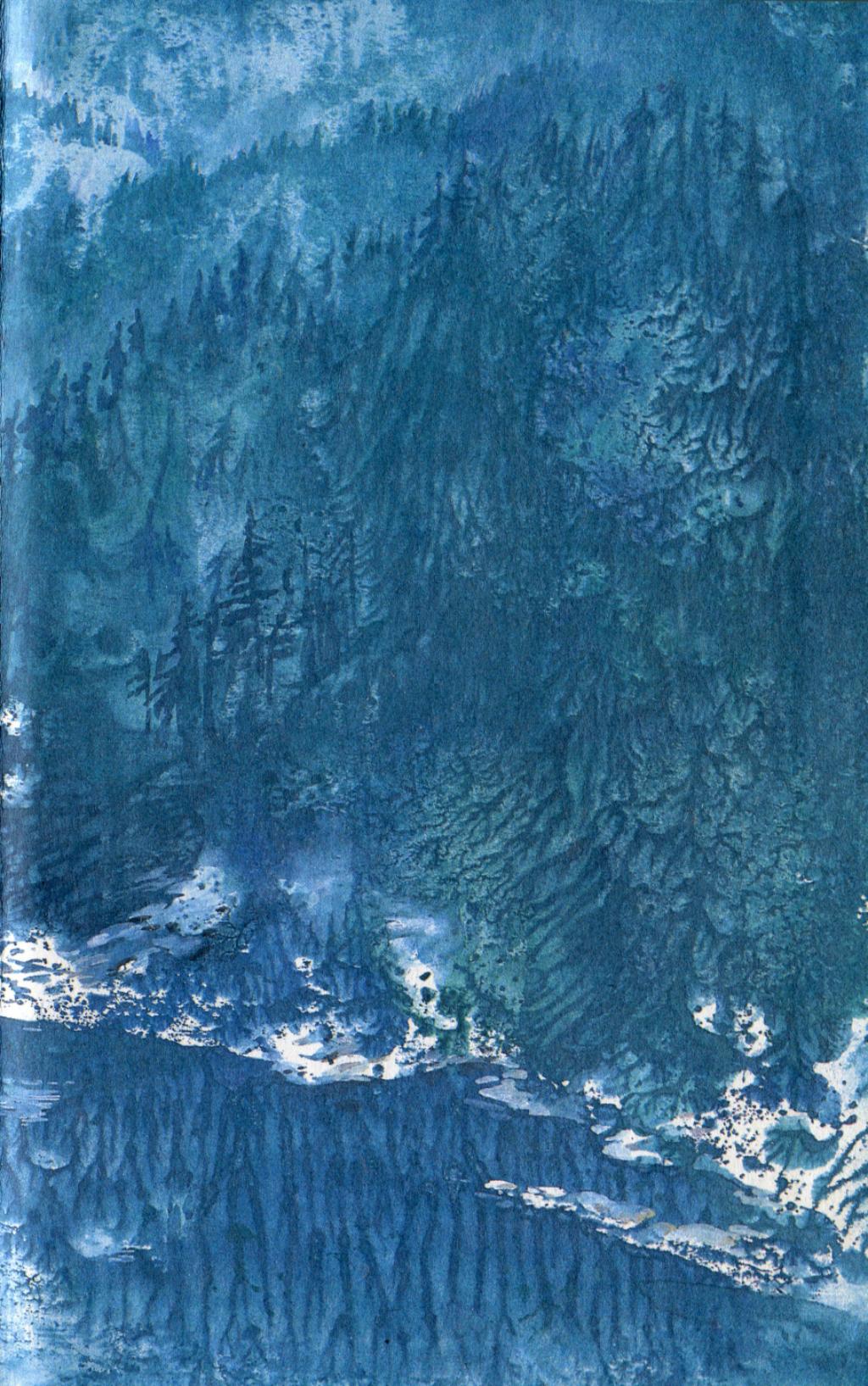


ШКОЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА

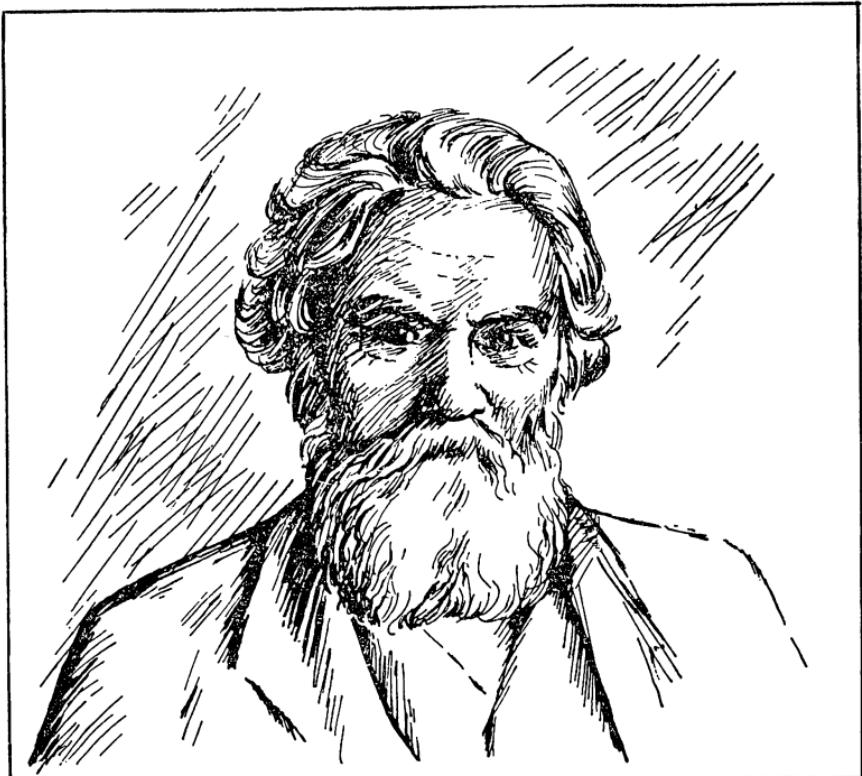
В. Г. КОРОЛЕНКО
СОН МАКАРА







ШКОЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА



Н. Королевский

1853—1921

В. Г. КОРОЛЕНКО

СОН МАКАРА

Москва
«Детская литература»
1989

ББК 84Р1
К68

Вступительная статья
В. И. ЭТОВА

Художник Н. ФЕДОРОВА

К68 **Короленко В. Г.**
Сон Макара: Рассказы, очерк / Вступит. ст.
В. И. Этова; Худож. Н. Федорова.— М.: Дет. лит.,
1989.— 256 с.: ил.— (Школьная б-ка).

ISBN 5—08—000689—7

В книгу вошли рассказы и очерк замечательного русского писателя-демократа В. Г. Короленко «Сон Макара», «Без языка», «Мороз», «Парадокс» — неизменные и желанные спутники детских лет.

К 4803010101—339
М101(03)-89 082—89

ББК 84Р1

ISBN 5—08—000689—7

© Вступительная статья. Состав. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1989

ЧЕЛОВЕК РОЖДЕН ДЛЯ СЧАСТЬЯ

«Это большой талант, это тургеневский талант» — так отзывался Н. Г. Чернышевский о Короленко в 1899 году, о творчестве еще совсем молодого писателя.

Молодого... Но уже были написаны и «Чудная», и «Соколинец», и «Слепой музыкант»... Повести и рассказы, в которых в полной мере обозначились особенности дарования Владимира Галактионовича Короленко — новой надежды русской литературы,— произведения, которые со временем стали хрестоматийными, неизменными и желанными спутниками наших детских лет.

На школьной скамье совсем еще юные читатели зачитываются его повестью «В дурном обществе», и трогательная дружба Васи с «детьми подземелья», с странным и таинственным их покровителем паном Тыбурцием надолго западает в сердце. Но потом, позднее, рассказы и повести Короленко как-то незаметно отходят на второй план, уступая место созданиям его старших современников — Л. Толстого и Ф. Достоевского или же младшего — Чехова. С этими тремя великаниями мировой классики мы уже не расстаемся всю жизнь, читаем и перечитываем не только по требованию школьной программы, но и по велению души. А Короленко остается как воспоминание о художнике светлом и возвышенном, научившем нас чему-то очень важному, без чего неполна бывает и вся последующая жизнь... Короленко не писал специально для детей. Но дети — герои многих его произведений. Да и «взрослые» герои Короленко тоже «как дети», в чем-то им

сродни. Детскость, непосредственность в восприятии мира, открытость постоянно привлекают внимание писателя. Короленко любит рисовать детскую психологию. У него нет детей с большой, изломанной психикой, с чрезмерной экзальтацией. Его юные герои — в том еще невинном, почти младенческом возрасте, когда подлинные страдания и печали скрыты от сознания, не воспринимаются в их истинном трагизме. Но безмятежность — лишь изначальная точка отсчета. Герои взрослеют на наших глазах, приобщаясь к реальным жизненным проблемам. И накопление этого «взрослого» опыта нередко составляет содержание рассказов и повестей Короленко, определяя драматизм и развитие сюжета его произведений. Небольшой очерк «Парадокс», который будто и написан лишь для того, чтобы образно, зримо выразить мысль писателя о назначении человека. Очерк напоминает мудрый урок, который сама жизнь преподнесла рассказчику. «Для чего создан человек, об этом мы с братом получили некоторое понятие довольно рано. Мне, если не ошибаюсь, было лет десять, брату около восьми» — так начинается очерк, четко обозначая тему. Десять лет — возраст немалый. Многое может вместиться в первое десятилетие человеческой жизни. Но в этом «солидном» детском возрасте маленькие герои Короленко еще пребывают в состоянии счастливого неведения. Они живут в мире мечты, прекрасной, все преобразующей фантазии, что возможно лишь в раннем детстве. Горе и несправедливость еще не коснулись сердца. Реальность уступает пред миром видений и ожиданий, которыми судьба щедро дарит ребенка. Весь мир полон очарования, а старый, заброшенный дом, какая-нибудь никому не нужная рухлядь таят в себе волнующие тайны — и все ведь серьезно, как в настоящей жизни. Маленькие герои «Парадокса» часами сидят на заборе и «удят рыбу» в старой бадье, «под колыхавшимся и шептавшим зеленым шатром, в соседстве с чудесной каретой, среди зеленоватых теней, в атмосфере полусна и полусказки». «Таковы были обстоятельства, предшествовавшие той минуте», когда их юному вниманию «предложен был афоризм о назначении жизни и о том, для чего, в сущности, создан человек...».

Разителен контраст между описанием этого блаженного детского неведения и последующим драматическим рассказом о жалком уродце, о «феномене» и его загадочном афоризме. И как напутствие на всю последующую жизнь звучат слова «феномена»: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Но это тоже лишь мечта, хотя и большая и подлинно человеческая. Как напоминание о трудности ее осуществления, о драматизме человеческого существования и судьба самого «феномена» и его горькие слова: «Феномен тоже человек, и он менее всего создан для полета». При удивительной простоте формы — просто очерк, просто описание однажды случившегося — перед нами одно из глубочайших созданий русской классики, редкое по художественной

законченности и богатству мысли. Небольшой шедевр большого русского писателя.

Детство для Короленко не только безмятежная идиллия, но и высокая норма жизни и гуманности — она дарует человеку те дорогие впечатления, которые он бережно хранит всю жизнь. Героям рассказов Короленко хорошо ведомо то **нормальное** детство, которое так привлекает нас у Л. Толстого и которого были лишены в разной мере герои Достоевского, Решетникова, Горького. Гармония и красота, которыми дарит нас в своих рассказах Короленко, не вымысел писателя, а чаще всего воплощенное в слове лично пережитое, вынесенное им из собственных детских лет.

Он родился 27 июля 1853 года на Украине в Житомире, в ту пору относившемся к Волынской губернии, на западной окраине России, где своеобразно переплелись «русский, польский и украинский элемент». Это смешение языков, нравственных и культурных обычаяев Короленко знал прежде всего по собственной семье. Можно сказать, впитывал с молоком матери.

«По семейному преданию, род наш шел от какого-то миргородского казачьего полковника, получившего от польских королей гербовое дворянство,— вспоминает Короленко в «Истории моего современника». — После смерти моего деда отец, ездивший на похороны, привез затейливую печать, на которой была изображена ладья с двумя собачьими головами на носу и корме и с зубчатой башней посередине. Когда однажды мы, дети, спросили, что это такое, отец ответил, что это наш «герб» и что мы имеем право припечатывать им свои письма, тогда как другие люди этого права не имеют. Называется эта штука по-польски довольно странно *«Korabl i Lodzia»* (ковчег и лодья), но какой это имеет смысл, сам отец объяснить нам не может: пожалуй, и никакого смысла не имеет».

У отца писателя, уездного судьи Житомира, были свои представления о достоинстве и чести. В годы, когда многое в России держалось на произволе и взятке, он безбоязненно стоял за закон и справедливость и щепетильно соблюдал личную порядочность.

С юмором вспоминает Короленко о конфликтах, происходивших в семье на этой почве. Все попытки как-то отблагодарить судью им решительно пресекались. Но тем не менее случались и казусы. Однажды бедная вдова, выигравшая благодаря заступничеству отца процесс и неожиданно разбогатевшая, все же обхитрила судью, одарив подарками его детей. Маленькой дочке досталась роскошная кукла. «Когда отец пришел из суда, в нашей квартире разыгралась одна из самых бурных вспышек, какие я только запомнил,— пишет Короленко.— Он ругал вдову, швырял материи на пол, обвинял мать и успокоился лишь тогда, когда перед подъездом появилась тележка, на которую навалили все подарки и отослали обратно.

Но тут вышло неожиданное затруднение. Когда очередь дошла до куклы, то сестра решительно запротестовала, и протест

ее принял такой драматический характер, что отец после нескольких попыток все-таки уступил, хотя и с большим неудовольствием.

— Через вас я стал-таки взяточником,— сказал он сердито, уходя в свою комнату.

Естественно, отец не находил понимания в глазах городских обывателей. «Чудак был,— решали не раз благодушные обыватели.— А что вышло: умер, оставил нищих».

После смерти отца жили на скучную вдовью пенсию, которую друзья покойного выхлопотали через некоторое время. Мать, чтобы свести концы с концами, добилась разрешения «держать ученическую квартиру». Больная, слабая и одинокая, она «с истинно женским героизмом отстаивала» будущее детей. В это время ученику Ровенской районной гимназии Владимиру Короленко едва исполнилось пятнадцать лет.

Он рос большим фантазером. Но за детскими фантазиями и причудами ребенка со «странным характером» проглядывал рано проснувшийся интерес к «вечным» вопросам о смысле жизни и назначении человека.

В «странных» детской психологии — зерно будущего таланта. Но формирует талант, определяя его направление, общественная атмосфера, личное участие человека в делах страны.

Выпускника Ровенской гимназии манила студенческая скамья. В начале 70-х годов он студент Петербургского технологического института. Вскоре в столицу переехала и вся семья. Денег на жизнь семьи и учебу в институте не было. Приходилось перебиваться случайными заработками. Старший брат устроился работать корректором, Владимир тоже держал корректуры, а еще раскрашивал атласы, рисовал географические карты, делал чертежи, занимался переводами. Но через три года неустроенной жизни потянуло в Москву: сложился новый план — окончить Петровскую академию, стать лесничим и поселиться где-нибудь с матерью в лесном домике. «В далеком уголке души... у него таилась надежда: в маленьком домике я напишу повесть... А там...»

Короленко вступал в литературу в трудную, драматическую пору русской истории. Далеким воспоминанием остались 60-е годы, когда, казалось, проснулась крестьянская Русь. Когда демократы-революционеры, Чернышевский и Добролюбов, Некрасов и Салтыков-Щедрин, надеялись на возможность решительных перемен во всем устройстве русской жизни. Те надежды не оправдались. Слишком забит, политически неразвит оказался русский крестьянин. Стало ясно — надо его просвещать, и начинать с самого элементарного, с обучения грамоте. Сотни и тысячи добрых прекраснодушных мечтателей отправились в народ, селились по деревням, чтобы познакомить деревенский люд с новыми идеями общественного устройства жизни. Но это мирное хождение в народ не принесло желанных плодов: чаще

всего «смутьянов» и «социалистов» не принимали всерьез, а нередко выдавали полиции. Нетерпение, бессилен и отчаяние толкали русских революционеров на путь террора против властей предержащих. Первый выстрел в царя прогремел 4 апреля 1866 года, последний — 1 марта 1881-го. Аресты, ссылки, казни, эшафоты и тюрьмы — таковы ответные меры самодержавной власти. Тем не менее все новые поколения русских интеллигентов, прежде всего из числа студенческой молодежи, втягивались в политическую борьбу. И среди них — студент Петровской земледельческой и лесной академии Владимир Галактионович Короленко. Его путь в народ характерен. Для целого ряда поколений русской интеллигенции самые яркие воспоминания юности связываются непременно с мотивами этого рода: обыск, арест, ссылка... «Молодые мечты о переустройстве общества и... каземат», — писал он позднее в связи с кончиной Салтыкова-Щедрина. Во время очередных студенческих беспорядков Короленко был исключен из академии, арестован и выслан на Север. Его первый рассказ так и назван: «Эпизоды из жизни искателя» (1879). Эпиграф к нему — из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Арестами и ссылками обозначен путь молодого писателя. После первого марта всем политическим ссылочным было предложено принять присягу. Короленко отказался и вскоре из Перми, где он жил под надзором полиции, был препровожден в далекую Якутию. Жизнь, шутил позднее писатель, поставила его «в отношения полного «равенства» с народом»: он шил сапоги, выполняя заказы «на сторону», пахал, сеял... и писал. Но не для печати. Тем не менее первые рассказы Короленко дошли до читателя, хотя и публиковались без подписи.

Среди лучших рассказов якутского периода его жизни, когда «писать для печати безусловно не допускалось», — «Сон Макара» и «Убивец». А тех сибирских впечатлений хватило ему на всю жизнь. Рассказ «Соколинец», написанный по возвращении из ссылки, вызовет восхищенное признание Чехова: «Ваш «Соколинец», мне кажется, самое выдающееся произведение последнего времени. Он написан как хорошая музыкальная композиция, по всем тем правилам, которые подсказываются художнику его инстинктом». Вскоре после этого и сам Чехов совершил поездку на Сахалин, чтобы познакомиться с бытом тамошних «соколинцев».

Чехов подметил очень важную черту рассказов Короленко: их художественную завершенность, внутреннюю гармонию — как в хорошей музыкальной композиции. Сурова, неприглядна жизнь в «сибирских» рассказах и очерках Короленко, но писатель находил в ней истинную поэтичность и красоту. Он смотрел на жизнь внимательным и влюбленным взглядом художника-живописца, умеющего остановить прекрасное мгновение и под внешне неприглядными покровами увидеть то, что скрыто от равнодушного

взора: редкую красоту души русского человека, его мужество и достоинство, своеобразное строгое величие сибирских просторов. Таковы описания окрестностей реки Лены (рассказ «Государевы ямщики»). «Через некоторое время дорога вышла из лесу и направилась через опушку к реке. На другой стороне, казалось, совсем близко, стояли стеной скалы, изломанные, причудливые, мертвые, с трещинами, выступами, ущельями... А под ними, убегая вдаль, струилась темная река.

Зрелище было полно такой глубокой и такой красивой печали, что я невольно остановил лошадь. Микеша тоже остановился и с удивлением посмотрел на меня.

— Что стал? — спросил он.

— Хорошо очень, Микеша, — ответил я с невольным восхищением, не отрывая глаз от освещенного косыми лучами горного берега. Это волнение от встречи с красотой тем более поразительно, если вспомнить, что его переживает не вольный человек, путешествующий по своей надобности и охоте, а ссыльный. Описание открывает в рассказчике человека большой и мудрой души, умеющего взглянуть на жизнь широко, легко поднимаясь над собственным, порой неблагоприятными, обстоятельствами. А ведь он мог бы и озлобиться, проведя долгие годы ссылки среди суровых тех мест. Но нет, душа его полна добра и отзывчива на красоту. В этом правда жизни русского революционера. Но так же верна и правдива реакция его спутника — ямщика Микеши, который, не скрывая, тяготится своей жизнью — жизнью человека тяжелого, по сути подневольного труда:

« — Хорошо? — переспросил он все так же удивленно и прибавил с глубоким убеждением на наивно-изломанном наречии средней Лены: — Нет! Белом свете хорошо. За горами хорошо... А мы тут... зачем живем? Пеструю столбу караулим... Пеструю столбу, да серый камень, да темную лесу...»

Этот диалог ямщика и его спутника весьма характерен для художественных построений писателя. Зримый контраст вольного и подневольного отношения к жизни, суровой реальности, тяготящей над человеком, и его вечной, романтически возвышенной устремленности к чему-то новому, подлинно прекрасному, неизведанному, к тому, что там, «за горами», — основа «музыкальных композиций» Короленко. И как хорош этот неугомонный Микеша — простой ямщик из глухого таежного поселка! Он слынет странным, непутевым, и все из-за того, что готов любой ценой удовлетворить свою страсть — жажду справедливой жизни. И сколько силы и неутоленного желания вложено в его вопрос «Зачем живем?»! Каждый из любимых героев Короленко да и сам писатель стремятся разгадать вековечную загадку: зачем, для чего живет на свете человек.

Пишет ли Короленко о детях или сибирских бродягах, он всегда преисполнен веры в человека, в возможность его пробуждения, выпрямления, как бы ни был темен и забит этот человек.

Таков «коренной чалганский крестьянин» Макар, который, прожив жизнь в якутской тайге, хотя и очень гордился своим званием и ругал других «погаными якутами», давно уже перенял якутские нравы и обычаи, женился на якутке и по-русски говорил мало и плохо. Имя героя подчеркнуто символично — он тот самый Макар, на которого, по пословице, все шишки валятся и который загнал своих телят в далекие угрюмые страны (по поговорке — «Куда и Макар телят не гонял»). И вот «бедному Макару» приснился в рождественскую ночь сказочный сон. Так начинается этот «святочный рассказ», в котором герой, по законам избранного жанра, должен пережить веселые и необычные приключения и выйти, как говорится, сухим из воды. Как, скажем, кузнец Вакула в рассказе Гоголя «Ночь перед рождеством».

В «святочном рассказе» Короленко тоже немало забавной чертовщинки. Ну хотя бы описание жизни веселого попа Ивана, который «умер нехорошою смертью» — упал в огонь камелья. Именно с ним суждено Макару встретиться в своем сне и совершил путешествие к большому Тойону. Конечно, путешествие сказочное, да и само повествование похоже на сказку, но сказку особую — сатирическую, в которой все основано на правде жизни и реальные бытовые детали больше фантастичны, чем писательский вымысел. Как в «Сказках для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина, именно в этом, щедринском духе и стиле — «святочный рассказ» Короленко и жизнеописание его героя. «Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. Были ли у него какие-нибудь мысли, кроме непрестанных забот о лепешке и чае? Да, были. Когда он бывал пьян, он плакал. «Какая наша жизнь,— говорил он,— господи боже!» В праздничную ночь Макар замерз в лесу. И как положено в «святочном рассказе», он предстал на суд божий. И вот тут-то с ним произошла та метаморфоза, ради которой и написан рассказ. Бессловесный Макар получил дар слова и заговорил. В его сердце вспыхнул великий гнев на прожитую жизнь, в нем пробудилось чувство достоинства, и он сумел поведать пред лицом высшего судии подлинную правду о своих бедах и невзгодах. Такого пробуждения и ждали от русского крестьянина писатели-демократы, веря и надеясь, что не всегда он будет спать непробудным сном, и обращались к русскому народу с тревожным и волнующим вопросом: «Ты проснешься ль, исполненный сил?...»

Однако Короленко, как и Некрасов, понимал, что «пробуждение» — процесс непростой. В своих несчастьях «бедный Макар» и сам немало виноват. «Ты и убогая, ты и обильная, матушка Русь», — писал Некрасов. Кругом обманутый, Макар и сам привык жить обманом и принимать обман, элементарную житейскую хитрость за высший ум. Да и в его переживаниях и обидах на жизнь подчас немало комического, чисто детского. Вместе с автором мы не можем не улыбнуться по поводу его страданий в связи с

наступающим праздником и заботами, как бы раздобыть немного денег. Его «несчастью» можно посочувствовать. Но разве не вызывает его суeta, его намеренный обман ради того, чтобы получить рубль в долг, снисходительной жалости? Все в Макаре, однако, искупает его непрерывный, непосильный труд — только им он оправдан. Писатель знает всю подноготную своего героя и рассказывает об обстоятельствах его жизни то с легким юмором, то с искренним глубоким сочувствием. В этом многообразии авторских чувств и интонаций — особая прелесть рассказа. Горький и драматический рассказ о «бедном Макаре» вбирает в себя и страстную писательскую жажду красоты и гармонии. И как часто у Короленко, его мечта о «другой жизни» воплощена в пейзажных картинах. На этот раз символических, переданных языком эпического сказания: «И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потеплела. Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража... И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая, давно забытая песня, которую земля каждый раз приветствует солнце... Он стоял и слушал и не хотел идти далее».

Перечитайте этот прекрасный кусок лирической прозы, исполненной какой-то особенной торжественности, как будто впервые перед человеком распахнулся весь безбрежный мир. Человек и мир — вот тема отрывка. Но есть здесь и своя горькая дума, на которую обратил внимание А. В. Луначарский. Процитировав это лирическое место рассказа Короленко, он заметил: «Тут налицо только желание вечно созерцать, вечно слушать музыку мировой жизни, неясная тоска по счастью вне времени — счастью, которого никогда не испытал бедный, бедный Макар, вечно подавленный заботами о куске хлеба». Сказано не только о герое рассказа. Не этим ли чувством «неясной тоски по счастью вне времени» проникнуты лучшие произведения Короленко, будь то «Сон Макара» или «Без языка»?

Десять трудных лет, насыщенных всевозможными событиями в жизни писателя, разделяют эти рассказы.

По возвращении из ссылки Короленко поселился в Нижнем Новгороде. В этом большом приволжском городе, ревниво соперничавшем с Москвой, городе крупных пароходовладельцев, промышленных и банковских воротил, окреп его художественный талант, ярко проявилось редкое дарование писателя-публициста.

Публикация рассказа «Сон Макара» в столичном журнале «Русская мысль» привлекла внимание к молодому писателю. Он активно сотрудничает как в столичной, так и в местной прессе. Последнее для него становится делом чести и совести. В казанской газете «Волжский вестник» начинают появляться его корреспонденции, в которых он сообщает о произволе администрации, злоупотреблениях в городской думе, о хищениях в Нижегородском дворянском банке. Его боятся, пытаются ему

помешать, но растет и число помощников. Прогрессивные городские и земские деятели потянулись к Короленко, сообщая ему факты, которых сами не решались оглашать, советовались, несли интересные материалы. Выступления Короленко в печати показали нижегородцам, какую силу представляет гласность (даже если и ставят рогатки на ее пути) и какого защитника правды и справедливости приобрели они в его лице. Не случайно годы жизни писателя в Нижнем (1886—1896) они окрестили «эпохой Короленко».

Да и сам писатель немало приобрел от своего повседневного участия в нижегородских делах. Ряд его крупных очерков тех лет составился из корреспонденций, посвященных местным «больным» вопросам. Так им были написаны «Павловские очерки». По просьбе самих кустарей из Павловска он побывал на промыслах и поразился каторжными условиями их труда и жизни. Да и сегодня нельзя без возмущения, чувства горя и унижения читать об искалеченных судьбах, особенно детских. В одной из сцен писатель сообщает, как он был поражен безнадежным взглядом тринадцатилетней девочки — полировщицы замков, худой и морщинистой, как и ее мать. «Такой детский взгляд выносить очень трудно. Старики много знают или... уж очень много забывают. Наконец, старики, так или иначе, погрешили уже против жизни. Но дети неповинны в ее неправдах, и потому у них сохраняется какое-то странное инстинктивное сознание или, вернее, воспоминание о своем естественном праве. За что они страдают? Где тут правда? Когда такой глубоко сознательный детский взгляд устремляется на вас и в нем светится раннее страдание и этот упорный вопрос — вам нечего ответить и вы невольно отворачиваетесь, чтобы только избежнуть этого безмолвного, тяжелого упрека».

Сам Короленко не отворачивался ни от детских, ни от взрослых страданий. В 1891 году он принимает участие в ликвидации последствий страшного бедствия — голода, организует помочь голодающим, вопреки сопротивлению губернского начальства, прикрасившего положение дел в среднем Поволжье, выявляет истинные масштабы бедствия, а главное, находит истинных виновников постигшего народ несчастья — засилье старых порядков, повсеместное бесправие и произвол так называемых уездных начальников.

В «Павловских очерках», как и во многих других нижегородских корреспонденциях, Короленко следовал традициям Салтыкова-Щедрина, зло высмеивая бюрократизм, полицейский и административный произвол — все то, что, по выражению гениального сатирика, составляло «мелочи» русской жизни. Он вел трудную неравную борьбу, добиваясь соблюдения элементарной законности и демократических свобод, и ему удавалось не раз выходить победителем. Так было и в прогремевшем по всей России мултанском деле, где ему выпало на долю защитить невинных лю-

дей — бесправных вотяков, обвиненных в человеческом жертвоприношении. Защищая несчастных, темных, как тогда говорили, инородцев, Короленко столкнулся с самыми страшными сторонами тогдашнего судопроизводства, со стремлением полицейских властей сделать карьеру на основе громкого процесса. В этом Короленко был убежден. «Говорил с вотяками,— записывает он в дневнике,— был в шалаше, где якобы принесена жертва, ходил по мрачной тропе, на которой найден труп. И только все более и более убеждаюсь, что все это по отношению к вотякам лишь подлая интрига честолюбивого прокурора и выслуживающихся перед ним полицейских. Ни для кого из местных жителей не тайна, что пытки по отношению к вотякам практиковались самым наглым образом, точно в бессудной стране».

Писатель считал необходимым познакомить с этим вопиющим делом русскую общественность. Со стенографической точностью он записал всю судебную процедуру, хлопотал в Петербурге и Москве, добиваясь нового судебного разбирательства, и сам с блестящей речью выступил на судебном процессе. Восемь дней длилось заседание, ему пришлось дважды выступать в защиту вотяков, и его речью кончилось заседание. «Все говорят и пишут,— сообщал он брату,— что мои речи произвели сильное впечатление. Я это тоже чувствую сам, потому что я глубоко убежден в полной невинности вотяков... на 8-й день — приговор: «нет — не виновны...» Для всех моих друзей повсюду это было огромное торжество...»

Да, это было торжество честного русского писателя, пример того, какую роль может играть интеллигенция в жизни страны. После мултанского дела имя Короленко приобретает всероссийскую известность, оно становится символом русской интеллигенции, о которой с таким проникновением говорил Короленко начинавшему тогда Горькому, искавшему поддержки у знаменитого писателя:

«Это — дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано布鲁но, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодает в ссылке,— с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьму,— все это — самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее...» «Необходима справедливость! — убеждал он.— Когда она, накопляясь понемногу маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы».

В России и за ее пределами имя Короленко приобретает такую же популярность, как и имя Льва Толстого. Когда в 1893 году он совершил путешествие за океан, одна из нью-йоркских газет сообщала: «Из Сибири в Америку! Владимир Короленко, один из литературных вождей России, едет жить в этой стране. По

своему таланту он может быть признан вторым только по сравнению с Толстым и, как и этот писатель, защищает дело своего народа».

В этом газетном сообщении, рассчитанном на сенсацию, есть и большая доля правды — Короленко приехал в Америку действительно ради своего народа, ради изучения и информации о жизни соотечественников за рубежом. На основе этой поездки и был написан рассказ «Без языка». Судьбы соотечественников — русских, украинских, белорусских крестьян, — устремившихся в эти годы за кордон в поисках «доли», не могли не волновать писателя. По-разному складывались судьбы русских переселенцев. На долю его героя, казалось бы, выпал счастливый случай.

Бессловесный, «немой» полесский крестьянин Матвей Лозина, по прозванию Дышло, все же обретает за рубежом и язык, и долю, становится зажиточным фермером. Правда, такое счастливое разрешение своей судьбы он обретает не без помощи соотечественников — из числа тех русских интеллигентов, кто мечтал организовать на чужбине жизнь на общинных, социалистических началах. Пожалуй, ни в одном другом произведении Короленко так ясно не прозвучала его заветная мысль о необходимости дружеского союза крестьянства и передовой интеллигенции, о их взаимопонимании и взаимопомощи (в «Сне Макара» он когда-то изображал драматический разлад между «чалдоном» Макаром и ссыльным революционером). В этом он также следует заветам 60-х годов, создав в рассказе «Без языка» в образе инженера Нилова свой вариант Гриши Добросклонова. Именно Нилов помогает Матвею адаптироваться в новых условиях, стать членом русской земледельческой колонии. Возможно, сам Короленко и понимал всю утопичность идеи о процветающей колонии русских в Америке, основанной на принципах свободного артельного труда. Не случайно положительный герой рассказа инженер Нилов чем-то внутренне неудовлетворен, испытывая какое-то глубокое, хотя и смутное беспокойство. Но благополучным окончанием «одиссеи» полесского крестьянина Короленко утверждал самую дорогую для него мысль: человек рожден для счастья.

Вместе с тем рассказ «Без языка» глубже и значительнее, нежели о том можно судить лишь по его внешней событийной канве. Внимание исследователей обычно привлекает то, с какой широтой и беспощадностью изобразил Короленко в рассказе социальные контрасты американской жизни. И надо заметить, что как художник Короленко блестяще использовал возможность показать современную развитую цивилизацию глазами бесхитростно мыслящего «лесного человека». На митинге безработных Матвей видит огромное множество людей в потертых пиджаках, засаленных сюртуках, измятых шляпах, озлобленных и угрюмых. Один из них, отчаявшись, повесился на дереве на краю парка, где собрался митинг. И совершенно непонятна полесскому кре-

стьянину привычка американцев разрешать конфликты кулачным боем.

Однако эти социальные контрасты, обычные в книгах наших писателей, посвященных заграничным впечатлениям, начиная с «Писем из Франции» Фонвизина, у Короленко не главное, они составляют лишь фон «приключений» русского переселенца в чужой стране. Куда сильнее противопоставление материального благополучия духовной нищеты, контрастов жизни «на разных общественных этажах» описано в публицистике Герцена и Достоевского, в «Крейцеровой сонате» Л. Толстого, а в советской литературе в «Городе желтого дьявола» Горького, в «Моем открытии Америки» и цикле стихов Маяковского. Короленко сосредоточен не на описании внешней стороны американской жизни, а на ее восприятии русским человеком, на его переживаниях и возможности адаптации к чужим, незнакомым условиям. И здесь Короленко выступает как подлинный первооткрыватель, отмечая внутренний драматизм того духовного перелома, который переживает человек, даже удачно вписавшийся в инородную национальную и социальную среду,— неизбежность болезненных переживаний, связанных с разрывом с родной почвой.

Жизненные странствия Матвея Лозинского, этого новоявленного Одиссея, внешне завершились весьма благополучно. Но в какой мере сбылись его мечты, ради которых он, порвав с родной землей, отправился за океан? И вообще — сбылись ли?

Матвей ехал в Америку с чисто русскими, традиционно крестьянскими представлениями о счастье. Там, в чужой стране, он надеется найти ту самую деревню, которая ему померещилась в Лозищах, которая «виднелась им из-за дали океана, в туманных мечтах, как земля обетованная, как вторая родина, которая должна быть такая же дорогая, как и старая родина.

Такая же, как и старая, только лучше...

Такие же люди, только добрее. Такие же мужики, в таких же свитках, только мужики, похожие на старых лозищан, еще не забывших о своих старых правах, а свитки тоньше и чище, только дети здоровее и все обучены в школе, только земли больше, и земля родит не по-нашему...». Сколько их, таких Матвеев, искало «непоротой губернии, непотрошеной волости, избыткова села»...

На одном краю России якутского крестьянина Макара мечта о справедливости привела к «большому Тойону», на другом краю — забросила за океан. Но и тут не суждено мечте сбыться...

Своеобразная метаморфоза происходит с Матвеем в чужой земле. Волшебница Кирка когда-то одурманила Одиссея и его спутников своими чарами, одарив их мнимым счастьем вдали от родной Итаки. Похожее происходит с русскими людьми в Америке.

Такую метаморфозу и переживает Матвей. (Эта тема намече-

на, но не развита в рассказе, однако она не менее запечатльна, нежели тема страданий героя в чужой стране «без языка».) И вот парадокс, тонкая насмешка умного художника-реалиста: пока Матвей живет своей «русской болью», мечтами и привычками, он человек «без языка», чужак, «дикарь» среди «цивилизованных», белая ворона среди людей другой веры. Перестав быть русским, став яицами, он обретает и благополучие, и «язык», становится «своим» в этой чужой ему по воспитанию и по привычкам стране. Иначе он пропадет на чужбине. Эту неизбежную метаморфозу и показал в своем рассказе Короленко, причем показал ее скорее символично, нежели детально обрисовав сам ход подобного превращения русского в американца (для сюжета превращения у него, художника-документалиста, собственно, и не было живых впечатлений).

Проблема превращения, и превращения неизбежного, лишь намечена — но в этом подлинное открытие Короленко, его личный вклад как художника и мыслителя в большую тему русской литературы, тему «русский человек на чужбине».

«И вот ночью Матвею приснилось, что кто-то стоит над ним, огромный, без лица и не похожий совсем на человека, стоит и кричит, совсем так, как еще недавно кричал в его ушах океан под ночным ветром:

— Глупые люди, бедные, темные люди. Нет такой деревни на свете, и нет таких мужиков, и господ таких нету, и нет таких писарей. И поле здесь не такое, и не то здесь в поле родится, и люди иные. И нет уже тебя, Матвея Дышла, и нет твоего приятеля Дымы, и нету Анны! Прежний Матвей уже умер, и умер Дыма, и умерла ваша прежняя вера, и сердце у вас станет другое, и иная душа, и чужая молитва. И если бы встала твоя мать из заброшенной могилы, на тихом кладбище под лозищенным лесом, — то здесь в детях твоих она не признала бы своих внуков... Потому что они не будут похожи ни на отца, ни на тебя, ни на дедов, ни на прадедов... А будут американцы...»

Преданность вере и земле отцов всегда считалась в русской культуре признаком благородства человека, а отречение от них уподоблялось страшному греху предательства, достойному беспощадного осуждения и казни. (Не за то ли покарал Тарас Бульба Андрия?)

Бывший бедный крестьянин из Лозищ, что на Волыни, где еще помнили о «старых правах» и доблестях казачества, в Америке стал зажиточным колонистом — у него есть свой клок земли, свой дом, своя корова и телка. Скоро у него будет и своя жена. Пока ему недостает лишь добрых синих глаз его возлюбленной Анны. Но как говорит один ученый из этого рассказа, «со временем все заменят машины». Даже... синие глаза. Он «новый человек» (чем-то напоминающий Чарлза Бью蒙та в романе Чернышевского «Что делать?»), но почему-то его гложет тоска «по старой родине».

Так заканчивается этот рассказ 1895 года, который Короленко тщательно переработал в 1902-м. И этим рассказом он, старый правдолюбец, один из немногих русских идеалистов, мечтавший, по словам Горького, разбудить «дремавшее правосознание огромного количества русских людей», входил в новый, XX век. Век, чреватый такими катаклизмами и бедствиями, которые многих и многих наших соотечественников лишили родного крова, и, оказавшись за рубежом, они пережили драму людей без языка и без родины. В отличие от героя Короленко, не все они смогли «поменять кожу» и сменить русские мечты на европейскую или американскую веру. Многие мучились, страдали, проклинали судьбу, лелеяли надежду вернуться на родину и гибли на чужбине...

Человек рожден для счастья. Но оно у него одно и лишь на родине. Одно на всех. Так понимал жизнь и судьбу человека Короленко, и не случайно Матвей Лозинский припоминает слова инженера Нилова и начинает постигать их подлинный смысл: «На родине мне хочется того, что есть здесь... Свободы своей, понимаете? Здесь мне хочется родины». Соединить все достижения человеческого гения с родной национальной культурой, достижения мировой цивилизации с преданиями, нравами Отечества — вот в чем истинное счастье человека. Русского человека.

B. Этов

СОН МАКАРА



ПАРАДОКС



БЕЗ ЯЗЫКА



МОРОЗ



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯМЩИК»







СОН МАКАРА

Святочный рассказ

I

Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далекие, угрюмые страны,— тот самый Макар, на которого, как известно, валятся все шишки.

Его родина — глухая слободка Чалган — затерялась в далекой якутской тайге. Отцы и деды Макара отвоевали у тайги кусок промерзшей землицы, и хотя угрюмая чаща все еще стояла кругом враждебною стеной, они не унывали. По расчищенному месту побежали изгороди, стали скирды и стога, разрастались маленькие дымные юртенки: наконец, точно победное знамя, на холмике из середины поселка выстрелила к небу колокольня. Стал Чалган большою слободой.

Но пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли ее огнем, рубили железом, сами они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык и якутские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали.

Как бы то ни было, все же мой Макар твердо помнил, что он коренной чалганский крестьянин. Он здесь родился, здесь жил, здесь же предполагал умереть. Он очень гордился своим званием и иногда ругал других «погаными якутами», хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах «торбаса», питался в обычное время одною лепешкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в дру-

тих экстренных случаях съедал топленого масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе. Он ездил очень искусно верхом на быках, а в случае болезни призывал шамана, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стараясь испугать и выгнать из Макара засевшую хворь.

Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. Были ли у него какие-нибудь мысли, кроме непрестанных забот о лепешке и чае?

Да, были.

Когда он бывал пьян, он плакал. «Какая наша жизнь,— говорил он,— господи боже!» Кроме того, он говорил иногда, что желал бы все бросить и уйти на «гору». Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молоть зерно на ручном жернове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко,— так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику... Податей платить, понятно, он также не будет...

Трезвый он оставлял эти мысли, быть может сознавая невозможность найти такую чудную гору; но пьяный становился отважнее. Он допускал, что может не найти настоящую гору и попасть на другую. «Тогда пропадать буду», говорил он, но все-таки собирался; если же не приводил этого намерения в исполнение, то, вероятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда скверную водку, настоящую, для крепости, на махорке, от которой он вскоре впадал в бессилие и становился болен.

II

Дело было в канун рождества, и Макару было известно, что завтра большой праздник. По этому случаю его томило желание выпить, но выпить было не на что: хлеб был в исходе; Макар уже задолжал у местных купцов и у татар. Между тем, завтра большой праздник, работать нельзя,— что же он будет делать, если не напьется? Эта мысль делала его несчастным. Какая его жизнь! Даже в большой зимний праздник он не выпьет одну бутылку водки!

Ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал и надел свою рваную *сону* (шубу). Его жена, крепкая, жилицкая, замечательно сильная и столь же замечательно безобразная женщина, знавшая насквозь все его нехитрые помышления, угадала и на этот раз его намерение.

— Куда, дьявол? Опять один водку кушать хочешь?

— Молчи! Куплю одну бутылку. Завтра вместе выпьем.— Он хлопнул ее по плечу так сильно, что она покачнулась, и лукаво подмигнул. Таково женское сердце: она знала, что Макар непременно ее надует, но поддалась обаянию супружеской ласки.

Он вышел, поймал в *аласе* старого лысанку, привел его за гриву к саням и стал запрягать. Вскоре лысанка вынес своего хозяина за ворота. Тут он остановился и, повернув голову, вопросительно поглядел на погруженного в задумчивость Макара. Тогда Макар дернул левою вожжой и направил коня на край слободы.

На самом краю слободы стояла небольшая юртена. Из нее, как и из других юрт, поднимался высоко-высоко дым камелька, застилая белою, волнующеюся массою холодные звезды и яркий месяц. Огонь весело переливался, отсвечивая сквозь матовые льдины. На дворе было тихо.

Здесь жили чужие, дальние люди. Как попали они сюда, какая непогода кинула их в далекие дебри, Макар не знал и не интересовался, но он любил вести с ними дела, так как они его не прижимали и не очень стояли за плату.

Войдя в юрту, Макар тотчас же подошел к камельку и протянул к огню свои иззябшие руки.

— Чай! — сказал он, выражая тем ощущение холода.

Чужие люди были дома. На столе горела свеча, хотя они ничего не работали. Один лежал на постели и, пуская кольца дыма, задумчиво следил за его завитками, видимо связывая с ними длинные нити собственных дум. Другой сидел против камелька и тоже вдумчиво следил, как перебегали огни по нагоревшему дереву.

— Здорово! — сказал Макар, чтобы прервать тяготившее его молчание.

Конечно, он не знал, какое горе лежало на сердце чужих людей, какие воспоминания теснились в их головах в этот вечер, какие образы чудились им в фантастиче-

ских переливах огня и дыма. К тому же у него была своя забота.

Молодой человек, сидевший у камелька, поднял голову и посмотрел на Макара смутным взглядом, как будто не узнавая его. Потом он тряхнул головой и быстро поднялся со стула.

— А, здорово, здорово, Макар! Вот и отлично! Напьешься с нами чаю?

Макару предложение понравилось.

— Чая? — переспросил он. — Это хорошо!.. Вот, брат, хорошо... Отлично!

Он стал живо разоблачаться. Сняв шубу и шапку, он почувствовал себя развязнее, а увидав, что в самоваре запылали уже горячие угли, обратился к молодому человеку с излиянием:

— Я вас люблю, верно!.. Так люблю, так люблю... Ночи не сплю...

Чужой человек повернулся, и на лице его появилась горькая улыбка.

— А, любишь? — сказал он. — Что же тебе надо?

Макар замялся.

— Есть дело, — ответил он. — Да ты почем узнал?.. Ладно. Ужо, чай выпью, скажу.

Так как чай был предложен Макару самими хозяевами, то он счел уместным пойти далее.

— Нет ли жареного? Я люблю, — сказал он.

— Нет.

— Ну, ничего, — сказал Макар успокоительным тоном, — съем в другой раз... Верно? — переспросил он, — в другой раз?

— Ладно.

Теперь Макар считал за чужими людьми в долгу кусок жареного мяса, а у него подобные долги никогда не пропадали.

Через час он опять сел в свои дровни. Он добыл целый рубль, продав вперед пять возов дров на сходных сравнительно условиях. Правда, он клялся и божился, что не пропьет этих денег сегодня, а сам намеревался это сделать немедленно. Но что за дело? Предстоящее удовольствие заглушало укоры совести. Он не думал даже о том, что пьяному ему предстоит жестокая трепка от обманутой верной супруги.

— Куда же ты, Макар? — крикнул, смеясь, чужой человек, видя, что лошадь Макара, вместо того что-

бы ехать прямо, свернула влево, по направлению к татарам.

— Тпру-у!.. Тпру-у!.. Видишь, конь проклятый какой... куда едет! — оправдывался Макар, все-таки крепко на-тягивая левую вожжу и незаметно подхлестывая лысанку правой.

Умный конек, помахивая укоризненно хвостом, тихо поковылял в требуемом направлении, и вскоре скрип Макаровых полозьев затих у татарских ворот.

III

У татарских ворот стояли на привязи несколько коней с высокими якутскими седлами.

В тесной избе было душно. Резкий дым махорки стоял целой тучей, медленно вытягиваемый камельком. За столами и на скамейках сидели приезжие якуты; на столах стояли чашки с водкой; кое-где помещались кучки играющих в карты. Лица были потны и красны. Глаза игроков дико следили за картами. Деньги вынимались и тотчас же прятались по карманам. В углу, на соломе, пьяный якут покачивался сидя и тянул бесконечную песню. Он выводил горлом дикие, скрипучие звуки, повторяя на разные лады, что завтра большой праздник, а сегодня он пьян.

Макар отдал деньги, и ему дали бутылку. Он сунул ее за пазуху и незаметно для других отошел в темный угол. Там он наливал чашку за чашкой и тянул их одна за другою. Водка была горькая, разведенная, по слухаю праздника, водой более чем на три четверти. Зато махорки, видимо, не жалели. У Макара каждый раз захватывало на минуту дыхание, и в глазах ходили какие-то багровые круги.

Вскоре он опьянел. Он тоже опустился на солому и, обхватив руками колени, положил на них отяжелевшую голову. Из его горла сами собой полились те же нелепые скрипучие звуки. Он пел, что завтра праздник и что он выпил пять возов дров.

Между тем, в избе становилось все теснее и теснее. Входили новые посетители — якуты, приехавшие молиться и пить татарскую водку. Хозяин увидел, что скоро не хватит всем места. Он встал из-за стола и окинул взглядом собрание. Взгляд этот проник в темный угол и увидел там якута и Макара.

Он подошел к якуту и, взяв его за шиворот, вышвырнул вон из избы. Потом подошел к Макару. Ему, как местному жителю, татарин оказал больше почета: широко отворив двери, он поддал бедняге сзади ногою такого леща, что Макар вылетел из избы и ткнулся носом прямо в сугроб снега.

Трудно сказать, был ли он оскорблен подобным обращением. Он чувствовал, что в рукавах у него снег, снег на лице. Кое-как выбравшись из сугроба, он поплелся к своему лысанке.

Луна поднялась уже высоко. Большая Медведица стала опускать хвост книзу. Мороз крепчал. По временам на севере, из-за темного полукруглого облака, вставали, слабо играя, огненные столбы начинавшегося северного сияния.

Лысанка, видимо понимавший положение хозяина, осторожно и разумно поплелся к дому. Макар сидел на дровнях, покачиваясь, и продолжал свою песню. Он пел, что выпил пять возов дров и что старуха будет его колотить. Звуки, вырывавшиеся из его горла, скрипели и стонали в вечернем воздухе так уныло и жалобно, что у чужого человека, который в это время взобрался на юрту, чтобы закрыть трубу камелька, стало от Макаровой песни еще тяжелее на сердце. Между тем, лысанка вынес дровни на холмик, откуда видны были окрестности. Снега ярко блестели, облитые лунным сиянием. Временами свет луны как будто таял, снега темнели, и тотчас же на них переливался отблеск северного сияния. Тогда казалось, что снежные холмы и тайга на них то приближались, то опять удалялись. Макару ясно виднелась под самою тайгой снежная плешь Ямалахского холмика, за которым в тайге у него поставлены были ловушки для всякого лесного зверя и птицы.

Это изменило ход его мыслей. Он запел, что в ловушку его попала лисица. Он продаст завтра шкуру, и старуха не станет его колотить.

В морозном воздухе раздался первый удар колокола, когда Макар вошел в избу. Он первым словом сообщил старухе, что у них в плашку попала лисица. Он совсем забыл, что старуха не пила вместе с ним водки, и был сильно удивлен, когда, невзирая на радостное известие, она немедленно нанесла ему ногою жестокий удар пониже спины. Затем, пока он повалился на постель, она еще успела толкнуть его кулаком в шею.

Над Чалганом, между тем, несся, разливаясь далеко-далеко, торжественный праздничный звон...

Он лежал на постели. Голова у него горела. Внутри жгло, точно огнем. По жилам разливалась крепкая смесь водки и табачного настоя. По лицу текли холодные струйки талого снега; такие же струйки стекали и по спине.

Старуха думала, что он спит. Но он не спал. Из головы у него не шла лисица. Он успел вполне убедиться, что она попала в ловушку; он даже знал, в которую именно. Он ее видел,— видел, как она, прищемленная тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны, проринаясь сквозь чащу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя сверкали ему навстречу.

Он не выдержал и, встав с постели, направился к своему верному лысанке, чтобы ехать в тайгу.

Что это? Неужели сильные руки старухи схватили за воротник его *соны*, и он опять брошен на постель?

Нет, вот он уже за слободою. Полозья ровно поскрипывают по крепкому снегу. Чалган остался сзади. Сзади несется торжественный гул церковного колокола, а над темною чертой горизонта, на светлом небе мелькают черными силуэтами вереницы якутских всадников, в высоких, остроконечных шапках. Якуты спешат в церковь.

Между тем, луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и от него быстро потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней, между тем как полукруглое темное облачко на севере еще более потемнело. Оно стало черно, чернее тайги, к которой приближался Макар.

Дорога вилась между мелкою, частою порослью. Направо и налево подымались холмы. Чем далее, тем выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые деревья лиственниц были опущены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха, проринаясь сквозь их вершины, ходил по ней, кое-где открывая то снежную полянку, то лежащие трупы разбитых лесных гигантов, запущенных снегом... Мгновение — и все опять тонуло во мраке, полном молчания и тайны.

Макар остановился. В этом месте, почти на самую дорогу, выдигалось начало целой системы ловушек. При

фосфорическом свете ему была ясно видна невысокая городьба из валежника; он видел даже первую плаху — три тяжелые длинные бревна, упerteые на отвесном колу и поддерживаемые довольно хитрою системой рычагов с волосяными веревочками.

Правда, это были чужие ловушки; но ведь лисица могла попасть и в чужие. Макар торопливо сошел с дровней, оставил умного лысанку на дороге и чутко прислушался.

В тайге ни звука. Только из далекой, невидной теперь слободы несся по-прежнему торжественный звон.

Можно было не опасаться. Владелец ловушек, Алешка чалганец, сосед и кровный враг Макара, наверное, был теперь в церкви. Не было видно ни одного следа на ровной поверхности недавно выпавшего снега.

Он пустился в чащу, — ничего. Под ногами хрустит снег. Плахи стоят рядами, точно ряды пушек с открытыми жерлами, в безмолвном ожидании.

Он прошел назад и вперед, — напрасно. Он направился опять на дорогу.

Но, чу!.. Легкий шорох... В тайге мелькнула красноватая шерсть, на этот раз в освещенном месте, так близко!.. Макар ясно видел острые уши лисицы; ее пушистый хвост вилял из стороны в сторону, как будто заманивая Макара в чащу. Она исчезла между стволами, в направлении Макаровых ловушек, и вскоре по лесу пронесся глухой, но сильный удар. Он прозвучал сначала отрывисто, глухо, потом как будто отдался под навесом тайги и тихо замер в далеком овраге.

Сердце Макара забилось. Это упала плаха.

Он бросился, пробираясь сквозь чащу. Холодные ветви били его по глазам, сыпали в лицо снегом. Он спотыкался; у него захватывало дыхание.

Вот он выбежал на просеку, которую некогда сам прорубил. Деревья, белые от инея, стояли по обеим сторонам, а внизу, суживаясь, маячила дорожка, и в конце ее насторожилось жерло большой плахи... Недалеко...

Но вот на дорожке, около плахи, мелькнула фигура, — мелькнула и скрылась. Макар узнал чалганца Алешку: ему ясно была видна его небольшая, коренастая фигура, согнутая вперед, с походкой медведя. Макару казалось, что темное лицо Алешки стало еще темнее, а большие зубы оскалились еще более, чем обыкновенно.

Макар чувствовал искреннее негодование. «Вот поганец!.. Он ходит по моим ловушкам». Правда, Макар и сам сейчас только прошел по плахам Алешки, но тут была разница... Разница состояла именно в том, что, когда он сам ходил по чужим ловушкам, он чувствовал страх быть застигнутым; когда же по его плахам ходили другие, он чувствовал негодование и желание самому настигнуть нарушителя его прав.

Он бросился наперерез к упавшей плахе. Там была лисица. Алешка своею развалистою, медвежьей походкой направлялся туда же. Надо было поспевать ранее.

Вот и лежачая плаха. Под нею краснеет шерсть прихлопнутого зверя. Лисица рылась в снегу когтями именно так, как она ему виделась прежде, и так же смотрела ему навстречу своими острыми, горящими глазами.

— *Тытымá* (не тронь)!.. Это мое! — крикнул Макар Алешке.

— *Тытымá!* — отдался, точно эхо, голос Алешки.— Мое!

Они оба побежали в одно время и торопливо, наперебой, стали подымать плаху, освобождая из-под нее зверя. Когда плаха была приподнята, лисица поднялась также. Она сделала прыжок, потом остановилась, посмотрела на обоих чалганцев каким-то насмешливым взглядом, потом, загнув морду, лизнула прищемленное бревно и весело побежала вперед, приветливо виляя хвостом.

Алешка бросился было за нею, но Макар схватил его сзади за полу *соны*.

— *Тытымá!* — крикнул он.— Это мое! — и сам побежал вслед за лисицей.

— *Тытымá!* — опять эхом отдался голос Алешки, и Макар почувствовал, что тот схватил его, в свою очередь, за *сону* и в одну секунду опять выбежал вперед.

Макар обозлился. Он забыл про лисицу и устремился за Алешкой.

Они бежали все быстрее. Ветка лиственницы сдернула шапку с головы Алешки, но тому никогда было подымать ее: Макар уже настигал его с яростным криком. Но Алешка всегда был хитрее бедного Макара. Он вдруг остановился, повернулся и нагнулся голову. Макар ударился в нее животом и кувыркнулся в снег. Пока он падал, прокля-

ты Алешка схватил с головы Макара шапку и скрылся в тайге.

Макар медленно поднялся. Он чувствовал себя окончательно побитым и несчастным. Нравственное состояние было отвратительно. Лисица была в руках, а теперь... Ему казалось, что в потемневшей чаще она насмешливо вильнула еще раз хвостом и окончательно скрылась.

Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените. Оно как будто тихо таяло, и от него, как-то устало и томно, лились еще замиравшие лучи сияния.

По разгоряченному телу Макара бежали целые потоки острых струек талого снега. Снег попал ему в рукава, за воротник *соны*, стекал по спине, лился за торбаса. Проклятый Алешка унес с собой его шапку. Рукавицы он потерял где-то на бегу. Дело было плохо. Макар знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без шапки.

Он шел уже долго. По его расчетам он давно должен был уже выйти из Ямалаха и увидеть колокольню, но он все кружил по тайге. Чаща, точно заколдованная, держала его в своих объятиях. Издали доносился все тот же торжественный звон. Макару казалось, что он идет на него, но звон все удалялся, и, по мере того, как его переливы доносились все тише и тише, в сердце Макара вступало тупое отчаяние.

Он устал. Он был подавлен. Ноги подкашивались. Его избитое тело ныло тупою болью. Дыхание в груди захватывало. Руки и ноги коченели. Обнаженную голову стягивало точно раскаленными обручами.

«Пропадать буду, однако!» — все чаще и чаще мелькало у него в голове. Но он все шел.

Тайга молчала. Она только смыкалась за ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды.

«Пропадать буду, однако!» — все думал Макар.

Он совсем ослаб. Теперь молодые деревья прямо, без всяких стеснений, били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением. В одном месте на прогалину выбежал белый ушкáн (заяц), сел на задние лапки, повел длинными ушами с черными отметинками на концах и стал умываться, делая Макару самые дерзкие рожи. Он давал ему понять, что он отлично знает его, Макара, — знает, что он и есть тот самый Макар, который настроил в тайге

хитрые машины для его, зайца, погибели. Но теперь он над ним издевался.

Макару стало горько. Между тем тайга все оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные ветви на его дорожку и хватали его за волосы, били по глазам, по лицу. Тетерева выходили из тайных логовищ и уставлялись в него любопытными круглыми глазами, а косачи бегали между ними, с распущенными хвостами и сердито оттопыренными крыльями, и громко рассказывали самкам про него, Макара, и про его козни. Наконец в дальних чащах замелькали тысячи лисьих морд. Они тянули воздух и насмешливо смотрели на Макара, поводя острыми ушами. А зайцы становились перед ними на задние лапки и хохотали, докладывая, что Макар заблудился и не выйдет из тайги.

Это было уже слишком.

«Пропадать буду!» — подумал Макар и решил сделать это немедленно.

Он лег в снег.

Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с далекого Чалгана.

Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих.

И Макар умер.

V

Как это случилось, он не заметил. Он знал, что из него должно что-то выйти, и ждал, что вот-вот оно выйдет... Но ничего не выходило.

Между тем, он сознавал, что уже умер, и потому лежал смирно, без движения. Лежал он долго, — так долго, что ему надоело.

Было совершенно темно, когда Макар почувствовал, что его кто-то толкнул ногою. Он повернул голову и открыл сомкнутые глаза.

Теперь лиственницы стояли над ним смиренные, тихие, точно стыдясь прежних проказ. Мокнатые ели вытягивали свои широкие, покрытые снегом, лапы и тихо-тихо качались. В воздухе так же тихо садились лучистые снежинки.

Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь

частые ветви и как будто говорили: «Вот, видите, бедный человек умер».

Над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом; снег виднелся на меховом *бергесе* (шапке), на плечах, в длинной бороде папы Ивана. Всего удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому четыре года.

Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет руги, никогда не требовал даже денег за требы. Макар сам назначал ему плату за крестины и за молебны и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил маловато, а порой не платил вовсе. Поп Иван и не обижался; ему требовалось одно: всякий раз надо было поставить бутылку водки. Если у Макара не было денег, поп Иван сам посыпал за бутылкой, и они пили вместе. Попик напивался не-пременно до положения риз, но при этом дрался очень редко и не сильно. Макар доставлял его, беспомощного и беззащитного, домой на попечение матушки-попадьи.

Да, это был добрый попик, но умер он нехорошою смертью. Однажды, когда все вышли из дома и пьяный попик остался один лежать на постели, ему вздумалось покурить. Он встал и, шатаясь, подошел к огромному, жарко натопленному камельку, чтобы закурить у огня трубку. Он был слишком уж пьян, покачнулся и упал в огонь. Когда пришли домочадцы, от попа остались лишь ноги.

Все жалели доброго папы Ивана; но так как от него остались одни только ноги, то вылечить его не мог уже ни один доктор в мире. Ноги похоронили, а на место попа Ивана назначили другого.

Теперь этот попик, в целом виде, стоял над Макаром и поталкивал его ногою.

— Вставай, Макарушко,— говорил он.— Пойдем-ка.

— Куда я пойду? — спросил Макар с неудовольствием.

Он полагал, что раз он «пропал», его обязанность — лежать спокойно, и ему нет надобности идти опять по тайге, бродя без дороги. Иначе зачем было ему пропадать?

— Пойдем к *большому Тойону*¹.

— Зачем я пойду к нему? — спросил Макар.

¹ Тойон — господин, хозяин, начальник.

— Он будет тебя судить,— сказал попик скорбным и несколько умиленным голосом.

Макар вспомнил, что действительно после смерти надо идти куда-то на суд. Он это слышал когда-то в церкви. Значит, попик был прав. Приходилось подняться.

И Макар поднялся, ворча про себя, что даже после смерти не дают человеку покоя.

Попик шел впереди, Макар за ним. Шли они все прямо. Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. Шли на восток.

Макар с удивлением заметил, что после попа Ивана не остается следов на снегу. Взглянув себе под ноги, он также не увидел следов: снег был чист и гладок, как скатерть.

Он подумал, что теперь ему очень удобно ходить по чужим ловушкам, так как никто об этом не может узнать; но попик, угадавший, очевидно, его сокровенную мысль, повернулся к нему и сказал:

— *Кабысь* (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебе достанется за каждую подобную мысль.

— Ну, ну! — ответил недовольно Макар. — Уж нельзя и подумать! Что ты нынче такой стал строгий? Молчи ужó!..

Попик покачал головой и пошел дальше.

— Далеко ли идти? — спросил Макар.

— Далеко,— ответил попик сокрушенно.

— А чего будем есть? — спросил опять Макар с беспокойством.

— Ты забыл,— ответил попик, повернувшись к нему,— что ты умер и что теперь тебе не надо ни есть, ни пить.

Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо в том случае, когда ничего есть, но тогда уж надо бы лежать так, как он лежал тотчас после своей смерти. А идти, да еще идти далеко, и не есть ничего, это казалось ему ни с чем не сообразным. Он опять заорчал.

— Не ропщи! — сказал попик.

— Ладно! — ответил Макар обиженным тоном, но сам продолжал жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки: «Человека заставляют ходить, а есть ему не надо! Где это слыхано?»

Он был недоволен все время, следя за попом. А шли они, по-видимому, долго. Правда, Макар не видел еще

рассвета, но, судя по пространству, ему казалось, что они шли уже целую неделю: так много они оставили за собой падей и сопок¹, рек и озер, так много прошли они лесов и равнин. Когда Макар оглядывался, ему казалось, что темная тайга сама убегает от них назад, а высокие снежные горы точно таяли в сумраке ночи и быстро скрывались за горизонтом.

Они как будто поднимались все выше. Звезды становились все больше и ярче. Потом из-за гребня возвышенности, на которую они поднялись, показался краешек давно закатившейся луны. Она как будто торопилась уйти, но Макар с попиком ее нагоняли. Наконец она вновь стала подыматься над горизонтом. Они пошли по ровному, сильно приподнятому месту.

Теперь стало светло — гораздо светлее, чем при начале ночи. Это происходило, конечно, оттого, что они были гораздо ближе к звездам. Звезды, величиною каждая с яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сияла, как солнце, освещая равнину от края и до края.

На равнине совершенно явственно виднелась каждая снежинка. По ней пролегало множество дорог, и все они сходились к одному месту на востоке. По дорогам шли и ехали люди в разных одеждах и разного вида.

Вдруг Макар, внимательно всматривавшийся в одного всадника, свернул с дороги и побежал за ним.

— Постой, постой! — кричал попик, но Макар даже не слышал. Он узнал знакомого татарина, который шесть лет назад увел у него пегого коня, а пять лет назад скончался. Теперь татарин ехал на том же пегом коне. Конь так и взвивался. Из-под копыт его летели целые тучи снежной пыли, сверкавшей разноцветными переливами звездных лучей. Макар удивился при виде этой бешеной скачки, как мог он, пеший, так легко догнать конного татарина. Впрочем, завидев Макара в нескольких шагах, татарин с большою готовностью остановился. Макар запальчиво напал на него.

— Пойдем к старосте, — кричал он, — это мой конь. Правое ухо у него разрезано... Смотри, какой ловкий!.. Едет на чужом коне, а хозяин идет пешком, точно нищий.

¹ Падь — ущелье, овраг между горами. Сопка — остроконечная гора.

— Постой! — сказал на это татарин.— Не надо к старости. Твой конь, говоришь?.. Ну, и бери его! Проклятая животина! Пятый год еду на ней, и все как будто ни с места... Пешие люди то и дело обгоняют меня; хорошему татарину даже стыдно.

И он занес ногу, чтобы сойти с седла, но в это время запыхавшийся попик подбежал к ним и схватил Макара за руку.

— Несчастный! — вскричал он.— Что ты делаешь? Разве не видишь, что татарин хочет тебя обмануть?

— Конечно, обманывает,— вскричал Макар, размахивая руками,— конь был хороший, настоящая хозяйская лошадь... Мне давали за нее сорок рублей еще по третьей траве... Не-ет, брат! Если ты испортил коня, я его зарежу на мясо, а ты заплатишь мне чистыми деньгами. Думаешь, что — татарин, так и нет на тебя управы?

Макар горячился и кричал нарочно, чтобы собрать вокруг себя побольше народу, так как он привык бояться татар. Но попик остановил его:

— Тише, тише, Макар! Ты все забываешь, что ты уже умер... Зачем тебе конь? Да, при том, разве ты не видишь, что пешком ты подвигаешься гораздо быстрее татарина? Хочешь, чтоб тебе пришлось ехать целых тысячу лет?

Макар смекнул, почему татарин так охотно уступал ему лошадь.

«Хитрый народ!» — подумал он и обратился к татарину:

— Ладно ужо! Поезжай на коне, а я, брат, сделаю на тебя прошение.

Татарин сердито нахлобучил шапку и хлестнул коня. Конь взвился, клубы снега посыпались из-под копыт, но пока Макар с попом не тронулись, татарин не уехал от них и пяди.

Он сердито плюнул и обратился к Макару:

— Послушай, *догор* (приятель), нет ли у тебя листочка махорки? Страшно хочется курить, а свой табак я выкурил уже четыре года назад.

— Собака тебе приятель, а не я! — сердито ответил Макар.— Видишь ты: украл коня и просит табаку! Пропадай ты совсем, мне и то не будет жалко.

И с этими словами Макар тронулся далее.

— А ведь напрасно ты не дал ему листок махорки,—

сказал ему поп Иван.— За это на суде Тойон простил бы тебе не менее сотни грехов.

— Так что ж ты не сказал мне этого ранее? — огрызнулся Макар.

— Да уж теперь поздно учить тебя. Ты должен был узнать об этом от своих попов при жизни.

Макар осердился. От попов он не видел никакого толку: получают ругу, а не научили даже, когда надо дать татарину листок табаку, чтобы получить отпущение грехов. Шутка ли: сто грехов... и всего за один листочек!.. Это ведь чего-нибудь стоит!

— Постой,— сказал он.— Будет с нас одного листочка, а остальные четыре я отдам сейчас татарину. Это будет четыре сотни грехов.

— Оглянись,— сказал попик.

Макар оглянулся. Сзади расстилалась только белая пустынная равнина. Татарин мелькнул на одну секунду далекою точкой. Макару казалось, что он увидел, как белая пыль летит из-под копыт его пегашки, но через секунду и эта точка исчезла.

— Ну, ну,— сказал Макар.— Будет татарину и без табаку ладно. Видишь ты: испортил коня, проклятый!

— Нет,— сказал попик,— он не испортил твоего коня, но конь этот краденый. Разве ты не слышал от стариков, что на краденом коне далеко не уедешь?

Макар действительно слышал это от стариков, но так как во время своей жизни видел нередко, что татары уезжали на краденых конях до самого города, то, понятно, он старикам не давал веры. Теперь же он пришел к убеждению, что и старики говорят иногда правду.

И он стал обгонять на равнине множество всадников. Все они мчались так же быстро, как и первый. Кони летели, как птицы, всадники были в поту, а между тем Макар то и дело обгонял их и оставлял за собою.

Большею частью это были татары, но попадались и коренные чалганцы; некоторые из последних сидели на краденых быках и подгоняли их талинками.

Макар смотрел на татар враждебно и каждый раз ворчал, что этого им еще мало. Когда же он встречался с чалганцами, то останавливался и благодушно беседовал с ними: все-таки это были приятели, хоть и воры. Порой он даже выражал свое участие тем, что, подняв на дороге

талинку, усердно подгонял сзади быков и коней; но лишь только сам он делал несколько шагов, как уже всадники оставались сзади чуть заметными точками.

Равнина казалась бесконечною. Они то и дело обгоняли всадников и пеших людей, а между тем вокруг все казалось пусто. Между каждыми двумя путниками лежали как будто целые сотни или даже тысячи верст.

Между другими фигурами Макару попался незнакомый старик; он был, очевидно, чалганец; это было видно по лицу, по одежде, даже по походке, но Макар не мог припомнить, чтоб он когда-либо прежде его видел. На старице была рваная *сона*, большой ухастый *бергес*, тоже рваный, кожаные старые штаны и рваные телячьи торбаса. Но, что хуже всего,— несмотря на свою старость,— он тащил на плечах еще более древнюю старуху, ноги которой волочились по земле. Старик трудно дышал, заплетался и тяжело налегал на палку. Макару стало его жалко. Он остановился. Старик остановился тоже.

- *Кансé* (говори)! — сказал Макар приветливо.
- Нет,— ответил старик.
- Что слышал?
- Ничего не слыхал.
- Что видел?
- Ничего не видал.

Макар помолчал немного и тогда уже счел возможным расспросить старика, кто он и откуда плется.

Старик назвался. Давно уже,— сам он не знает, сколько лет назад,— он оставил Чалган и ушел на «гору» спасаться. Там он ничего не делал, ел только морошку и корни, не пахал, не сеял, не молол на жернове хлеба и не платил податей. Когда он умер, то пришел к Тойону на суд. Тойон спросил, кто он и что делал. Он рассказал, что ушел на «гору» и спасался. «Хорошо,— сказал Тойон,— а где же твоя старуха? Поди, приведи сюда твою старуху». И он пошел за старухой, а старуха перед смертью побиралась, и ее некому было кормить, и у нее не было ни дома, ни коровы, ни хлеба. Она ослабела и не может волочить ног. И он теперь должен тащить к Тойону старуху на себе.

Старик заплакал, а старуха ударила его ногою, точно быка, и сказала слабым, но сердитым голосом:

- Неси!

Макару стало еще более жаль старика, и он порадовался от души, что ему не удалось уйти на «гору». Его

старуха была громадная, рослая старуха, и ему нести ее было бы еще труднее. А если бы, вдобавок, она стала пинать его ногою, как быка, то, наверное, скоро заездила бы до второй смерти.

Из сожаления он взял было старуху за ноги, чтобы помочь доброму, но едва сделал два-три шага, как должен был быстро выпустить старухины ноги, чтоб они не остались у него в руках. В одну минуту старик со своей ношей исчезли из виду.

В дальнейшем пути не встречалось более лиц, которых Макар удостоил бы своим особенным вниманием. Тут были воры, нагруженные, как выючная скотина, краденым добром и подвигавшиеся шаг за шагом; толстые якутские тойоны тряслись, сидя на высоких седлах, точно башни, задевая за облака высокими шапками. Тут же, рядом, в прыжку бежали бедные *комночты* (работники), поджарые и легкие, как зайцы. Шел мрачный убийца, весь в крови, с дико блуждающим взором. Напрасно кидался он в чистый снег, чтобы смыть кровавые пятна. Снег мгновенно обагрялся кругом, как кипень, а пятна на убийце выступали яснее, и в его взоре виднелись дикое отчаяние и ужас. И он все шел, избегая чужих испуганных взглядов.

А маленькие детские души то и дело мелькали в воздухе, точно птички. Они летели большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная, грубая пища, грязь, огонь камельков и холодные сквозняки юрт выживали их из одного Чалгана чуть не сотнями. Поравнявшись с убийцей, они испуганной стаей кидались далеко в сторону, и долго еще после того слышался в воздухе быстрый, тревожный звон их маленьких крыльев.

Макар не мог не заметить, что он подвигается сравнительно с другими довольно быстро, и поспешил приписать это своей добродетели.

— Слушай, *агабыт* (отец), — сказал он, — как ты думаешь? Я хоть и любил при жизни выпить, а человек был хороший. Бог меня любит...

Он пытливо взглянул на попа Ивана. У него была задняя мысль: выведать кое-что от старого попика. Но тот сказал кратко:

— Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь сам.

Макар и не заметил раньше, что на равнине как будто стало светать. Прежде всего, из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу

и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равниной, как почетная стража.

И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.

И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились долу.

И из-за них вышло солнце и стало на их золотистых хребтах и оглянуло равнину.

И равнина вся засияла невиданным, ослепительным светом.

И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.

И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая, давно знакомая песня, которую земля каждый раз приветствует солнце. Но Макар никогда еще не обращал на нее должного внимания и только в первый раз понял, какая это чудная песня.

Он стоял и слушал и не хотел идти далее, а хотел вечно стоять здесь и слушать...

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Но поп Иван тронул его за рукав.

— Войдем, — сказал он. — Мы пришли.

Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую раньше скрывали туманы.

Ему очень не хотелось идти, но — делать нечего — он повиновался.

VI

Они вошли в хорошую, просторную избу, и, только войдя сюда, Макар заметил, что на дворе был сильный мороз. Посредине избы стоял камелек чудной резной работы, из чистого серебра, и в нем пылали золотые поленья, давая ровное тепло, сразу проникавшее все тело. Огонь этого чудного камелька не резал глаз, не жег, а только грел, и Макару опять захотелось вечно стоять здесь и греться. Поп Иван также подошел к камельку и протянул к нему иззябшие руки.

В избе было четверо дверей, из которых только одна вела наружу, а в другие то и дело входили и выходили какие-то молодые люди в длинных белых рубахах. Макар подумал, что это, должно быть, работники здешнего Тойона. Ему казалось, что он где-то их уже видел, но не мог вспомнить, где именно. Немало удивляло его то обстоятельство, что у каждого работника на спине болтались большие белые крылья, и он подумал, что, вероятно, у Тойона есть еще другие работники, так как эти, наверное, не могли бы с своими крыльями пробираться сквозь чащу тайги для рубки дров или жердей.

Один из работников подошел тоже к камельку и, повернувшись к нему спиной, заговорил с попом Иваном:

- Говори!
- Нечего,— отвечал попик.
- Что ты слышал на свете?
- Ничего не слыхал.
- Что видел?
- Ничего не видал.

Оба помолчали, и тогда поп сказал:

- Привел вот одного.
- Это чалганец? — спросил работник.
- Да, чалганец.
- Ну, значит, надо приготовить большие весы.

И он ушел в одну из дверей, чтобы распорядиться, а Макар спросил у попа, зачем нужны весы и почему именно большие?

— Видишь,— ответил поп несколько смущенно,— весы нужны, чтобы взвесить добро и зло, какое ты сделал при жизни. У всех остальных людей зло и добро приблизительно уравновешивают чашки; у одних чалганцев грехов так много, что для них Тойон велел сделать особые весы с громадной чашкой для грехов.

От этих слов у Макара как будто скребнуло по сердцу. Он стал робеть.

Работники внесли и поставили большие весы. Одна чашка была золотая и маленькая, другая — деревянная, громадных размеров. Под последней вдруг открылось глубокое черное отверстие.

Макар подошел и тщательно осмотрел весы, чтобы не было фальши. Но фальши не было. Чашки стояли ровно, не колеблясь.

Впрочем, он не вполне понимал их устройство и предпочел бы иметь дело с безменом, на котором в течение

долгой жизни он отлично выучился и продавать, и покупать с некоторой выгодой для себя.

— Тойон идет,— сказал вдруг поп Иван и стал быстро обдергивать ряску.

Средняя дверь отворилась, и вошел старый-престарый Тойон, с большою серебристою бородой, спускавшеюся ниже пояса. Он был одет в богатые, неизвестные Макару меха и ткани, а на ногах у него были теплые сапоги, обшитые плисом, какие Макар видел на старом иконописце.

И при первом же взгляде на старого Тойона Макар узнал, что это тот самый старик, которого он видел нарисованным в церкви. Только тут с ним не было сына; Макар подумал, что, вероятно, последний ушел по хозяйству. Зато голубь влетел в комнату и, покружившись у старика над головою, сел к нему на колени. И старый Тойон гладил голубя рукою, сидя на особо приготовленном для него стуле.

Лицо старого Тойона было доброе, и, когда у Макара становилось слишком уж тяжело на сердце, он смотрел на это лицо, и ему становилось легче.

А на сердце у него становилось тяжело потому, что он вспомнил вдруг всю свою жизнь до последних подробностей, вспомнил каждый свой шаг, и каждый удар топора, и каждое срубленное дерево, и каждый обман, и каждую рюмку выпитой водки.

И ему стало стыдно и страшно. Но, взглянув в лицо старого Тойона, он ободрился.

А ободрившись, подумал, что, быть может, кое-что удастся и скрыть.

Старый Тойон посмотрел на него и спросил, кто он, и откуда, и как зовут, и сколько ему лет от роду.

Когда Макар ответил, старый Тойон спросил:

— Что сделал ты в своей жизни?

— Сам знаешь,— ответил Макар.— У тебя должно быть записано.

Макар испытывал старого Тойона, желая узнать, действительно ли у него записано все.

— Говори сам, не молчи! — сказал старый Тойон.

И Макар опять ободрился.

Он стал перечислять свои работы, и хотя он помнил каждый удар топора, и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведенную сохою, но он прибавлял целые тысячи жердей, и сотни возов дров, и сотни бревен, и сотни пудов посева.

Когда он все перечислил, старый Тойон обратился к попу Ивану:

— Принеси-ка сюда книгу.

Тогда Макар увидел, что поп Иван служит у Тойона *суруксутом* (писарем), и очень осердился, что тот по-приятельски не сказал ему об этом раньше.

Поп Иван принес большую книгу, развернул ее — и стал читать.

— Загляни-ка, — сказал старый Тойон, — сколько жердей?

Поп Иван посмотрел и сказал с прискорбием:

— Он прибавил целых тринадцать тысяч.

— Врет он! — крикнул Макар запальчиво. — Он, верно, ошибся, потому что он пьяница и умер нехорошою смертью!

— Замолчи ты! — сказал старый Тойон. — Брал ли он с тебя лишнее за крестины или за свадьбы? Вымогал ли он ругу?

— Что говорить напрасно! — ответил Макар.

— Вот видишь, — сказал Тойон, — я знаю и сам, что он любил выпить...

И старый Тойон осердился.

— Читай теперь его грехи по книге, потому что он обманщик, и я ему не верю, — сказал он попу Ивану.

А между тем работники кинули на золотую чашку Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его работу. И всего оказалось так много, что золотая чашка весов опустилась, а деревянная поднялась высоко-высоко, и ее нельзя было достать руками, и молодые божьи работники взлетели на своих крыльях, и целая сотня тянула ее веревками вниз.

Тяжела была работа чалганца!

А поп Иван стал вычитывать обманы, и оказалось, что обманов было — двадцать одна тысяча девятьсот тридцать три обмана; и поп стал высчитывать, сколько Макар выпил бутылок водки; и оказалось — четыреста бутылок; и поп читал далее, а Макар видел, что деревянная чашка весов перетягивает золотую и что она опускается уже в яму, и пока поп читал, она все опускалась.

Тогда Макар подумал про себя, что дело его плохо, и, подойдя к весам, попытался незаметно поддержать чашку ногою. Но один из работников увидел это, и у них вышел шум.

— Что там такое? — спросил старый Тойон.

— Да вот он хотел поддержать весы ногою,— ответил работник.

Тогда Тойон гневно обратился к Макару и сказал:

— Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница... И за тобой осталась недоимка, и поп за тобою считает ругу, и исправник грешит из-за тебя, ругая тебя каждый раз скверными словами!..

И, обратясь к попу Ивану, старый Тойон спросил:

— Кто в Чалгане кладет на лошадей более всех клади и кто гоняет их всех больше?

Поп Иван ответил:

— Церковный трапезник. Он гоняет почту и возит исправника.

Тогда старый Тойон сказал:

— Отдать этого ленивца трапезнику в мерины, и пусть он возит на нем исправника, пока не заездит... А там мы посмотрим.

И только что старый Тойон сказал это слово, как дверь отворилась и в избу вошел сын старого Тойона и сел от него по правую руку.

И сын сказал:

— Я слышал твой приговор... Я долго жил на свете и знаю тамошние дела: тяжело будет бедному человеку возить исправника! Но... да будет!.. Только, может быть, он еще что-нибудь скажет. Говори, *бараҳсán* (бедняга)!

Тогда случилось что-то странное. Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощущил в себе дар слова. Он заговорил и сам изумился. Стало как бы два Макара: один говорил, другой слушал и удивлялся. Он не верил своим ушам. Речь у него лилась плавно и страстно, слова гнались одно за другим вперегонку и потом становились длинными, стройными рядами. Он не робел. Если ему и случалось запнуться, то тотчас же он оправлялся и кричал вдвое громче. А главное — чувствовал сам, что говорил убедительно.

Старый Тойон, немного осердившийся сначала за его дерзость, стал потом слушать с большим вниманием, как бы убедившись, что Макар не такой уж дурак, каким казался сначала. Поп Иван в первую минуту даже испугался и стал дергать Макара за полу *соны*, но Макар отмахнулся и продолжал по-прежнему. Потом и попик перестал пугаться и даже расцвел улыбкой, видя, что его

прихожанин режет правду и что эта правда приходится по сердцу старому Тойону. Даже молодые люди в длинных рубахах и с белыми крыльями, жившие у старого Тойона в работниках, приходили из своей половины к дверям и с удивлением слушали речь Макара, поталкивая друг друга локтями.

Он начал с того, что не желает идти к трапезнику в мерины. И не потому не желает, что боится тяжелой работы, а потому, что это решение неправильно. А так как это решение неправильно, то он сму не подчинится и не поведет даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают, что хотят! Пусть даже отдадут чертям в вечные *комночты*, — он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили.

— Кто тебя гонял? — спросил старый Тойон с сердцем.

Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!.. Скотина идет вперед и смотрит в землю, не зная, куда ее гонят... И он также... Разве он знал, что поп читает в церкви и за что идет ему руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости?

Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...

— Сколько, говоришь ты, бутылок?

— Четыреста, — ответил поп Иван, заглянув в книгу.

Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только одна четверть настоящей водки, да еще настой табаку. Стало быть, триста бутылок надо скинуть со счета.

— Правду ли он говорит все это? — спросил старый Тойон у попа Ивана, и видно было, что он еще сердится.

— Чистую правду, — торопливо ответил поп, а Макар продолжал.

Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Пусть так! Пусть он нарубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И, притом, две тысячи он рубил, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на сердце,

и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слезы мерзли у него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!

А после баба умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за женин дом на том свете... А купец увидел, что ему нужда, и дал только по десяти копеек... И старуха лежала одна в нетопленной мерзлой избе, а он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти возы надо считать впятеро и даже более.

У старого Тойона показались на глазах слезы, и Макар увидел, что чашки весов колыхнулись, и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.

А Макар продолжал: у них все записано в книге... Пусть же они поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжко, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелою нуждой. И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его оставляют силы и подходит злая, бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие метели.

— Правда ли? — спросил опять старый Тойон.

И поп поспешил ответить:

— Чистая правда!

И тогда весы опять дрогнули... Но старый Тойон задумался.

— Что же это, — сказал он, — ведь есть же у меня на земле настоящие праведники... Глаза их ясны, и лица светлы, и одежды без пятен... Сердца их мягки, как добрая почва; принимают добрею семя и возвращают крин сельный и благовонные всходы, запах которых угоден передо мною. А ты посмотри на себя...

И все взгляды устремились на Макара, и он устыдился. Он почувствовал, что глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, одежда изорвана.

И хотя задолго до смерти он все собирался купить сапоги, чтобы явиться на суд, как подобает настоящему крестьянину, но все пропивал деньги, и теперь стоял перед Тойоном, как последний якут, в дрянных торбасишках... И он пожелал провалиться сквозь землю.

— Лицо твое темное, — продолжал старый Тойон, —

глаза мутные и одежда разорвана. А сердце твое поросло бурьяном, и тернием, и горькою полынью. Вот почему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев.

Сердце Макара сжалось. Он чувствовал стыд собственного существования. Он было понурил голову, но вдруг поднял ее и заговорил опять.

О каких это праведниках говорит Тойон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром в богатых хоромах, то Макар их знает... Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками.

Макар опять понурил голову, но тотчас же опять поднял ее.

А между тем, разве он не видит, что и он родился, как другие,— с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное в мире? И если теперь он желает скрыть под землею свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его... А чья же? — Этого он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение.

VII

Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие производила его речь на старого Тойона, если бы он видел, что каждое его гневное слово падало на золотую чашку, как свинцовая гиря, он усмирил бы свое сердце. Но он всего этого не видел, потому что в его сердце вливалось слепое отчаяние.

Вот он оглядел всю свою горькую жизнь. Как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя? Он нес его потому, что впереди все еще маячила — звездочкой в тумане — надежда. Он жив, стало быть, может, должен еще испытать лучшую долю... Теперь он стоял у конца, и надежда угасла...

Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухою ночью. Он забыл, где он, пред чьим лицом предстоит,— забыл все, кроме своего гнева...

• • • • •

Но старый Тойон сказал ему:

— Погоди, баражсан! Ты не на земле... Здесь и для тебя найдется правда...

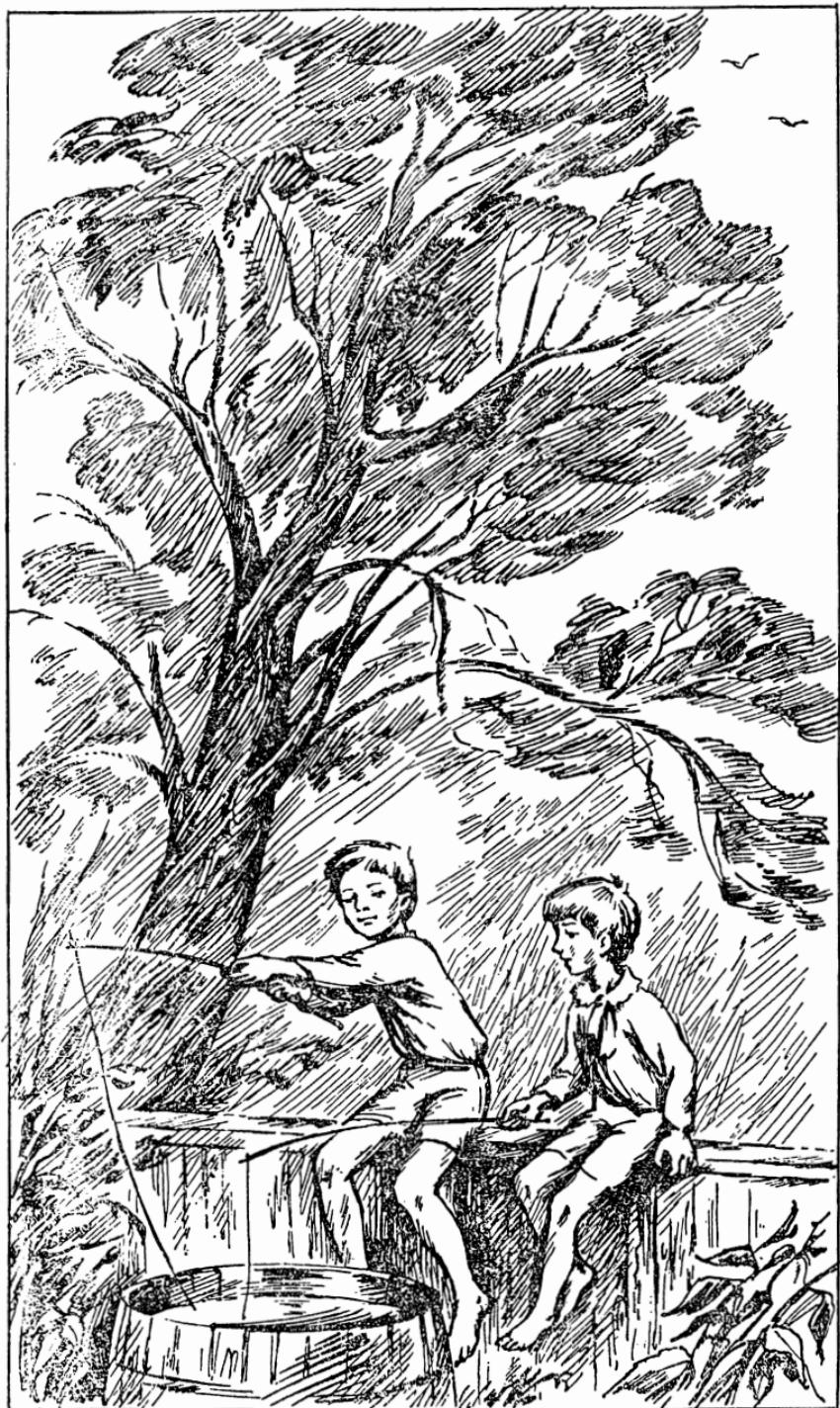
И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось; а так как перед его глазами все стояла его бедная жизнь, от первого дня до последнего, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И он заплакал...

И старый Тойон тоже плакал... И плакал старый попик Иван, и молодые божьи работники лили слезы, утирая их широкими белыми рукавами.

А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше!

1883







ПАРАДОКС

Очерк

I

Для чего, собственно, создан человек, об этом мы с братом получили некоторое понятие довольно рано. Мне, если не ошибаюсь, было лет десять, брату около восьми. Сведение это было преподано нам в виде краткого афоризма, или, по обстоятельствам, его сопровождавшим, скорее парадокса. Итак, кроме назначения жизни, мы одновременно обогатили свой лексикон этими двумя греческими словами.

Было это приблизительно около полудня знойного и тихого июньского дня. В глубоком молчании сидели мы с братом на заборе, под тенью густого серебристого тополя, и держали в руках удочки, крючки которых были опущены в огромную бадью с загнившей водой. О назначении жизни в то время мы не имели еще даже отдаленного понятия, и, вероятно, по этой причине, вот уже около недели любимым нашим занятием было — сидеть на заборе, над бадьей, с опущенными в нее крючками из простых медных булавок и ждать, что вот-вот, по особой к нам милости судьбы, в этой бадье и на эти удочки клюнет у нас «настоящая», живая рыба.

Правда, уголок двора, где помещалась эта волшебная бадья, и сам по себе, даже и без живой рыбы, представлял много привлекательного и заманчивого. Среди садов, огородов, сараев, двориков, домов и флигелей, составлявших совокупность близко известного нам места, этот уголок вырезался как-то так удобно, что никому и ни на что не был нужен; поэтому мы чувствовали себя полными его обладателями, и никто не нарушал здесь нашего одиночества.

Середину этого пространства, ограниченного с двух

сторон палисадником и деревьями сада, а с двух других пустыми стенами сараев, оставлявшими узкий проход, занимала большая мусорная куча. Стоптанный лапоть, кем-то перекинутый через крышу сарайя, изломанное топорище, побелевший кожаный башмак с отогнувшимся кверху каблуком и безличная масса каких-то истлевших предметов, потерявших уже всякую индивидуальность,— нашли в тихом углу вечный покой после более или менее бурной жизни за его пределами... На вершине мусорной кучи валялся старый-престарый кузов какого-то фантастического экипажа, каких давно уже не бывало в действительности, то есть в каретниках, на дворах и на улицах. Это был какой-то призрачный обломок минувших времен, попавший сюда, быть может, еще до постройки окружающих зданий и теперь лежавший на боку, с приподнятой кверху осью, точно рука без кисти, которую калека показывает на паперти, чтобы разжалобить добрых людей. На единственной половинке единственной дверки сохранились еще остатки красок какого-то герба, и единственная рука, закованная в стальные нарамники и державшая меч, высывалась непонятным образом из тусклого пятна, в котором чуть рисовалось подобие короны. Остальное все распалось, растрескалось, облупилось и облезло в такой степени, что уже не ставило воображению никаких прочных преград; вероятно, поэтому старый скелет легко принимал в наших глазах все формы, всю роскошь и все великолепие настоящей золотой кареты.

Когда нам приедались впечатления реальной жизни на больших дворах и в переулке, то мы с братом удалялись в этот уединенный уголок, садились в кузов,— и тогда начинались здесь чудеснейшие приключения, какие только могут постигнуть людей, безрассудно пускающихся в неведомый путь, далекий и опасный, в такой чудесной и такой фантастической карете. Мой брат, по большей части, предпочитал более деятельную роль кучера. Он брал в руки кнут из ременного обрезка, найденного в мусорной куче, затем серьезно и молча вынимал из кузова два деревянных пистолета, перекидывал через плечо деревянное ружье и втыкал за пояс огромную саблю, изготовленную моими руками из кровельного тесу. Вид его, вооруженного таким образом с головы до ног, настраивал тотчас же и меня на соответствующий лад, и затем, усевшись каждый на свое место, мы отдавались течению нашей судьбы, не обмениваясь ни словом. Это не мешало нам с той же минуты испытывать

общие опасности, приключения и победы. Очень может быть, конечно, что события не всегда совпадали с точки зрения кузова и козел, и я предавался упоению победы в то самое время, как кучер чувствовал себя на краю гибели... Но это ничему, в сущности, не мешало. Разве изредка я принимался неистово палить из окон, когда кучер внезапно натягивал вожжи, привязанные к обломку дышла,— и тогда брат говорил с досадой:

— Что ты это ей-богу!.. Ведь это гостиница...

Тогда я приостанавливал пальбу, выходил из кузова и извинялся перед гостеприимным трактирщиком в причиненном беспокойстве, между тем как кучер распрягал лошадей, поил их у бадьи, и мы предавались мирному, хотя и короткому отдыху в одинокой гостинице. Однако случало подобных разногласий бывали тем реже, что я скоро отдавался полету чистой фантазии, не требовавшей от меня внешних проявлений. Должно быть, в щелях старого кузова засели с незапамятных времен,— выражаясь по-нынешнему,— какие-то флюиды старинных происшествий, которые и захватывали нас сразу в такой степени, что мы могли молча, почти не двигаясь и сохраняя созерцательный вид, просидеть на своих местах от утреннего чая до самого обеда. И в этот промежуток от завтрака и до обеда вмешались для нас целые недели путешествий, с остановками в одиноких гостиницах, с ночлегами в поле, с длинными просеками в черном лесу, с дальными огоньками, с угасающим закатом, с ночными грозами в горах, с утренней зарей в открытой степи, с нападениями свирепых бандитов и, наконец, с туманными женскими фигурами, еще ни разу не открывавшими лица из-под густого покрываля, которых мы, с неопределенным замиранием души, спасали из рук мучителей на радость или на горе в будущем...

И все это вмешалось в тихом уголке, между садом и сарайми, где, кроме бадьи, кузова и мусорной кучи, не было ничего... Впрочем, были еще лучи солнца, пригревавшие зелень сада и расцвечивавшие палисадник яркими, золотистыми пятнами; были еще две доски около бадьи и широкая лужа под ними. Затем, чуткая тишина, невнятный шепот листьев, сонное чириканье какой-то птицы в кустах и... странные фантазии, которые, вероятно, росли здесь сами по себе, как грибы в тенистом месте,— потому что нигде больше мы не находили их с такой легкостью, в такой полноте и изобилии... Когда, через узкий переулок и через крыши сараев, долетал до нас досадный призыв

к обеду или к вечернему чаю,— мы оставляли здесь, вместе с пистолетами и саблями, наше фантастическое настроение, точно скинутое с плеч верхнее платье, в которое наряжались опять тотчас по возвращении.

Однако с тех пор как брату пришла оригинальная мысль вырезать кривые и узловатые ветки тополя, навязать на них белые нитки, навесить медные крючки и попробовать запустить удочки в таинственную глубину огромной бадьи, стоявшей в углу дворика, для нас на целую неделю померкли все прелести золотой кареты. Во-первых, мы садились оба, в самых удивительных позах, на верхней перекладине палисадника, углом охватывавшего бадью и у которого мы предварительно обломали верхушки баллясин. Во-вторых, над нами качался серебристо-зеленый шатер тополя, переполнявший окружающий воздух зеленоватыми тенями и бродячими солнечными пятнами. В-третьих, от бадьи отделялся какой-то особенный запах,ственный загнившей воде, в которой уже завелась своя особенная жизнь, в виде множества каких-то странных существ, вроде головастиков, только гораздо меньше... Как ни покажется это странно, но запах этот казался нам, в сущности, приятным и прибавлял, с своей стороны, нечто к прелестям этого угла над бадьей...

В то время как мы сидели по целым часам на заборе, вглядываясь в зеленоватую воду, из глубины бадьи то и дело подымались стайками эти странные существа, напоминавшие собой гибкие медные булавки, головки которых так тихо шевелили поверхность воды, между тем как хвостики извивались под ними, точно крошечные змеи. Это был целый особый мирок, под этой зеленою тенью, и, если сказать правду, в нас не было полной уверенности в том, что в один прекрасный миг поплавок нашей удочки не вздрогнет, не пойдет ко дну и что после этого кото-рый-нибудь из нас не вытащит на крючке серебристую, трепещущую живую рыбку. Разумеется, рассуждая трезво, мы не могли бы не прийти к заключению, что событие это выходит за пределы возможного. Но мы вовсе не рассуждали трезво в те минуты, а просто сидели на заборе, над бадьей, под колыхавшимся и шептавшим зеленым шатром, в соседстве с чудесной каретой, среди зеленоватых теней, в атмосфере полусна и полусказки...

Вдобавок мы не имели тогда ни малейшего понятия о назначении жизни...

Однажды, когда мы сидели таким образом, погруженные в созерцание неподвижных поплавков, с глазами, прикованными к зеленой глубине бадьи,— из действительного мира, то есть со стороны нашего дома, проник в наш фантастический уголок неприятный и резкий голос лакея Павла. Он, очевидно, приближался к нам и кричал:

— Панычи, панычи, э-эй! Идти бо до покою!

«Идти до покою» — значило идти в комнаты, что нас на этот раз несколько озадачило. Во-первых, почему это просто «до покою», а не к обеду, который в этот день действительно должен был происходить ранее обычного, так как отец не уезжал на службу. Во-вторых, почему зовет именно Павел, которого посыпал только отец в экстренных случаях,— тогда как обыкновенно от имени матери звала нас служанка Килимка. В-третьих, все это было нам очень неприятно, как будто именно этот несвоевременный призыв должен вспугнуть волшебную рыбку, которая как раз в эту минуту, казалось, уже плывет в невидимой глубине к нашим удочкам. Наконец, Павел и вообще был человек слишком трезвый, отчасти даже насмешливый, и его излишне серьезные замечания разрушили не одну нашу иллюзию.

Через полминуты этот Павел стоял, несколько даже удивленный, на нашем дворике и смотрел на нас, сильно сконфуженных, своими серьезно выпученными и слегка глуповатыми глазами. Мы оставались в прежних позах, но это только потому, что нам было слишком совестно, да и никогда уже скрывать от него свой образ действий. В сущности же, с первой минуты появления этой фигуры в нашем мире, мы оба почувствовали с особенной ясностью, что наше занятие кажется Павлу очень глупым, что рыбку в бадьях никто не ловит, что в руках у нас даже и не удочки, а простые ветки тополя, с медными булавками, и что перед нами только старая бадья с загнившей водой.

— Э? — протянул Павел, приходя в себя от первоначального удивления.— А що се вы робите?

— Так...— ответил брат угрюмо.

Павел взял из моих рук удочку, осмотрел ее и сказал:

— Разве ж это удилище? Удилища надо делать из орешника.

Потом пощупал нитку и сообщил, что нужен тонкий волос, да его еще нужно заплести умеючи; потом

обратил внимание на булавочные крючки и объяснил, что над таким крючком, без зазубрины, даже и в пруду рыба только смеется. Стасьт червяка и уйдет. Наконец, подойдя к бадье, он тряхнул ее слегка своей сильной рукой. Неизмеримая глубина нашего зеленого омута колыхнулась, помутнела, фантастические существа жалобно заметались и исчезли, как бы сознавая, что их мир колеблется в самых устоях. Обнажилась часть дна,— простые доски, облипшие какой-то зеленой мутью,— а снизу поднялись пузыри и сильный запах, который на этот раз и нам показался уже не особенно приятным.

— Воняет,— сказал Павел презрительно.— От, идти до покою, пан кличе.

— Зачем?

— Идти, то и побачите.

Я и до сих пор очень ясно помню эту минуту столкновения наших иллюзий с трезвою действительностью в лице Павла. Мы чувствовали себя совершенными дураками, нам было совестно оставаться на верхушке забора, в позах рыбаков, но совестно также и слезать под серьезным взглядом Павла. Однако делать было нечего. Мы спустились с забора, бросив удочки как попало, и тихо побрали к дому. Павел еще раз посмотрел удочки, пощупал пальцами размокшие нитки, повел носом около бадьи, в которой вода все еще продолжала бродить и выпускать пузыри, и, в довершение всего, толкнул ногой старый кузов. Кузов как-то жалко и беспомощно крякнул, шевельнулся, и еще одна доска вывалилась из него в мусорную кучу...

Таковы были обстоятельства, предшествовавшие той минуте, когда нашему юному вниманию предложен был афоризм о назначении жизни и о том, для чего, в сущности, создан человек...

III

У крыльца нашей квартиры, на мощеном дворе, толпилась куча народа. На нашем дворе было целых три дома, один большой и два флигеля. В каждом жила особая семья, с соответствующим количеством дворни и прислуги, не считая еще одиноких жильцов, вроде старого холостяка пана Уляницкого, нанимавшего две комнаты в подвальном этаже большого дома. Теперь почти все это население вы-

сыпало на двор и стояло на солнопеке, у нашего крыльца. Мы испуганно переглянулись с братом, разыскивая в своем прошлом какой-нибудь проступок, который подлежал бы такому громкому и публичному разбирательству. Однако отец, сидевший на верхних ступеньках, среди привилегированной публики, по-видимому, находился в самом благодушном настроении. Рядом с отцом вилась струйка синего дыма, что означало, что тут же находится полковник Дударев, военный доктор. Немолодой, расположенный к полноте, очень молчаливый, он пользовался во дворе репутацией человека необыкновенно ученого, а его молчаливость и бескорыстие снискали ему общее уважение, к которому примешивалась доля страха, как к явлению, для среднего обывателя не вполне понятному... Иногда, среди других фантазий, мы любили воображать себя доктором Дударевым, и если я замечал, что брат сидит на крыльце или на скамейке, с вишневой палочкой в зубах, медленно раздувает щеки и тихо выпускает воображаемый дым,— я знал, что его не следует тревожить. Кроме вишневой палочки, требовалось еще особенным образом наморщить лоб, отчего глаза сами собой немного тускнели, становились задумчивы и как будто печальны. А затем уже можно было сидеть на солнце, затягиваться воображаемым дымом из вишневой ветки и думать что-то такое особенное, что, вероятно, думал про себя добрый и умный доктор, молча подававший помочь больным и молча сидевший с трубкой в свободное время. Какие это собственно были мысли, сказать трудно; прежде всего они были важны и печальны, а затем, вероятно, все-таки довольно приятны, судя по тому, что им можно было предаваться подолгу...

Кроме отца и доктора, среди других лиц, мне бросилось в глаза красивое и выразительное лицо моей матери. Она стояла в белом переднике, с навернутыми рукавами, очевидно, только что оторванная от вечных забот по хозяйству. Нас у нее было шестеро, и на ее лице ясно виднелось сомнение: стоило ли выходить сюда в самый разгар хлопотливого дня. Однако скептическая улыбка, видимо, сплывала с ее красивого лица, и в синих глазах ужемелькало какое-то испуганное сожаление, обращенное к предмету, стоявшему среди толпы, у крыльца...

Это была небольшая, почти игрушечная телега, в которой как-то странно,— странно почти до болезненного ощущения от этого зрелища,— помещался человек. Голова его была большая, лицо бледно, с подвижными,

острыми чертами и большими, проницательными бегающими глазами. Туловище было совсем маленькое, плечи узкие, груди и живота не было видно из-под широкой, с сильной проседью бороды, а руки я напрасно разыскивал испуганными глазами, которые, вероятно, были открыты так же широко, как и у моего брата. Ноги странного существа, длинные и тонкие, как будто не умещались в тележке и стояли на земле, точно длинные лапки паука. Казалось, они принадлежали одинаково этому человеку, как и тележке, и все вместе каким-то беспокойным, раздражающим пятном рисовалось под ярким солнцем, точно в самом деле какое-то паукообразное чудовище, готовое внезапно кинуться на окружившую его толпу.

— Идите, идите, молодые люди, скорее... Вы имеете случай увидеть интересную игру природы,— фальшиволаскающим голосом сказал нам пан Уляницкий, проталкиваясь за нами через толпу.

Пан Уляницкий был старый холостяк, появившийся на нашем дворе бог весть откуда. Каждое утро, в известный час и даже в известную минуту, его окно открывалось, и из него появлялась сначала красная ермолка с кисточкой, потом вся фигура в халате... Кинув беспокойный взгляд на соседние окна (нет ли где барышень),— он быстро выходил из окна, прикрывая что-то полой халата, и исчезал за углом. В это время мы стремглав кидались к окну, чтобы заглянуть в его таинственную квартиру. Но это почти никогда не удавалось, так как Уляницкий быстро, как-то крадучись, появлялся из-за угла, мы кидались врассыпную, а он швырял в нас камнем, палкой, что попадало под руку. В полдень он появлялся одетым с иголочки и очень любезно, как ни в чем не бывало, заговаривал с нами, стараясь навести разговор на живших во дворе невест. В это время в голосе его звучала фальшивая ласковость, которая всегда как-то резала нам уши...

— Уважаемые господа, обыватели и добрые люди! — заговорил вдруг каким-то носовым голосом высокий субъект с длинными усами и беспокойными, впалыми глазами, стоявший рядом с тележкой.— Так как, по-видимому, с прибытием этих двух молодых людей, дай им бог здоровья на радость почтенным родителям... все теперь в сборе, то я могу объяснить уважаемой публике, что перед нею находится феномен, или, другими словами, чудо натуры, шляхтич из Заславского повета Ян Криштоф Залуский. Как видите, у него совершенно нет рук и не было от рождения.

Он скинул с феномена курточку, в которую легко было одеть ребенка, потом расстегнул ворот рубахи. Я зажмурился,— так резко и болезненно ударило мне в глаза обнаженное уродство этих узких плеч, совершенно лишенных даже признаков рук.

— Видели? — повернулся долгусый к толпе, отступая от тележки, с курткой в руках.— Без обману...— добавил он,— без всякого ошуканства...— И его беспокойные глаза обежали публику с таким видом, как будто он не особенно привык к доверию со стороны своих близких.

— И, однако, уважаемые господа, сказанный феномен, родственник мой, Ян Залуский — человек очень просвещенный. Голова у него лучше, чем у многих людей с руками. Кроме того, он может исполнять все, что обыкновенные люди делают с помощью рук. Ян, прошу тебя покорно: поклонись уважаемым господам.

Ноги феномена пришли в движение, причем толпа шарахнулась от неожиданности. Не прошло и нескольких секунд, как с правой ноги, при помощи левой, был снят сапог. Затем нога поднялась, захватила с головы феномена большой порыжелый картуз, и он с насмешливой галантностью приподнял картуз над головой. Два черных внимательных глаза остро и насмешливо впились в уважаемую публику.

— Господи боже!.. Иисус-Мария... Да будет похвалено имя господне,— пронеслось на разных языках в толпе, охваченной брезгливым испугом, и только один лакей Павел загоготал в заднем ряду так нелепо и громко, что кто-то из дворни счел нужным толкнуть его локтем в бок. После этого все стихло. Черные глаза опять внимательно и медленно прошли по нашим лицам, и феномен произнес среди тишины ясным, хотя слегка дребезжавшим голосом:

— Обойди!

Долгоусый субъект как-то замялся, точно считал приказ преждевременным. Он кинул на феномена нерешительный взгляд, но тот, уже раздраженно, повторил:

— Ты глуп... обойди!

Полковник Дударев пустил клуб дыма и сказал:

— Однако, почтенный феномен, вы, кажется, начинаете с того, чем надо кончать.

Феномен быстро взглянул на него, как будто с удивлением, и затем еще настойчивее повторил долгусому:

— Обойди, обойди!

Мне казалось, что феномен посыпает долгусого на

какие-то враждебные действия. Но тот только снял с себя шляпу и подошел к лестнице, низко кланяясь и глядя как-то вопросительно, как бы сомневаясь. На лестнице более всего подавали женщины; на лице матери я увидел при этом такое выражение, как будто она все еще испытывает нервную дрожь; доктор тоже бросил монету. Уляницкий смерил долгоусого негодующим взглядом и затем стал беспечно смотреть по сторонам. Среди дворни и прислуги не подал почти никто. Феномен внимательно следил за сбором, потом тщательно пересчитал ногами монеты и поднял одну из них кверху, иронически поклонившись Дудареву.

— Пан доктор... Очень хорошо... благодарю вас.

Дударев равнодушно выпустил очень длинную струйку дыма, которая распустилась султаном на некотором расстоянии, но мне почему-то показалось, что ему досадно или он чего-то слегка застыдился.

— А! то есть удивительное дело,— сказал своим фальшивым голосом пан Уляницкий,— удивительно, как он узнал, что вы — доктор (Дударев был в штатском пиджаке и белом жилете с медными пуговицами).

— О! Он знает прошедшее, настоящее и будущее, а человека видит насквозь,— сказал с убеждением долгоусый, почерпнувший, по-видимому, значительную долю этой уверенности в удачном первом сборе.

— Да, я знаю прошедшее, настоящее и будущее,— сказал феномен, поглядев на Уляницкого, и затем сказал долгоусому: — Подойди к этому пану... Он хочет положить монету бедному феномену, который знает прошедшее каждого человека лучше, чем пять пальцев своей правой руки...

И все мы с удивлением увидели, как пан Уляницкий с замешательством стал шарить у себя в боковом кармане. Он вынул медную монету, подержал ее в тонких, слегка дрожавших пальцах с огромными ногтями и... все-таки опустил ее в шляпу.

— Теперь продолжай,— сказал феномен своему провожатому. Долгоусый занял свое место и продолжал:

— Я вожу моего бедного родственника в тележке потому, что ходить ему очень трудно. Бедный Ян, дай я тебя подыму...

Он помог феномену подняться. Калека стоял с трудом,— огромная голова подавляла это тело карлика. На лице виднелось страдание, тонкие ноги дрожали. Он быстро опустился опять в свою тележку.

— Однако он может передвигаться и сам.

Колеса тележки вдруг пришли в движение, дворня с криком расступилась; странное существо, перебирая по земле ногами и еще более походя на паука, сделало большой круг и опять остановилось против крыльца. Феномен побледнел от усилия, и я видел теперь только два огромных глаза, глядевших на меня с тележки...

— Ногами он чешет у себя за спиной и даже совершаet свой туалет.

Он подал феномену гребенку. Тот взял ее ногой, проворно расчесал широкую бороду и, опять поискавши гла-зами в толпе, послал ногой воздушный поцелуй экономке домовладелицы, сидевшей у окна большого дома с несколькими «комнатными барышнями». Из окна послышался визг, Павел фыркнул и опять получил тумака.

— Наконец, господа, ногою он крестится.

Он сам скинул с феномена фуражку. Толпа затихла. Калека поднял глаза к небу, на мгновение лицо его застыло в странном выражении. Напряженная тишина еще усилилась, пока феномен с видимым трудом поднимал ногу ко лбу, потом к плечам и груди. В задних рядах послышался почти истерический женский плач. Между тем феномен кончил, глаза его еще злее прежнего обежали по лицам публики, и в тишине резко прозвучал усталый голос:

— Обойди!

На этот раз долгоусый обратился прямо к рядам простой публики. Вздыхая, порой крестясь, кой-где со слезами, простые люди подавали свои крохи, кучера заворачивали полы кафтанов, кухарки наскоро сбегали по кухням и, проталкиваясь к тележке, совали туда свои подаяния. На лестнице преобладало тяжелое, не совсем одобрительное молчание. Впоследствии я замечал много раз, что простые сердца менее чутки к кощунству, хотя бы только слегка прикрытым обрядом.

— Пан доктор?..— вопросительно протянул феномен, но, видя, что Дударев только насупился, он направил долгоусого к Уляницкому и напряженно, с какой-то злостью следил за тем, как Уляницкий, видимо, против воли,— положил еще монету.

— Извините,— повернулся вдруг феномен к моей матери...— Человек кормится, как может.

В его голосе была какая-то особенная, жалкая нота. Доктор вдруг выпустил бесконечную струйку синего дыма

и, вынув серебряную монету, кинул ее на мостовую. Феномен поднял ее, поднес ко рту и сказал:

— Пан доктор, я отдаю это первому бедняку, которого встречу... Поверьте слову Яна Залусского. Ну, что же ты стал, продолжай,— накинулся он вдруг на своего долгождного провожатого.

Впечатление этой сцены еще некоторое время держалось в толпе, пока феномен принимал ногами пищу, снимал с себя куртку и вдевал нитку в иглу.

— Наконец, уважаемые господа,— провозгласил долгождный торжественно,— ногами он подписывает свое имя и фамилию.

— И пишу поучительные афоризмы,— живо подхватил феномен.— Пишу поучительные афоризмы всем вообще или каждому желающему порознь, ногами, за особую плату, для душевной пользы и утешения. Если угодно, уважаемые господа. Ну, Матвей, доставай канцелярию.

Долгоусый достал из сумки небольшую папку, феномен взял ногой перо и легко написал на бумаге свою фамилию: «Ян Криштоф Залуский, шляхтич-феномен из Заславского повета».

— А теперь,— сказал он, насмешливо поворачивая голову,— кому угодно получить афоризм?.. Поучительный афоризм, уважаемые господа, от человека, знающего настоящее, прошедшее и будущее...

Острый взгляд феномена пробежал по всем лицам, останавливаясь то на одном, то на другом, точно гвоздь, который он собирался забить глубоко в того, на ком остановится его выбор. Я никогда не забуду этой немой сцены. Урод сидел в своей тележке, держа гусиное перо в приподнятой правой ноге, как человек, ожидающий вдохновения. Было что-то цинически карикатурное во всей его фигуре и позе, в саркастическом взгляде, как будто искавшем в толпе свою жертву. Среди простой публики взгляд этот вызывал тупое смятение, женщины прятались друг за друга, то смеялись, то как будто плача. Пан Уляницкий, когда очередь дошла до него, растерянно улыбнулся и выразил готовность достать из кармана еще монету. Долгоусый проворно подставил шляпу... Феномен обменялся взглядом с моим отцом, скользнул мимо Дударева, почтительно поклонился матери, и внезапно я почувствовал этот взгляд на себе...

— Подойди сюда, малец,— сказал он,— и ты тоже,— позвал он также брата.

Все взгляды обратились на нас, с любопытством или сожалением. Мы рады были бы провалиться сквозь землю, но уйти было некуда; феномен пронизывал нас черными глазами, а отец смеялся.

— Ну, что ж, ступайте,— сказал он таким тоном, каким порой приказывал идти в темную комнату, чтобы отучить от суеверного страха.

И мы оба вышли с тем же чувством содрогания, с каким, исполняя приказ, входили в темную комнату... Маленькие и смущенные, мы остановились против тележки, под взглядом странного существа, смеявшимся нам навстречу. Мне казалось, что он сделает над нами что-то такое, от чего нам будет после стыдно всю жизнь, стыдно в гораздо большей степени, чем в ту минуту, когда мы слезали с забора под насмешливым взглядом Павла... Может быть, он расскажет... но что же? Что-нибудь такое, что я сделаю в будущем, и все будут смотреть на меня с таким же содроганием, как несколько минут назад при виде его уродливой наготы... Глаза мои застилались слезами, и, точно сквозь туман, мне казалось, что лицо странного человека в тележке меняется, что он смотрит на меня умным, задумчивым и смягченным взглядом, который становится все мягче и все страннее. Потом он быстро заскрипел пером, и его нога протянулась ко мне с белым листком, на котором чернела ровная, красивая строчка. Я взял листок и беспомощно оглянулся кругом.

— Прочитай,— сказал, улыбаясь, отец.

Я взглянул на отца, потом на мать, на лице которой виднелось несколько тревожное участие, и механически произнес следующую фразу:

— «Человек создан для счастья, как птица для полета»...

Я не сразу понял значение афоризма и только по благодарному взгляду, который мать кинула на феномена, понял, что все кончилось для нас благополучно. И тотчас же опять раздался еще более прежнего резкий голос феномена:

— Обойди!

Долгоусый грациозно кланялся и подставлял шляпу. На этот раз, я уверен, больше всех дала моя мать. Уляницкий эмансирировался и только величественно повел рукой, показывая, что он и без того был слишком великолупен. Последним кинул монету в шляпу мой отец.

— Хорошо сказано,— засмеялся он при этом,— толь-

ко, кажется, это скорее парадокс, чем поучительный афоризм, который вы нам обещали.

— Счастливая мысль,— насмешливо подхватил феномен.— Это афоризм, но и парадокс вместе. Афоризм сам по себе, парадокс в устах феномена... Ха-ха! Это правда... Феномен тоже человек, и он менее всего создан для полета...

Он остановился, в глазах его мелькнуло что-то странное,— они как будто затуманились...

— И для счастья тоже...— прибавил онтише, как будто про себя. Но тотчас же взгляд его сверкнул опять холодным открытым цинизмом.— Га! — сказал он громко, обращаясь к долгоусому.— Делать нечего, Матвей, обойди почтенную публику еще раз.

Долгоусый, успевший надеть свою шляпу и считавший, по-видимому, представление законченным, опять замялся. По-видимому, несмотря на сильно помятую фигуру и физиономию, не внушавшую ни симпатии, ни уважения, в этом человеке сохранялась доля застенчивости. Он нерешительно смотрел на феномена.

— Ты глуп! — сказал тот жестко.— Мы получили с уважаемых господ за афоризм, а тут оказался еще парадокс... Надо получить и за парадокс... За парадокс, почтенные господа!.. За парадокс бедному шляхтичу-феномену, который кормит ногами многочисленное семейство...

Шляпа обошла еще раз по крыльцу и по двору, который к тому времени наполнился публикой чуть не со всего переулка.

IV

После обеда я стоял на крыльце, когда ко мне подошел брат.

— Знаешь что,— сказал он,— этот... феномен... еще здесь.

— Где?

— В людской. Мама позвала их обоих обедать... И долгоусый тоже. Он его кормит с ложки...

В эту самую минуту из-за угла нашего дома показалась худощавая и длинная фигура долгоусого. Он шел, наклоняясь, с руками назади, и тащил за собою тележку, в которой сидел феномен, подобравши ноги. Проезжая

мимо флигелька, где жил военный доктор, он серьезно поклонился по направлению к окну, из которого попыхивал по временам синий дымок докторской трубки, и сказал долгусому: «Ну, ну, скорее!» Около низких окон Ульницкого, занавешенных и уставленных геранью, он вдруг зашевелился и крикнул:

— До свиданья, благодетель... Я знаю прошедшее, настоящее и будущее, как пять пальцев моей правой руки... которой у меня, впрочем, нет... ха-ха! Которой у меня нет, милостивый мой благодетель... Но это не мешает мне знать прошедшее, настоящее и будущее!

Затем тележка выкатилась за ворота...

Как будто сговорившись, мы с братом бегом обогнули флигель и вышли на небольшой задний дворик за домами. Переулок, обогнув большой дом, подходил к этому месту, и мы могли здесь еще раз увидеть феномена. Действительно, через полминуты в переулке показалась долговязая фигура, тащившая тележку. Феномен сидел, опустившись. Лицо у него казалось усталым, но было теперь проще, будничнее и приятнее.

С другой стороны, навстречу, в переулок вошел старый нищий с девочкой лет восьми. Долгоусый кинул на нищего взгляд, в котором на мгновение отразилось беспокойство, но тотчас же он принял беззаботный вид, стал беспечно глядеть по верхам и даже как-то некстати и фальшиво затянул вполголоса песню. Феномен наблюдал все эти наивные эволюции товарища, и глаза его искрились саркастической усмешкой.

— Матвей! — окликнул он, но так тихо, что долгоусый только прибавил шагу.

— Матвей!

Долгоусый остановился, посмотрел на феномена и как-то просительно произнес:

— А! Ей-богу, глупство!..

— Доставай,— кратко сказал феномен.

— Ну!

— Доставай.

— Ну-у! — совсем жалобно протянул долгоусый, однако полез в карман.

— Не там,— сказал холодно феномен.— Сороковец доктора у тебя в правом кармане... Дедушка, постой на минуту.

Нищий остановился, снял шляпу и уставился в него своими выцветшими глазами. Долгоусый, с видом чело-

века, смертельно оскорбленного, достал серебряную монету и кинул в шляпу старика.

— Дьявол вас тут носит, дармоедов,— пробормотал он, принимаясь опять за дышло.

Нищий кланялся, держа шляпу в обеих руках. Феномен захочотал, откинув голову назад... Тележка двинулась по переулку, приближаясь к нам.

— А ты сегодня в добром гумбре,— угрюмо и язвительно сказал долгусый.

— А что? — с любопытством сказал феномен.

— Так... пишешь приятные афоризмы и раздаешь голодранцам по сороковцу... Какой, подумают люди, счастливеец!

Феномен захочотал своим резким смехом, от которого у меня что-то прошло по спине, и потом сказал:

— Ха! Надо себе позволить иногда... притом же ничего не потеряли... Ты видишь, и приятные афоризмы иногда делают сбор. У тебя две руки, но твоя голова ничего не стоит, бедный Матвей!.. Человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для него. Понял? У людей бывают и головы, и руки. Только мне забыли приkleить руки, а тебе по ошибке поставили на плечи пустую тыкву... Ха! Это неприятно для нас, однако не изменяет общего правила...

Под конец этой речи неприятные ноты в голосе феномена исчезли, и в лице появилось то самое выражение, с каким он писал для меня афоризмы. Но в эту минуту тележка поравнялась с тем местом, где мы стояли с братом, держась руками за балясины палисадника и уткнув лица в просветы. Заметив нас, феномен опять захочотал неприятным смехом.

— А! лоботрясы! Пришли еще раз взглянуть на феномена бесплатно? Вот я вас тут! У меня есть такие же племянники, я кормлю и секу их ногами... Не хотите ли попробовать?.. Это очень интересно. Ха-ха-ха! Ну, бог с вами, не трону... Человек создан для счастья. Афоризм и парадокс вместе, за двойную плату... Кланяйтесь доктору от феномена и скажите, что человеку надо кормиться не тем, так другим, а это трудно, когда природа забыла приkleить руки к плечам... А у меня есть племянники, настоящие, с руками... Ну, прощайте и помните: человек создан для счастья...

Тележка покатилась, но уже в конце переулка феномен еще раз повернулся к нам, кивнул головой кверху, на птицу, кружившуюся высоко в небе, и крикнул еще раз:

— Создан для счастья. Да, создан для счастья, как птица для полета.

Затем он исчез за углом, и мы с братом долго еще стояли, с лицами между балюсин, и смотрели то на пустой переулок, то на небо, где, широко раскинув крылья, в высокой синеве, в небесном просторе, вся залитая солнцем, продолжала кружиться и парить большая птица...

А потом мы пошли опять в свой угол, добыли удочки и принялись было в молчании поджидать серебристую рыбку в загнившей бадье...

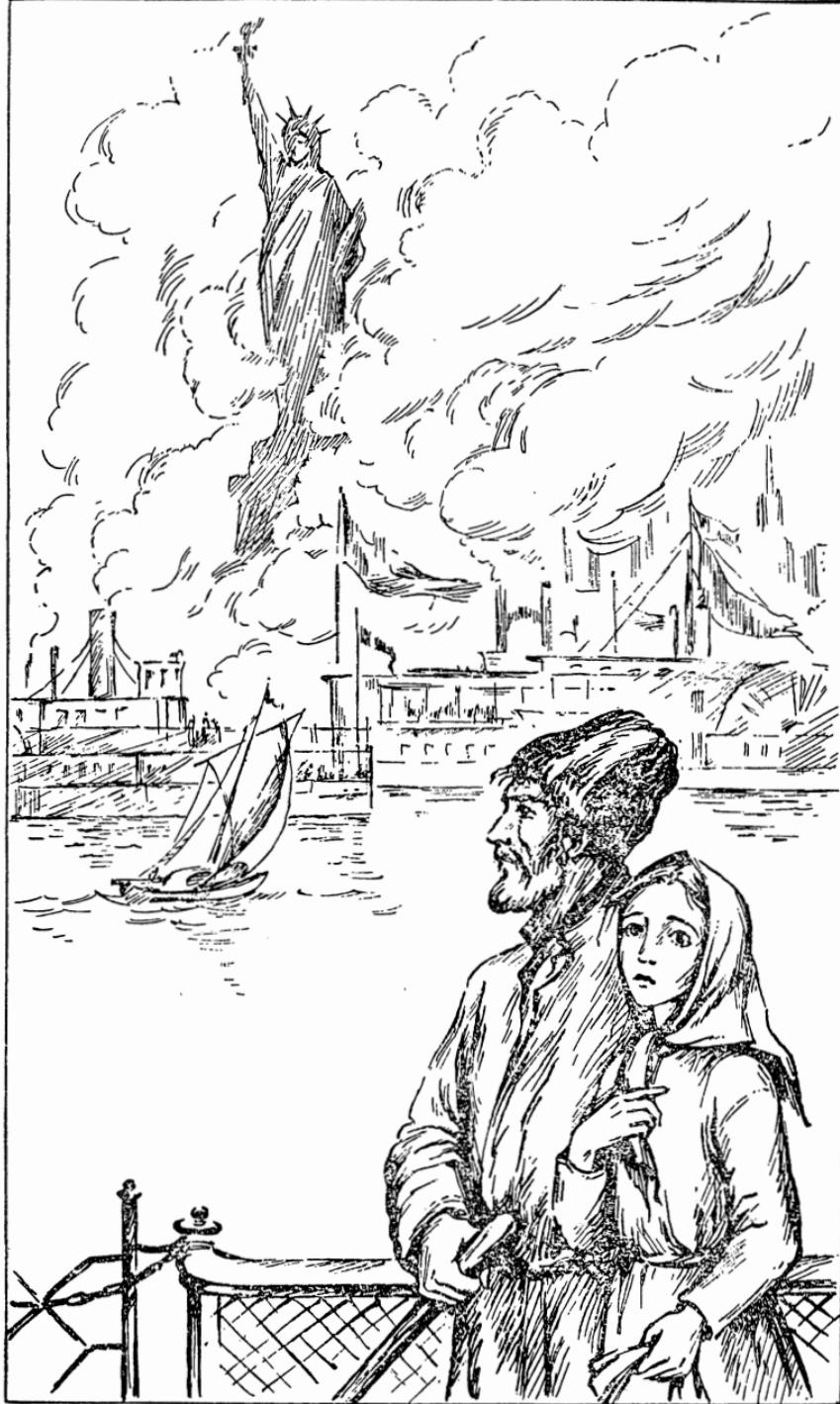
Но теперь это почему-то не доставляло нам прежнего удовольствия. От бадьи несло вонью, ее глубина потеряла свою заманчивую таинственность, куча мусора, как-то скучно освещенная солнцем, как бы распалась на свои составные части, а кузов казался дрянной старой рухлядью...

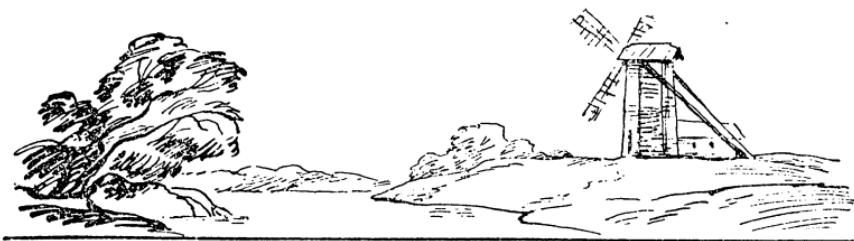
Ночью оба мы спали плохо, вскрикивали и плакали без причины. Впрочем, причина была: в дремоте обоим нам являлось лицо феномена и его глаза, то холодные и циничные, то подернутые внутренней болью...

Мать вставала и крестила нас, стараясь этим защитить своих детей от первого противоречия жизни, острой запозой вонзившегося в детские сердца и умы...

1894







БЕЗ ЯЗЫКА

Рассказ

1

На моей родине, в Волынской губернии, в той ее части, где холмистые отроги Карпатских гор переходят постепенно в болотистые равнины Полесья, есть небольшое местечко, которое я назову Хлебно. С северо-запада оно прикрыто небольшой возвышенностью. На юго-восток от него раскинулась обширная равнина, вся покрытая нивами, на горизонте переходящими в синие полосы еще уцелевших лесов. Там и сям, особенно под лучами заходящего солнца, сверкают широкие озера, между которыми змеятся узенькие, пересыхающие на лето речушки.

Сторона спокойная, тихая, немного даже сонная. Местечко похоже более на село, чем на город, но когда-то оно знало если не лучшие, то во всяком случае менее дремотные дни. На возвышенности сохранились еще следы земляных окопов, на которых теперь колышется трава, и пастух старается передать ее шепот на своей нехитрой дудке, пока общественное стадо мирно пасется в тени полузыпаных рвов...

Невдалеке от этого местечка, над извилистой речушкой, стоял, а может, и теперь еще стоит, небольшой поселок. Речка от лозы, обильно растущей на ее берегах, получила название Лозовой; от речки поселок назван Лозищами, а уже от поселка жители все сплошь носят фамилии Лозинских. А чтобы точнее различить друг друга, то Лозинские к общей фамилии прибавляли прозвища: были Лозинские птицы и звери, одного звали Мазницей, другого Колесом, третьего даже Голенищем...

Трудно сказать, когда этот поселок засел под самым боком у города. Было это еще в те времена, когда на валах

виднелись пушки, а пушкари у них постоянно сменялись: то стояли с фитилями поляки, в своих пестрых кунтушах, а казаки и «голота» подымали кругом пыль, облегая город... то, наоборот, из пушек палили казаки, а польские отряды кидались на окопы. Говорили, будто Лозинские были когда-то «речестровыми» казаками и получили разные привилегии от польских королей. Ходили даже слухи, будто они были когда-то и за что-то пожалованы дворянством.

Все это, однако, давно забылось. В шестидесятых годах умер столетний старик Лозинский-Шуляк. В последние годы он уже ни с кем не разговаривал, а только громко молился или читал старую славянскую библию. Но люди еще помнили, как он рассказывал о прежних годах, о Запорожье, о гайдамаках, о том, как и он уходил на Днепр и потом с ватажками нападал на Хлебно и на Клевань, и как осажденные в горящей избе гайдамаки стреляли из окон, пока от жара не лопались у них глаза и не взрывались сами собой пороховницы.

И старик сверкал дикими потухающими глазами и говорил: «Гей-гей! Было когда-то наше время... Была у нас свобода!..» А лозищане — уже третье или четвертое поколение, — слушая эти странные рассказы, крестились и говорили: «А то ж не дай господи боже!»

Сами они давно уже запахали в землю все привилегии и жили под самым mestечком ни мужиками, ни мещанами. Говорили как будто по-малорусски, но на особом волынском наречии, с примесью польских и русских слов, исповедывали когда-то греко-униатскую веру, а потом, после некоторых замешательств, были причислены к православному приходу, а старая церковка была закрыта и постепенно развалилась... Пахали землю, ходили в белых и серых свитах, с синими или красными поясами, штаны носили широкие, шапки бараньи. И хотя, может быть, были беднее своих соседей, но все же смутная память о каком-то лучшем прошлом держалась под соломенными стрёхами лозищанских хат.

Ходили лозищане чище крестьян, были почти все грамотны по-церковному, и об них говорили, что они держат себя слишком гордо. Правда, это очень трудно было заметить постороннему, потому что при встрече с господами или начальством они так же торопливо сворачивали с дороги, так же низко кланялись и так же иной раз целовали смиренно господские руки. Но все-таки было что-то, и опытные люди что-то замечали. О лозищанах

говорили, что они что-то вспоминают, о чем-то воображают и чем-то недовольны. Действительно, на обычные вопросы при встречах: «Как себе живете?» или: «Как вам бог помогает?» — лозищане, вместо «слава богу», только машали рукой и говорили: «А, какая там жизнь!» или: «Живем, как горох при дороге!» А иные, посмелее, принимались рассказывать иной раз такое, что не всякий соглашался слушать. К тому же у них тянулась долгая тяжба с соседним помещиком из-за чинша, которую лозищане сначала проиграли, а потом вышло как-то так, что наследник помещика уступил... Говорили, что после этого Лозинские стали «еще гордее», хотя не стали довольнее.

И нигде так радушно не встречали заезжих людей, которые могли порассказать кое-что о широком белом свете.

II

Так же вот жилось в родных Лозищах и некоему Осипу Лозинскому, то есть жилось, правду сказать, неважно. Земли было мало, аренда тяжелая, хозяйство беднело. Был он уже женат, но детей у него еще не было, и не раз он думал о том, что когда будут дети, то им придется так же плохо, а то и похуже. «Пока человек еще молод,— говоривал он,— а за спиной еще не пищит детвора, тут-то и поискать человеку, где это затерялась его доля».

Не первый он был и не последний из тех, кто, попрощавшись с родными и соседями, взяли, как говорится, ноги за пояс и пошли искать долю, работать, биться с лихой нуждой и есть горький хлеб из чужих печей на чужбине. Немало уходило таких неспокойных людей и из Лозицей, уходили и в одиночку, и парами, а раз даже целым гуртом пошли за хитрым агентом-немцем, пробравшись ночью через границу. Только все это дело кончалось или ничем, или еще хуже. Кто возвращался ободранный и голодный, кого немцы гнали на веревке до границы, а кто пропадал без вести, затерявшись где-то в огромном божьем свете, как маленькая булавка в омете соломы.

Лозинский Осип был, кажется, еще первый, который не пропал и отыскался. Человек, видно, был с головой, не из тех, что пропадают, а из тех, что еще других выводят на дорогу. Как бы то ни было,— через год или два, а может и больше, пришло в Лозищи письмо с большою

рыжею маркой, какой до того времени еще и не видывали в той стороне. Немало дивились письму, читали его и перечитывали в волости и писарь, и учитель, и священник, и много людей познательнее, кому было любопытно, а, наконец, все-таки вызвали Лозинскую и отдали ей письмо в разорванном конверте, на котором совершенно ясно было написано ее имя: Катерине Лозинской, жене Лозинского Иосифа Оглобли, в Лозищах.

Письмо было от ее мужа, из Америки, из губернии Миннесота, а какого уезда и села, теперь сказать очень трудно, потому что... Впрочем, это будет видно дальше.

В письме было написано, что Лозинский, слава богу, жив и здоров, работает на «фарме» и, если бог поможет ему так же, как помогал до сих пор, то надеется скоро и сам стать хозяином. А впрочем, и работником там ему лучше, чем иному хозяину в Лозищах. Свобода в этой стороне большая. Земли довольно, коровы дают молока по ведру на убой, а лошади — чистые быки. Человека с головой и руками уважают и ценят, и вот даже его, Лозинского Осипа, спрашивали недавно, кого он желает выбрать в главные президенты над всею страной. И он, Лозинский, подавал свой голос не хуже людей, и хоть правду сказать, сделалось не так, как они хотели со своим хозяином, а все-таки ему понравилось и то, что человека, как бы то ни было, спросили. Одним словом, свобода и все остальное очень хорошо. Только Лозинскому очень скучно без жены, и потому он старался работать как только можно, и первые деньги отдал за тикет, который и посыпает ей в этом письме. А что такое тикет, так это вот эта самая синяя бумажка, которую надо беречь, как зеницу ока. На ней нарисован паровоз с вагонами и пароход. Это значит, что по этому билету Лозинскую повезут теперь даром и по земле, и по воде, — стоит ей только доехать до немецкого города Гамбурга. А на другие расходы пусть продаст избу, корову и имущество.

Пока Лозинская читала письмо, люди глядели на нее и говорили между собой, что вот и в какой пустой бумажке какая может быть великая сила, что человека повезут на край света и нигде уже не спросят плату. Ну, разумеется, все понимали при этом, что такая бумажка должна была стоить Осипу Лозинскому немало денег. А это, конечно, значит, что Лозинский ушел в свет не напрасно и что в свете можно-таки разыскать свою долю...

И всякий подумал про себя: а хорошо бы и мне...

Писарь (тоже лозищанин родом), и тот не сразу отдал Лозинской письмо и билет, а держал у себя целую неделю и думал: баба глупая, а с такой бумагой и кто-нибудь поумнее мог бы побывать в Америке и поискать там своего счастья... Но на билете было совершенно ясно, хоть и не по-нашему, написано: mississ Katharina Joseph Losinsky-Oglobla. Иосиф Лозинский и Оглобля — это бы, конечно, еще ничего, но Катерина — это уже было ясно, что женщина, да и mississ тоже, пожалуй, обозначает бабу. Одним словом, хотя и в последнюю минуту писарь все еще как-то вздыхал и неприятно косился, вынимая из стола билет, который у него был припрятан особо, но все-таки отдал. Лозинская взяла его, села на лавку и горько заплакала.

Разумеется, она была рада письму, да ведь и от радости тоже плачут. Притом все-таки приходилось покинуть и родную деревню, и родных, и соседей. Затем, нужно сказать, что Лозинская была баба молодая и, как говорится, гладкая. Без мужа мало ли беды, — не видела проходу хотя бы и от этого самого писаря, а на духу приходилось признаваться, что и «враг» не оставлял ее в покое. Нет-нет, да и зашепчет кто-то на ухо, что Осип Лозинский далеко, что еще никто из таких далеких стран в Лозищи не возвращался, что, может, вороны растаскали уже и мужнины kostочки в далекой пустыне, а она тут тратит напрасно молодые лета — ни девкой, ни вдовой, ни мужниной женой. Правда, что Лозинская была женщина разумная и соблазнить ее было не легко, но что у нее было тяжело на душе, это оказалось при получении письма: сразу подкатили под сердце и настоящая радость, и прежнее горе, и все гречные молодые мысли, и все бессонные ночи с горячими думами. Одним словом, упала Лозинская в обморок, и пришлось тут ее родному брату Матвею Лозинскому, по прозванию Дышло, нести ее на руках в ее хату.

И пошел по деревне говор. Осип Лозинский разбогател в Америке и стал таким важным человеком, что с ним уже советуются, кого назначить в президенты... Стали молодые люди почаству гостить в корчме, пьют пиво и мед, курят трубки, засиживаются за полночь, шумят, спорят и хваствуют. Кто бы послушал эти толки, то подумал бы, что не останется в Лозищах ни одного молодого человека к филипповкам... Если уже Осипа спрашивали, кого он хочет в президенты, то что там наделяют другие, получше Осипа!.. Потому что там — свобода!

Свобода! Это слово частенько-таки повторялось в шин-

ке еврея Шлемы, спокойно слушавшего за своей стойкой. Правду сказать, не всякий из лозицан понимал хорошенько, что оно значит. Но оно как-то хорошо обращалось на языке, и звучало в нем что-то такое, от чего человек будто прибавлялся в росте и что-то будто вспоминалось неясное, но приятное... Что-то такое, о чем как будто бы знали когда-то в той стороне старые люди, а дети иной раз прикидываются, что и они тоже знают...

Ну, да ведь мало ли что о чем говорит! Поговорили, пошумели и бросили. И, может, уже забыли и тянут лямку, как вол в борозде, а может, говорят и до сих пор, все на том же месте. А все-таки отыскались тут два человека из таких, что не любят много говорить, пока не сделают... Подумали, потолковали на стороне друг с другом и принялись продавать хаты и землю. Продавать-то было, пожалуй, немногого, и, когда все это дело покончили, тогда и объявили: едем и мы с Осиповой Лозихою, чтобы ей одной не пропасть в дороге.

Один приходился ей близким человеком: это был ее брат, Матвей Дышло, родной правнук Лозинского-Шуляка, бывшего гайдамака,— человек огромного роста, в плечах сажень, руки, как грабли, голова белокурая, курчавая, величиною с добрый котел,— настоящий медведь из пущи. Говорили, что он наружностью походил на деда. Только глаза и сердце — как у ребенка. Женат он еще не был, изба у него была плохая, а земли столько, что если лечь такому огромному человеку поперек полосы, то ноги уже окажутся на чужой земле. Говорил мало, смеялся редко. У него была старая дедовская библия, которую он любил читать, и часто думал что-то про себя стыдливо и печально. Никогда его в Лозицах умным не считали, и парни нередко издевались над ним, может быть потому, что он, несмотря на свою необычайную силу, драться не любил.

Был у него задушевный приятель, Иван Лозинский Дыма, человек уже совсем другого рода: небольшого роста, не сильный, но веселый, разговорчивый и острый. Дыма был сухощав, говорлив, подвижен, волосы у него торчали щетиной, глаза бегали и блестели, язык имел быстрый, находчивый, усы носил длинные, по-казачьи — книзу. Никто его дураком не считал, и он никому не давал спуску. Но если кого заденет своим колючим словом, то уже, бывало, все старается держаться поближе к Матвею, потому что на руку был не силен и в драке ни с кем устоять не мог.

Когда узнали в Лозищах, что и эти двое собрались в Америку, то как-то всем это стало неприятно.

— Да где же тебе, Матвей, — говорили приятели, — в такую даль забираться? Ты глуп, а Иван слаб. Да вас там в Америке гуси затопчут.

Но Матвей отвечал:

— Будет, что бог даст. А я от сестры да от Дымы не отстану.

Так и поехали втроем в дальнюю дорогу... Не стоит описывать, как они переехали через границу и проехали через немецкую землю; все это не так уж трудно. К тому же в Пруссии немало встречалось и своих людей, которые могли указать, как и что надо делать дорогой. Довольно будет сказать, что приехали они в Гамбург и, взявши свои пожитки, отправились, не долго думая, к реке, на пристань, чтобы там узнать, когда следует ехать дальше.

А Гамбург, немецкий город, стоит на большой реке, не очень далеко от моря, и оттуда ходят корабли во все стороны. Вот видят наши лозищане в одном месте, на берегу, народу видимо-невидимо, бегут со всех сторон, торопятся и толкаются так, как будто человек — какое-нибудь бревно на проезжей дороге. А с берега, от пристани, два пароходика все возят народ на корабль, потому что корабли, которые ходят по океану, стоят на середине поодаль, на самом глубоком месте. Видят лозищане, что один корабль дымится, а к нему то и дело пристают пароходы. Выкинут в него народ, сундуки, узлы и чемоданы — и тотчас же опять к пристани, и опять нагружаются, и везут снова.

Вот Иван Дыма, рассмотревши все хорошенъко, догадался первый.

— А знаете, — говорит, — что я вам скажу: это, должно быть, корабль в Америку, потому что очень велик. Вот мы и попали как раз. Давай, Матвей, пробираться вперед.

Поставили они женщину с билетом впереди и пошли проталкивать ее между народом. Дошли до самого края пристани, а там уж, видно, последнюю партию принимают. Боже мой, что только творилось на этой пристани: и плачут, и кричат, и смеются, и обнимаются, и ругаются, и машут платками. И редкое лицо не взволновано, и на редких глазах не сверкают прощальные слезы... И все кругом, — чужой язык звучит, незнакомая речь хлещет в уши, непонятная и дикая, как волна, что брызжет пеной под ногами. Закружились у наших лозищан головы, за-

бились сердца, глаза так и впились вперед, чтобы как-нибудь не отстать от других, чтобы как-нибудь их не оставили в этой старой Европе, где они родились и прожили полжизни...

Матвею Лозинскому не трудно было пробить всем дорогу, и через две минуты Лозинская стояла уже со своим сундуком у самого мостика и в руках держала билет. А пароходик уже свистнул два раза жалобно и тонко, и черный дым пыхнул из его трубы в сырой воздух,— видно, что сейчас уходит хочет, а пока лозищане оглядывались,— раздался и третий свисток, и что-то заклокотало под ногами так сильно, что наши даже вздрогнули и невольно подались назад. А в это время какой-то огромный немец, с выпученными глазами и весь в поту, суетившийся всех больше на пристани, увидел Лозинскую, выхватил у нее билет, посмотрел, сунул ей в руку, и не успели лозищане оглянуться, как уже и женщина, и ее небольшой узел очутились на пароходике. А в это время два других матроса сразу двинули мостки, сшибли с ног Дыму, отодвинули Матвея и выволокли мостки на пристань. Кинулись наши лозищане к высокому немцу.

— А побойся ты бога, человече! — закричал ему Дыма. — Да это же наша родная сестра, мы хотим ехать вместе.

Дыма, конечно, схитрил, называя себя родным братом Лозинской, да какая уж там к черту хитрость, когда немец ни слова не понимает. А тут пароходик отваливает, а с парохода Катерина так разливается, что даже изо всех немецких голосов ее голос слышен. Завернули лозищане полы, вытащили, что было денег, положили на руки, и пошел Матвей опять локтями работать. Стали опять впереди, откуда еще можно было вскочить на пароход, и показывают немцу деньги, чтобы он не думал, что они намерены втроем ехать по одному бабьему билету. Дыма так даже отобрал небольшую монетку и тихонько сунул ее в руку немцу. Сунул и сам же зажал ему руку, чтобы монета не вывалилась, и показывает ему на пароходик и на женщину, которая в это время уже начала терять голос от испуга и плача...

Ничего не вышло! Немец, положим, монету не бросил и даже сказал что-то довольно приветливо, но когда наши друзья отступили на шаг, чтобы получше разбежаться и вскочить на пароходик, немец мигнул двум матросам, а те, видно, были люди привычные: сразу так принялись

за обоих лозицан, что нечего было думать о скачке.

— Матвей, Матвей,— закричал было Дыма,— а ну-ка, попробуй с ними по-своему. Как раз теперь это и нужно! — Но в это время оба отлетели, и Дыма упал, задравши ноги кверху.

Когда он поднялся,— пароходик уже скользил, поворачиваясь, вдоль пристани. Показались кожухи, заворочались колеса, обдавая пристань мутными брызгами, хвост дыма задел по лицам густо столпившуюся публику, потом мелькнуло заплаканное лицо испуганной Лозинской, и еще через минуту — между пристанью и пароходом залегла бурливая и мутная полоса воды в две-три сажени. Колеса ударили дружнее, и полоса растянулась в десять — двадцать сажен, а пароходик стал уменьшаться, убегая среди мглистого воздуха, под мутным небом, по мутной реке...

Лозицане глядели, разинувши рты, как он пристал к одному кораблю, как что-то протянулось с него на корабль, точно тонкая жердочка, по которой, как муравьи, поползли люди и вещи. А там и самый корабль дохнул черным дымом, загудел глубоким и гулким голосом, как огромный бугай в стаде коров,— и тихо двинулся по реке, между мелкими судами, стоявшими по сторонам или быстро уступавшими дорогу.

Лозицане чуть не заплакали, провожая глазами эту громаду, увезшую у них из-под носа бедную женщину в далекую Америку.

Народ стал расходиться, а высокий немец снял свою круглую шляпу, вытер платком потное лицо, подошел к лозицанам и ухмыльнулся, протягивая Матвею Дышлу свою лапу. Человек, очевидно, был не из злопамятных; как не стало на пристани толкотни и давки, он оставил свои манеры и, видно, захотел поблагодарить лозицан за подарок.

— Вот видишь,— говорит ему Дыма.— Теперь вот кланишься, как добрый, а сам подумай, что ты с нами наделал; родная сестра уехала одна. Поди ты к черту! — Он плюнул и сердито отвернулся от немца.

А в это время корабль уже выбрался далеко, подымил еще, все меньше, все дальше, а там не то, что Лозинскую, и его уже трудно стало различать меж другими судами, да еще в тумане. Защекотало что-то у обоих в горле.

— Собака ты, собака! — говорит немцу Матвей Дышло.

— Да! говори ты ему, когда он не понимает,— с досадой перебил Дыма.— Вот если бы ты его в свое время

двинул в ухо, как я тебе говорил, то, может, так или иначе, мы бы теперь были на пароходе. А уж оттуда все равно в воду бы не бросили! Тем более у нас сестра с билетом!

— Кто знает,— ответил Матвей, почесывая в затылке.— Правду тебе сказать,— хоть оно двинуть человека в ухо и недолго, а только не видал я в своей жизни, чтобы от этого выходило что-нибудь хорошее. Что-нибудь и мы тут не так сделали, верь моему слову. Твое было дело — догадаться, потому что ты считаешься умным человеком.

Как это бывает часто, приятели старались свалить вину друг на друга. Дыма говорит: надо было помочь кулаком, Матвей винит голову Дымы. А немец стоит и дружелюбно кивает обоим...

Потом немец вынул монету, которую ему Дыма сунул в руку, и показывает лозицанам. Видно, что у этого человека все-таки была совесть; не захотел напрасно денег взять, щелкнул себя пальцем по галстуку и говорит: «Шнапс», а сам рукой на кабачок показал. «Шнапс», это на всех языках понятно, что значит. Дыма посмотрел на Матвея, Матвей посмотрел на Дыму и говорит:

— А что ж теперь делать. Конечно, надо идти. Пешком по воде не побежишь, а от этого немецкого черта все-таки, может, хоть что-нибудь доберемся...

Пошли. А в кабаке стоит старый человек, с седыми, как щетина, волосами, да и лицо тоже все в щетине. Видно сразу: как ни бреется, а борода все-таки из-под кожи лезет, как отава после хорошего дождя. Как увидели наши приятели такого шероховатого человека посреди гладких и аккуратных немцев, и показалось им в нем что-то знакомое. Дыма говорит тихонько:

— Это, должно быть, минский или могилевский, а то из Пущи.

Так и вышло. Поговоривши с немцем, кабатчик принес четыре кружки с пивом (четвертую для себя) и стал разговаривать. Обругал лозицан дураками и объяснил, что они сами виноваты.

— Надо было зайти за угол, где над дверью написано «Billetenkasse». Billeten,— это и дураку понятно, что значит билет, а Kasse так касса и есть. А вы лезете, как стадо в городьбу, не умея отворить калитки.

Матвей опустил голову и подумал про себя: «Правду говорит — без языка человек, как слепой или малый ребенок». А Дыма, хоть, может быть, думал то же самое,

но, так как был человек с амбицией, то стукнул кружкой по столу и говорит:

— Долго ли ты будешь ругаться, старый! Лучше прнеси еще по кружке и скажи, как нам теперь быть.

Всем это понравилось,— увидели, что человек с самолюбием и находчивый. Немец потрепал Дыму по плечу, а хозяин принес опять четыре кружки на подносе.

— Ну, как же нам ее догонять? — спрашивает Дыма.

— Беги за ней, может, догонишь,— ответил кабатчик.— Ты думаешь, на море, как в поле, на телеге. Теперь,— говорит,— вам надо ждать еще неделю, когда пойдет другой эмигрантский корабль, а если хотите, то заплатите подороже: скоро идет большой пароход, и в третьем классе отправляется немало народу из Швеции и Дании наниматься в Америке в прислуги. Потому что, говорят, американцы народ свободный и гордый, и прислуги из них найти трудно. Молодые датчанки и шведки в год-два зарабатывают там хорошее приданое.

— Пожалуй, дорого,— сказал Дыма, но Матвей возразил:

— Побойся ты бога! Ведь женщину нельзя заставлять ждать целую неделю. Ведь она там изойдет слезами.— Матвею представлялось, что в Америке, на пристани, вот так же, как в селе у перевоза, сестра будет сидеть на берегу с узелочком, смотреть на море и плакать...

Переночевали у земляка, наутро он сдал лозицан молодому шведу, тот свел их на пристань, купил билеты, посадил на пароход, и в полдень поплыли наши Лозинские — Дыма и Дышло — догонять Лозинскую Оглоблю...

III

Проходит день, проходит другой. Солнце садится в море с одной стороны, наутро подымается из моря с другой. Плещет волна, ходят туманные облака, летают за кораблем чайки, садятся на мачты, потом как будто отрываются от них ветром и, колыхаясь с боку на бок, как клочки белой бумаги, отстают, отстают и исчезают назади, улетая обратно, к европейской земле, которую наши лозицане покинули навеки. Матвей Лозинский провожает их глазами и вздыхает. Вот, думает он: и чайка боится лететь дальше, а мы полетели. И рисуется перед ним сосновый лес, под лесом речка с бледною лозой, над

речкой — бедные соломенные хаты. И кажется, — вернулся бы назад к прежней беде, родной и знакомой.

А море глухо бьет в борты корабля, и волны, как горы, подымаются и падают с рокотом, с плеском, с глухим стоном, как будто кто грозит и жалуется вместе. Корабль клонит-клонит, вот, кажется, совсем перевернется, а там опять начнет подниматься с кряхтеньем и скрипом. Гнутся и скрипят мачты, сухо свистит ветер в снастях, а корабль все идет и идет; над кораблем светит солнце, над кораблем стоит темная ночь, над кораблем задумчиво висят тучи или гроза бушует и ревет на океане, и молнии падают в колыхающуюся воду. А корабль все идет и идет...

Матвей Дышло говорил всегда мало, но часто думал про себя такое, что никак не мог бы рассказать словами. И никогда еще в его голове не было столько мыслей, смутных и неясных, как эти облака и эти волны, — и таких же глубоких и непонятных, как это море. Мысли эти рождались и падали в его голове, и он не мог бы, да и не старался их вспомнить, но чувствовал ясно, что от этих мыслей что-то колышется и волнуется в самой глубине его души, и он не мог бы сказать, что это такое...

К вечеру океан подергивался темнотой, небо угасало, а верхушки волны загорались каким-то особенным светом... Матвей Дышло заметил прежде всего, что волна, отбегавшая от острого корабельного носа, что-то слишком бела в темноте, павшей давно на небо и на море. Он нагнулся книзу, поглядел в глубину и замер...

Вода около корабля светилась, в воде тихо ходили бледные огни, вспыхивая, угасая, выплывая на поверхность, уходя опять в таинственную и страшную глубь... И казалось Матвею, что все это живое: и ход корабля, и жалобный гул, и грохот волны, и движение океана, и таинственное молчание неба. Он глядел в глубину, и ему казалось, что на него тоже кто-то глядит оттуда. Кто-то неизвестный, кто-то удивленный, кто-то испуганный и недовольный... От века веков море идет своим ходом, от века встают и падают волны, от века поет море свою собственную песню, непонятную человеческому уху, и от века в глубине идет своя собственная жизнь, которой мы не знаем. И вот теперь в эту вековечную гармонию, в это живое движение вмешался дерзкий и правильный ход корабля... И песня моря дрогнула и изменилась, и волны разрезаны и сбиты, и кто-то в глубине со страхом прислушивается к этому ходу непонятного чудовища из

другого, непонятного мира. Конечно, Лозинский не мог бы рассказать все это такими словами, но он чувствовал испуг перед тайной морской глубины. И казалось Лозинскому, что вот он смотрит со страхом сверху, а на него с таким же ужасом кто-то смотрит снизу. Смотрит и сердится, и посыает своих посланцев с огнями, которые выплывают наверх и ходят взад и вперед, и узнают что-то, и о чем-то тихо советуются друг с другом, и все-таки печально уходят в безвестную пучину, — ничего не понимая... А корабль все бежит неудержимым бегом к своей собственной цели...

И много в эти часы думал Матвей Лозинский, — жаль только, что все эти мысли подымались и падали, как волны, не оставляя заметного следа, не застывая в готовом слове, вспыхивали и гасли, как морские огни в глубине... А впрочем, он говорил после и сам, что никогда не забудет моря. «Человек много думает на море разного, — сказал он мне, — разное думает о себе и о боге, о земле и о небе... Разное думается человеку на океане — о жизни, мой господин, и о смерти...» И по глазам его было видно, что какой-то огонек хочет выбраться на поверхность из безвестной глубины этой простой и темной души... Значит, что-то все-таки оставалось в этой душе от моря.

Да, наверное, оставалось... Душа у него колыхалась, как море, и в сердце ходили чувства, как волны. И порой слеза подступала к глазам, и порой — смешно сказать — ему, здоровенному и тяжелому человеку, хотелось кинуться и лететь, лететь, как эти чайки, что опять стали уже появляться от американской стороны... Лететь куда-то вдаль, где угасает заря, где живут добрые и счастливые люди...

После Лозинский сам признавался мне, что у него в то время были такие мысли, которые никогда не заходили в голову ни в Лозищах, когда он шел за сохой, ни на ярмарке в местечке, ни даже в церкви. Там все были обыкновенные мысли, какие и должны быть в своем месте и в свое время. А в океане мысли были все особенные и необычные. Они подымались откуда-то, как эти морские огни, и он старался присмотреться к ним поближе, как к этим огням... Но это не удавалось. Пока он не следил за ними, они плыли одна за другой, вспыхивали и гасли, лаская душу и сердце. А как только он начинал их ловить и хотел их рассказать себе словами, — они убегали, а голова начинала болеть и кружиться.

Разумеется, все оттого, что было много досуга, а пе-

ред глазами ходил океан и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность...

На третий день пути, выйдя на палубу, он увидел впереди корабль. Сначала ему показалось, что это маленький игрушечный кораблик запутался между снастями того парохода, на котором они сами плыли. Но это оттого, что прозрачный и ясный воздух приближал все, а кругом, кроме воды, ничего не было. Парусный корабль качался и рос, и когда поравнялся с ними, то Лозинский увидел на нем веселых людей, которые смеялись и кланялись, и плыли себе дальше, как будто им не о чем думать и заботиться, и жизнь их будто всегда идет так же весело, как их корабль при попутном ветре... А в другой раз в сильную качку, когда на носу их парохода стояла целая туча брызгов, он опять смотрел, как такой же кораблик, весь наклонившись набок, летел, как птица. Волны вставали и падали, как горы, и порой с замиранием сердца Лозинский и другие пассажиры смотрели и не видели больше смелого суденышка. Но оно опять взлетало на вершину, и опять его парус касался пен, будто крыло чайки,— и он колыхался и шел, шел и колыхался... А Лозинский думал про себя, что это, должно быть, уже американцы. Смелые, видно, люди! И вот он едет к ним, простой и робкий лозищанин... Как-то они его встретят, и зачем он им нужен?.. И какой-то он будет сам через десяток лет?..

И ему казалось, что и теперь он уже другой, не тот, что ходил за сохой в Лозищах или в праздник глазел на базар в соседнем городе. Уже одно то, что он видел это колыхающееся без конца море, эти корабли, этих странных, чужих людей... То, что его глаз смотрел в тайну морской глубины и что он чувствовал ее в душе и думал о ней и об этих чужих людях, и о себе, когда он приедет к ним,— все это делало его как будто другим человеком. И он вглядывался вперед, в яркую синеву неба или в пелену морских туманов, как будто искал там свое место и свое будущее...

В одну из таких минут, когда неведомые до тех пор мысли и чувства всплывали из глубины его темной души, как искорки из глубины темного моря,— он разыскал на палубе Дыму и спросил:

— Послушай, Дыма. Как ты думаешь, все-таки: что это у них там за свобода?

Но Дыма ответил сердито:

— Убирайся ты... Поищи себе трясицу (лихорадку) или

паралича, чтобы тебя разбило вдребезги ясным громом.

Это оттого, что бедному Дыме в эту минуту был не мил белый свет. Потому что, когда корабль раскачивало направо и налево, то от кормы к носу, то опять от носа к корме,— тогда небо, казалось, вот-вот опрокинется на море, а потом опять море все разом лезло высоко к небу. От этого у бедного Дымы страшно кружилась голова, что-то тосковало под ложечкой, и он все подходил к борту корабля и висел книзу головой, точно тряпка, повешенная на плетне для просушки. Бедного Дыму сильно тошнило, и он кричал, что это проклятое море вывернет его наизнанку, и заклинал Христом-богом, чтобы корабль пристал к какому-нибудь острову и чтоб его, Дыму, высадили хоть к дикарям, если не хотят загубить христианскую душу. Сначала Матвей очень дивился тому, что у Дымы оказался такой непостоянный характер, и даже пробовал всячески стыдить его. Но потом увидел, что это не с одним Дымой; многие почтенные люди и даже шведские и датские барышни, которые плыли в Америку на ниматься в горничные и кухарки, так же висели на бортах, и с ними было все то же, что и с Дымой. Тогда Матвей понял, что это на океане дело обыкновенное. Самому ему становилось иногда неприятно и только; Дыма — человек нервный — проклинал и себя, и Осипа, и Катерину, и корабль, и того, кто его выдумал, и всех американцев, даже еще не рожденных на свет... Порой, кажется, он готов был даже кощунствовать, но все-таки сдерживался... Потому что на море оно как-то не так легко, как иной раз на земле...

А все-таки мысль о свободе сидела в голове у Матвея. И еще на берегу, в Европе, когда они разговорились с могилевцем-кабатчиком, тогда сам Дыма спросил у него первый:

— А что, скажите на милость... Какая там у них, люди говорят, свобода?

— А! Рвут друг другу горла,— вот и свобода...— сердито ответил тот.— А впрочем,— добавил он, допивая из кружки свое пиво,— и у нас это делают, как не надо лучше. Поэтому я, признаюсь, не могу понять, зачем это иным простакам хочется, чтобы их ободрали непременно в Америке, а не дома...

— Это вы, кажется, кинули камень в наш огород,— сказал тогда догадливый Дыма.

— Мне до чужих огородов нет дела,— ответил могилевец уклончиво,— я говорю только, что на этом свете, кто

перервал друг другу горло, тот и прав... А что будет на том свете, это когда-нибудь увидите и сами... Не думаю, однако, чтобы было много лучше.

Кабатчик, видимо, видел в жизни много неприятностей. Ответ его не понравился лозицанам и даже немного их обидел. Что люди всюду рвут друг друга,— это, конечно, может быть, и правда, но свободой,— думали они,— наверное, называется что-нибудь другое. Дыма счел нужным ответить на обидный намек.

— А это, я вам скажу, всюду так: как ты кому, так и тебе люди: мягкому и на доске мягко, а костистому жестко и на перине. А такого шероховатого человека, как вы, я еще, признаться, и не видывал...

Таким образом, разговор тогда кончился немного кисло.

Теперь с лозицанами на корабле плыл еще чех, человек уже старый и невеселый, но приятный. Его выписал сын, который хорошо устроился в Америке. Старик ехал, но, по его словам, лучше было бы, если бы сын хорошо устроился на родине. Тогда бы и ехать незачем. Чешская речь все-таки — славянская. Поляку могло показаться, что это он говорит по-русски, а русскому — что по-польски. Наши же лозицане говорили на волынском наречии: не по-русски и не по-польски, да не совсем и по-украински, а всех трех языков намешано понемногу. Поэтому им было легче. Дыма к тому же — человек, битый не в темя,— разговорился скоро. Где не хватало языка, он помогал себе и руками, и головой, и ногами. Где щелкнет, где приткнется, где хлопнет рукой, одним словом, как-то скоро стали они с чехом приятели. А чех говорит по-немецки, значит, можно было кое-что узнать через него и от немцев. А уже через немцев — и от англичан...

Вот, когда ветер стихал и погода становилась яснее, Дыму и других отпускала болезнь, и становилось на пароходе веселее. Тогда пассажиры третьего класса выползали на носовую палубу, долговязый венгерец начинал играть на дудке, молодой немец на скрипке, а молодежь брала шведских барышень за талию и кружилась, обходя осторожно канаты и цепи. И над океаном неслись далеко звуки музыки, а волна подпевала и шаловливо кидала кверху белую пену и брызги, и дельфины скакали, обгоняя корабль. А на душе становилось и весело, и грустно.

В это время Дыма с чехом усаживались где-нибудь в уголке, брали к себе еще англичанина или знающего

немца, и Дыма учился разговаривать. Англичанин говорил немцу, немец — чеху, а уж чех передавал Дыме. Прежде всего, разумеется, он выучился американскому счету и затверживал его, загибая пальцы. Потом узнал, как называть хлеб и воду, потом плуг и лошадь, дом, колодезь, церковь. И все списывал на бумажке и твердил про себя. Он старался обучить и Матвея, но тому давалось трудно. Только и выучил по-английски «три», — потому что у них «три» называется по-нашему.

А потом у старого чеха Дыма тоже спросил, что такое свобода. Это, говорит, сделана у них на острове такая медная фигура. Стоит выше самых высоких домов и церквей, подняла руку кверху. А в руке — факел, такой огромный, что светит далеко в море. Внутри лестница, — и можно войти в голову, и в руку, и даже на верхушку факела. Вечером зажигают огонь во лбу и около факела, и тогда выходит сияние, точно от месяца и даже многое ярче. И называется эта медная женщина — свобода.

Дыма передал этот разговор Матвею, но обоим казалось, что это опять не то: один говорит: «рвут горло», другой говорит: «фигура, которая светится»... А Матвею почему-то вспоминался все старый дед Лозинский-Шуляк, который подарил ему библию. Старик умер, когда Матвей еще был ребенком; но ему вспоминались какие-то смутные рассказы деда о старине, о войнах, о Запорожье, где-то в степях на Днепре... И теперь, как память о странном сне, рассказанном старым дедом, рисовалась эта старина и какой-то простор, и какая-то дикая воля... «А если встретишь, бывало, татарина или хоть кого другого... Ну, тут уже кому бог поможет», — вспоминались слова деда... «Что же, — думал он, — тоже, выходит, «рвали горло»... Потом он вспоминал, что была над народом панская «неволя». Потом пришла «воля»... Но свободы все как будто не было. У него кружилась голова, мысли туманились, а в душе оставался все-таки нерешенный вопрос.

IV

На седьмой день пал на море страшный туман. Такой туман, что нос парохода упирался будто в белую стену и едва было видно, как колышется во мгле притихшее море. Раза два-три, прямо у самого парохода, проплыли какие-то водоросли, и Лозинский подумал, что это уже близко

Америка. Но Дыма узнал через своего чеха, что это как раз середина океана. Только не очень далеко на полдень — мелкое место. И здесь теплая струя ударяется в мель и идет на полночь, а тут же встречается и холодная струя с полночных морей. И оттого над морем в этом месте все гнездится туман. Пароход шел тихо, и необыкновенно громкий свисток ревел гулко и жалобно, а стена тумана отдавала этот крик, как эхо в густом лесу. И становилось всем жутко и страшно.

И в это время на корабле умер человек. Говорили, что он уже сел больной; на третий день ему сделалось совсем плохо, и его поместили в отдельную каюту. Туда к нему ходила дочь, молодая девушка, которую Матвей видел несколько раз с заплаканными глазами, и каждый раз в его широкой груди поворачивалось сердце. А наконец, в то время, когда корабль тихо шел в густом тумане, среди пассажиров пронесся слух, что этот больной человек умер.

И действительно, на корабле все почувствовали смерть... Пассажиры притихли, доктор ходил серьезный и угрюмый, капитан с помощником совещались, и потом, через день, его похоронили в море. Завернули в белый саван, привязали к ногам тяжесть, какой-то человек, в длинном черном сюртуке и широком белом воротнике, как казалось Матвею, совсем не похожий на священника, — прочитал молитвы, потом тело положили на доску, доску положили на борт и через несколько секунд, среди захватывающей тишины, раздался плеск... Вместе с этим кто-то громко крикнул, молодая девушка рванулась к морю, и Матвей услышал ясно родное слово: «Отец, отец!» Между тем корабль, тихо работавший винтами, уже отодвинулся от этого места, и самые волны на том месте смешались с белым туманом. От человека не осталось и следа... Туман сомкнулся позади плотной стеной, и туман был впереди, а пароходный ревун стонал и будто бы надрывался над печальной человеческой судьбой...

Скоро, однако, другие события закрыли собой эту смерть... В этот же день небольшая парусная барка только-только успела вывернуться из-под носа у парохода. Но это еще ничего. Люди на барке махали шляпами и смеялись на расстоянии каких-нибудь пяти саженей. Они были в kleенчатых куртках и странных шляпах... Другой раз чуть не вышло еще хуже. Среди белого дня, в молочной мгле что-то, видно, почудилось капитану. Пароход остановили, потом отошли назад, как будто убегали от кого-то,

кто двигался в тумане. Потом стали в ожидании. И вдруг Лозинский увидел вверху, как будто во мгле, встало облако с сверкающими краями, а в воздухе стало холоднее и повеяло острым ветром. Пароход повернулся и тихо, будто украдкой, стал уползать в глубь тумана налево. А направо было не облако, а ледяная гора. Лозинский не верил своим глазам, чтобы можно было видеть разом такую огромную гору чистого льда. Но это видели все. На пароходе все притихло, даже винт работал осторожнее итише. А гора плыла, тихонько покачиваясь, и вдруг исчезла совсем, будто растаяла...

Наши двое лозищан и чех тотчас же сняли шапки и перекрестились. Немцы и англичане не имеют обычая креститься, кроме молитвы. Но и они также верят в бога и также молятся, и когда пароход пошел дальше, то молодой господин в черном сюртуке с белым воротником на шее (ни за что не сказал бы, что это священник) встал посреди людей, на носу, и громким голосом стал молиться. И люди молились с ним и пели какие-то канты, и священное пение смешивалось с гулким и жалобным криком корабельного ревуна, опять посылавшего вперед свои предостережения, а стена тумана опять отвечала, только еще жалобнее и еще глуше...

А море тоже все более стихало и лизало бока корабля, точно ласкалось и просило у людей прощения...

Женщины после этого долго плакали и не могли успокоиться. Особенно жалко было Лозинскому молодую сироту, которая сидела в стороне и плакала, как ребенок, закрывая лицо углом шерстяного платка. Он уже и сам не знал, как это случилось, но только он подошел к ней, положил ей на плечо свою тяжелую руку и сказал:

— Будет уже тебе плакать, малютка, бог милостив.

Девушка подняла голубые глаза, посмотрела на Лозинского и ответила:

— А! Как мне не плакать... Еду одна на чужую сторону. На родине умерла мать, на корабле отец, а в Америке где-то есть братья, да где они,— я и не знаю... Подумайте сами, какая моя доля!

Лозинский постоял, посмотрел и не сказал ей ничего. Он не любил говорить на ветер, да и его доля была тоже темна. А только с этих пор, где бы он ни стоял, где бы он ни сидел, что бы ни делал, а все думал об этой девушке и следил за нею глазами.

И тогда же Лозинский сказал себе самому: «А вот же,

если я найду там в широком и неведомом свете свою долю, то это будет также и твоя доля, малютка. Потому что человеку как-то хочется кого-нибудь жалеть и любить, а особенно, когда человек на чужбине».

V

На двенадцатый день народ начал все набираться на носу, как муравьи на плавучей щепке, когда ее прибивает ветром к берегу ручья. Из этого наши лозищане поняли, что, должно быть, недалеко уже американская земля. И действительно, Матвей, у которого глаза были острые, увидел первый, что над синим морем направо встала будто белая игла. Потом она поднялась выше, и уже ясно было видно, что это белый маяк. По волнам то и дело неслись лодки с косым парусом, белые пароходы, с окнами, точно в домах, маленькие пароходики, с коромыслами наверху, каких никогда еще не приходилось видеть лозищанам. А там в синеватой мгле стало проступать что-то, что-то заискрилось, что-то забелело, что-то вытягивалось и пестрело. Пошли острова с деревьями, пошла длинная коса с белым песком. На косе что-то громыхало и стучало, и черный дым валил из высокой трубы.

Дыма толкнул Лозинского локтем.

— Видишь? Чех говорил правду.

Матвей посмотрел вперед. А там, возвышаясь над самыми высокими мачтами самых больших кораблей, стояла огромная фигура женщины, с поднятой рукой. В руке у нее был факел, который она протягивала навстречу тем, кто подходит по заливу из Европы к великой американской земле.

Пароход шел тихо, среди других пароходов, сновавших, точно водяные жуки, по заливу. Солнце село, а город все выплывал и выплывал навстречу, дома вырастали, огоньки зажигались рядами и в беспорядке дрожали в воде, двигались и перекрещивались внизу, и стояли высоко в небе. Небо темнело, но на нем ясно еще рисовалась высоко в воздухе тонкая сетка огромного, невиданного моста.

Исполинские дома в шесть и семь этажей ютились внизу, под мостом, по берегу; фабричные трубы не могли достать до моста своим дымом. Он повис над водой, с берега на берег, и огромные пароходы пробегали под ним, как ничтожные лодочки, потому что это самый большой

мост во всем божьем свете... Это было направо, а налево уже совсем близко высилась фигура женщины,— и во лбу се, еще споря с последними лучами угасавшей в небе зари, загоралась золотая диадема, и венок огоньков светился в высоко поднятой руке...

А сердце Лозинского трепетало и сжималось от ужаса. Только теперь он понял, что такое эта Америка, на берегу которой он думал встретить Лозинскую. Он ждал, что она будет сидеть тут где-то со своим узелком. «Боже мой, боже мой,— думал Матвей.— Да здесь человек, как иголка в траве, или капля воды, упавшая в море...» Пароход шел уже часа два в виду земли, в виду построек и пристаний, а город все развертывал над заливом новые ряды улиц, домов и огней... И с берега, сквозь шум машины, неслось рокотание и гул. Казалось, кто-то дышит огромный и усталый, то опять кто-то жалуется и сердится, то кто-то ворочается и стонет... и опять только гудит и катится, как ветер в степи, то опять говорит смешанными голосами...

Лозинский отыскал Анну,— молодую девушку, с которой он познакомился,— и сказал:

— Держись, малютка, меня и Дымы. Видишь, что тут деется в этой Америке. Не дай боже!

Девушка схватила его за руку, и не успел сконфуженный Матвей оглянуться, как уж она поцеловала у него руку. Потому что бедняжка, видно, испугалась Америки еще хуже, чем Лозинский.

Пароход остановился на ночь в заливе, и никого не спускали до следующего утра. Пассажиры долго сидели на палубах, потом большая часть разошлась и заснула. Не спали только те, кого, как и наших лозищан, пугала неведомая доля в незнакомой стране. Дыма, впрочем, первый заснул себе на лавке. Анна долго сидела рядом с Матвеем, и порой слышался ее тихий и робкий голос. Лозинский молчал. Потом и Анна заснула, склонясь усталой головой на свой узел.

И только Матвей просидел всю теплую ночь, пока свет на лбу статуи не померк, и заиграли отблески зари на волнах, оставляемых бороздами возвращавшихся с долгойочной работы пароходов...

На следующее утро пришли на пароход американские таможенные чиновники, давали подписывать какую-то бумагу, а между тем корабль потихоньку стали подтягивать к пристани. И было как-то даже грустно смотреть, как этот

морской великан лежит теперь на воде, без собственного движения, точно мертвый, а какой-то маленький пароходишко хлопочет около него, как живой муравей около мертвого жука. То потянет его за хвост, то забежит с носу, и свистит, и шипит, и вертится... А пристань оказалась — огромный сарай, каких много было на берегу. Они стояли рядами, некрасивые, огромные и мрачные. Только на одной толпились американцы, громко визжали, свистели и кричали «ура». Матвей посмотрел туда с остатком надежды увидеть сестру — и махнул рукой. Где уж!..

Наконец пароход подтянули. Какой-то матрос, ловкий, как дьявол, взобрался кверху, под самую крышу сарая, и потом закачался в воздухе вместе с мостками, которые спустились на корабль. И пошел народ выходить на американскую землю...

Скучно было нашим... Пошли и они — не оставаться же на корабле вечно. А если сказать правду, то Матвею приходило в голову, что на корабле было лучше. Плыешь себе и плывешь... Небо, облака, да море, да вольный ветер, а впереди, за гранью этого моря, — что бог даст... А тут вот тебе и земля, а что в ней... Всех кто-нибудь встречает, целуют, обнимаются, плачут. Только наших лозищан не встречает никто, и приходится идти самим искать неведомую долю. А где она?.. Куда ступить, куда податься, куда поставить ногу и в какую сторону повернуться, — неизвестно. Стали наши, в белых свитах, в больших сапогах, в высоких бараньих шапках и с большими палками в руках, — с палками, вырезанными из родной лозы, над родною речкою, и стоят, как потерянные, и девушка со своим узелком жмется меж ними.

VI

— Жид! А ей же богу, пусть меня разобьет ясным громом, если это не жид, — сказал вдруг первый Дыма, указывая на какого-то господина, одетого в круглую шляпу и в кургузый, потертый пиджак. Хотя рядом с ним стоял молодой барчук, одетый с иголочки и уже вовсе не похожий на жида, — однако, когда господин повернулся, то уже и Матвей убедился с первого взгляда, что это непременно жид, да еще свой, из-под Могилева или Житомира, Минска или Смоленска, вот будто сейчас с базара, только переоделся в немецкое платье.

Обрадовались они этому человеку, будто родному. Да и жид, заметив белые свитки и барашковые шапки, тотчас подошел и поклонился.

— Ну, поздравляю с приездом. Как ваше здоровье, господа? Я сразу вижу, что это приехали земляки.

— А что,— сказал Дыма с торжествующим видом.— Не говорил я? Вот ведь какой это народ хороший! Где нужно его, тут он и есть. Здравствуйте, господин еврей, не знаю, как вас назвать.

— А! Звали когда-то Борух, а теперь зовут Борк, мистер Борк,— к вашим услугам,— сказал еврей и как-то гордо погладил бородку.

— А! Чтоб тебя! Ну, слушай же ты, Берко...

— Мистер Борк,— поправил еврей с еще большею гордостью.

— Ну, пускай так, мистер так и мистер, чтоб тебя схватило за бока... А где же тут хорошая заезжая станция, чтобы, знаешь, не очень дорого и не очень уж плохо. Потому что, видишь ты... Мы хоть в простых свитках, а не совсем уже мужики... однодворцы... Притом еще с нами, видишь сам, девушка...

— Ну, разве я уж сам не могу различить, с кем имею дело,— ответил мистер Борк с большою политикой.— Что вы обо мне думаете?.. Пхе! Мистер Борк дурак, мистер Борк не знает людей... Ну, только и я вам скажу: это ваше большое счастье, что вы попали сразу на мистера Борка. Я ведь не каждый день хожу на пристань, зачем я стал бы каждый день ходить на пристань?.. а у меня вы сразу имеете себе хорошее помещение, и для барышни найдем комнатку особо, вместе с моей дочкой.

— А, вот видите вы, как оно хорошо,— сказал Дыма и оглянулся, как будто это он сам выдумал этого мистера Борка.— Ну, веди же нас, когда так, на свою заезжую станцию.

— Может, вам нужно взять еще ваш багаж?

— Э! Какой там багаж! Правду тебе сказать, так и все вот тут с нами.

— Гэ, это не очень много! Джон!..— крикнул он на молодого человека, который-таки оказался его сыном.— Ну, чего ты стоишь, как какой-нибудь болван. Таке ту бэгедж офф мисс (возьми у барышни багаж).

Молодой человек оказался не гордый. Он вежливо приподнял шляпу, схватил из рук Анны узелок, и они пошли с пристани.

Прошли через улицу и вошли в другую, которая показалась приезжим какой-то пещерой. Дома темные, высокие, выходы из них узкие, да еще в половину домов поверх улицы сделана на столбах настилка, загородившая небо...

— А, господи! Матерь божья! — взвизнула вдруг в испуге Анна и схватила за руку Матвея.

— Всякое дыхание да хвалит господа,— сказал про себя Матвей,— а что же это еще такое?

— Ай-ай, чего вы это испугались,— сказал жид.— Да это только поезд. Ну, ну, идите, что такое за важность... Пускай себе он идет своей дорогой, а мы пойдем своей. Он нас не тронет, и мы его не тронем. Здесь, я вам скажу, такая сторона, что зевать некогда...

И мистер Борк пошел дальше. Пошли и наши скрепя сердце, потому что столбы кругом дрожали, улица гудела, вверху лязгало железо о железо, а прямо над головами лозищан, по настилке, на всех парах летел поезд. Они посмотрели с разинутыми ртами, как поезд изогнулся в воздухе змеей, повернул за угол, чуть не задевая за окна домов,— и полетел опять по воздуху дальше, то прямо, то извиваясь...

И показалось нашим, привыкшим только к шуму родного бора, да к шепоту тростников над тихою речкой Лозовою, да к скрипу колес в степи, что они теперь попали в самое пекло. Дома — шапка свалится, как посмотришь. Взглянешь назад — корабельные мачты, как горелый лес; поднимешь глаза к небу — небо закопчено и еще закрыто этой настилкой воздушной дороги, от которой в улице вечные сумерки. А впереди человек видит опять, как в воздухе, наперерез, с улицы в улицу летит уже другой поезд, а воздух весь изрезан храпом, стоном, лязганием и свистом машин.

— Господи Иисусе,— шептала Анна бледными губами. Матвей только закусил ус, а Дыма мрачно понурил голову и шагал, согнувшись под своим узлом. А за ними бежали кучи каких-то уличных дьяволят, даже иной раз совсем черных, как хорошо вычищенный сапог, и заглядывали им прямо в лица, и подпрыгивали, и смеялись, а один большой негодяй кинул в Дыму огрызок какого-то плода.

— А ну, это человек, наконец, может потерять всякое терпение,— сказал Дыма, ставя свой узел на землю.— Послушай, Берко...

— Мистер Борк,— поправил еврей.

— А что же, мистер Борк, у вас тут делает полиция?

— А что вам за дело до полиции? — ответил еврей с неудовольствием. — Зачем вам беспокоить полицию такими пустяками? Здесь не такая сторона, чтобы чуть что не так, и сейчас звать полицию...

— Это, верно, называется свобода, — сказал Дыма очень язвительно. — Человеку кинули в лицо огрызок, — это свобода... Ну, когда здесь уже такая свобода, то послушай, Матвей, дай этому висельнику хорошего пинка, может, тогда они нас оставят в покое.

— Ну, пожалуйста, не надо этого делать, — взмолился Берко, к имени которого теперь все приходилось прибавлять слово «мистер». — Мы уже скоро дойдем, уже совсем близко. А это они потому, что... как бы вам сказать... Им неприятно видеть таких очень лохматых, таких шорстких, таких небритых людей, как ваши милости. У меня есть тут поблизости цирюльник... Ну, он вас приведет в порядок за самую дешевую цену. Самый дешевый цирюльник в Нью-Йорке.

— А это, я вам скажу, хорошая свобода — чтобы ее взяли черти, — сказал Дыма, сердито взваливая себе мешок на спину.

А в это время в Дыму опять полетела корка банана. Пришлось терпеть и идти дальше. Впрочем, прошли немного, как мистер Борк остановился.

— Ну, а теперь, пожалуйста, пойдем на эту лестницу...

— Да куда же это мы пойдем, хотел бы я знать? — сказал Дыма. И действительно, лестница вела с улицы наверх, на ту самую настилку, что была у них над головами.

— Ну, нам надо сесть в вагон.

— Не пойду, — сказал Дыма решительно. — Бог создал человека для того, чтобы он ходил и ездил по земле. Довольно и того, что человек проехал по этому проклятому морю, которое чуть не вытянуло душу. А тут еще лети, как какая-нибудь сорока, по воздуху. Веди нас пешком.

— Ай-ай! — сказал мистер Борк нетерпеливо, — что же мне с вами делать? Идите, пожалуйста!

— Не пойду! — решительно сказал Дыма и, обращаясь к Матвею и Анне, сказал: — И вы тоже не ходите!

Еврей что-то живо заговорил с сыном, который только улыбался, — и потом, повернувшись к Дыме, мистер Борк сказал очень решительно:

— Ну, когда вы такой упрямый человек, что все хотите

по-своему... то идите, куда знаете. Я себе пойду в вагон, а вы, как хотите... Джон! Отдай барышне багаж. Каждый человек может идти своей дорогой.

Джон усмехнулся, но не торопился отдавать Анне багаж. Матвей взял Дыму за руку и сказал:

— А! Что там! Пойдем уже.

— Пойдем, пожалуйста,— робко сказала и Анна.

— Га! Что делать! В этой стороне, видно, надо ко всему привыкать,— ответил Дыма и, взвалив мешок на плечи, сердито пошел на лестницу.

На первом повороте за contadorкой сидел равнодушный американец, которому еврей дал монету, а тот выдал ему пять билетов. Эти билеты Борк кинул в стеклянную коробку, и все поднялись еще выше и вышли на платформу.

Поезда еще не было. Платформа была вровень с третьими этажами домов. Внизу шли люди, ехали большие фургоны, проходили, позванивая, вагоны конно-железной дороги; вверху, по синему небу плыли облака, белые, светлые, совсем как наши. «Вот,— думал Матвей,— полетит это облако над землей, над морем, пронесется над Лозищами, заглянет в светлую воду Лозовой речки, увидит лозицкие дома, и поле, и людей, которые едут в поле и с поля, как бог велел, в пароконных телегах и с драбинами. Подумает ли кто-нибудь в Лозицах, что двое лозицан стоят в эту минуту в чужом городе, где над ними сейчас издавались, точно они не христиане и приехали сюда на посмешище... Стоят ни на земле, ни на горе и собираются лететь по воздуху в какой-то машине». «Господи,— думала в это время и Анна,— а ну, как это провалится, а ну, как полетим мы все с этой машиной вниз, на каменную мостовую! Господи Иисусе, дева Мария, святой Иосиф! Всякая душа хвалит господа». Дыма смотрел и кусал длинный ус...

На рельсах вдали показался какой-то круг и покатился, и стал вырастать, приближаться, железо зазвенело и заговорило под ногами, и скоро перед платформой пролетел целый поезд... Завизжал, остановился, открылись затворки — и несколько десятков людей торопливо прошли мимо наших лозицан. Потом они вошли в вагон, заняли пустые места, и поезд сразу опять кинулся со всех ног и полетел так, что только мелькали окна домов...

Матвей закрыл глаза. Анна крестилась под платком и шептала молитвы. Дыма оглядывался кругом вызывающим взглядом. Он думал, что американцы, сидевшие

в вагонах, тоже станут глазеть на их шапки и свитки и, пожалуй, кидать огрызками бананов. Но, видно, эти американцы были люди серьезные: никто не пялил глаз, никто не усмехался. Дымя это понравилось, и он немного успокоился...

А там поезд опять остановился, и наши вышли благополучно и опять спустились по лестнице на улицу...

VII

Заезжий двор мистера Борка совсем не походил на наши. Наши, то есть те, что на Волыни, или под Могилевом, или в Полесье, гораздо лучше: длинный, невысокий дом, на белой стене чернеют широкие ворота так приветливо и приятно, что лошади приворачивают к ним сами собой. За въездом — прямо крытый двор, с высокою соломенною стрехой; между стропилами летают тучи воробьев, и голуби воркуют где-то так сладко, а где — и не увидишь... А там — колодезь с воротом, ясли с «драбинами» для лошадей, куры, коза, корова, запах лошадиного поту, запах дегтя и душистого сена... Вспомнить, так и то приятно...

Нужно сказать, что Матвей и Дыма считались в своих местах людьми степенными, знающими, как обращаться в свете. Случалось им не раз на ярмарке, или в праздник, проездом в местечках, или в какой-нибудь корчме на шляху — заставать полным-полно народу,— и это их нисколько не смущало. Известное дело,— всякий сам себя знает. Поставил человек лошадь к месту, кинул ей сена с воза или подвязал торбу с овсом, потом сунул кнут себе за пояс, с таким расчетом, чтобы люди видели, что это не бродяга или нищий волочится на ногах по свету, а настоящий хозяин со своей скотиной и телегой; потом вошел в избу и сел на лавку ожидать, когда освободится за столом место. А пока — оглядел всех, и сразу видно, что за народ послал бог на встречу, и сразу же можно начать подходящий разговор: один разговор с простым мужиком, другой — со своим братом, однодворцем или мещанином, третий — с управляющим или подпанком. Разумеется, знали и свое место: если уже за столом расселся проезжий барин,— то, конечно, приходилось и пообождать, хотя бы и места было и достаточно. Одним словом, ходили всегда по свету с открытыми глазами,— знали себя, знали людей, а потому от равных видели радущие и уважение, от гордых сторонились, и если

встречали от господ иногда какие-нибудь неприятности, то все-таки не часто.

Теперь они сразу стали точно слепые. Не пришли сюда пешком, как бывало на богомолье, и не приехали, а прилетели по воздуху. И двор мистера Борка не похож был на двор. Это был просто большой дом, довольно темный и неприятный. Борк открыл своим ключом дверь, и они взошли наверх по лестнице. Здесь был небольшой коридорчик, на который выходило несколько дверей. Войдя в одну из них, по указанию Борка, наши лозищане остановились у порога, положили узлы на пол, сняли шапки и огляделись.

Комната была просторная. В ней было несколько кроватей, очень широких, с белыми подушками. В одном только месте стоял небольшой столик у кровати, и в разных местах — несколько стульев. На одной стене висела большая картина, на которой фигура «Свободы» подымала свой факел, а рядом — литографии, на которых были изображены пятисвечники и еврейские скрижали. Такие картины Матвей видел у себя на Волыни и подумал, что это Борк привез в Америку с собою.

В открытое окно виднелась линия воздушной дороги, вдоль улицы, по которой приехали и они. И опять вдали показался круглый щит локомотива и стал все вырастать. Лозищане смотрели на него с некоторым страхом. Лязг и грохот все приближался, и им казалось, что поезд вкатится в комнату. Но в это время что-то вдруг хлестнуло в окно резкой струей воздуха, и мимо, совсем близко, с противоположной стороны, пронеслась какая-то стена с окнами. Это был другой, встречный поезд; в окнах мелькнули головы, шляпы, лица, в том числе некоторые черные, как сажа... И через несколько секунд все исчезло, повернуло, и поезд понесся в даль, все уменьшаясь, между тем как прежний вырастали через минуту тоже пронесся мимо окон. Клуб пара и дыма, точно развеивающаяся лента, махнул по окну, и несколько клочьев ворвалось в самую комнату...

— Всякое дыхание да хвалит господа! — сказал Матвей, крестясь с испугом. И только когда оба поезда исчезли, он решился оглядеться хорошоенько на новом месте.

Кроватей в комнате стояло около десятка, но из жильцов в ней находился только один господин, звание которого лозищане определить не могли. На нем было «городское платье», как и на Борке, светлые клетчатые короткие

панталоны, большие и тяжелые шнуровые ботинки, крахмальная сорочка и светлый жилет. Он лежал на постели, полуутираясь огромным листом газеты и, отслонив ее угол, с любопытством смотрел на новоприбывших. По виду это был настоящий «барин», и, если бы так у себя, дома, то Дыма непременно отвесил бы ему низкий поклон и сказал бы:

— Прошу прощения... Может, это жид Берко завел нас сюда по ошибке.

Во всяком случае, лозищане подумали, что видят перед собой американского дворянина или начальника. Но мистер Борк скоро сошел по витой лесенке сверху, куда он успел отвести Анну, и подвел лозищан к кровати совсем рядом с этим важным барином.

— Вот эта кровать,— сказал он,— стоит вам два доллара в неделю.

— А что я тебе скажу, мистер Борк,— зашептал ему осторожно Дыма.— Хорошо ли, смотри, это у нас выйдет?

— Ну,— обиженно ответил Борк,— что же еще нужно за два доллара в неделю? Вы, может, думаете — это с одного? Нет, это с обоих. За обед особо...

— Бог с тобой,— ответил Дыма все-таки шепотом,— если уже ты не можешь уступить подешевле. А только вот этому господину не покажется ли неприятно? Все-таки мы люди простого звания...

Борк в ответ только свистнул и сказал, с нескрываемым пренебрежением посмотрев на американского дворянина:

— Фью-ю! На этот счет вы себе можете быть вполне спокойны. Это совсем не та история, что вы думаете. Здесь свобода: все равные, кто за себя платит деньги. И знаете, что я вам еще скажу? Вот вы простые люди, а я вас больше почитаю... потому что я вижу: вы в вашем месте были хозяева. Это же видно сразу. А этого шарлатана я, может быть, и держать не стал бы, если бы за него не платили от Тамани-холла. Ну, что мне за дело! У «босса» денег много, каждую неделю я свое получаю аккуратно.

Дыма ловил на лету все, что замечал в новом месте, и потому, обдумав не совсем понятные слова Борка, покосился на лежавшего господина и сказал:

— Я, мистер Борк, так понимаю твои слова, что это не барин, а бездельник, вроде того, какие и у нас бывают на ярмарках. И шляпа на нем, и белая рубашка, и галстук... а глядишь, уже кто-нибудь кошелька и не досчитался...

Борк усмехнулся.

— Ну, вы-таки умеете попадать пальцем в небо,— сказал он, поглаживая свою бородку.— Нет, насчет кошелька так вы можете не бояться. Это не его ремесло. Я только говорю, что всякий человек должен искать солидного и честного дела. А кто продает свой голос... пусть это будет даже настоящий голос... Но кто продает его Тамани-холлу за деньги, того я не считаю солидным человеком.

И, вздохнув, он прибавил:

— У меня было здесь солидное заведение. Ну, что делать! Заведение пошло прахом, осталась квартира до срока. Приходится как-нибудь колотиться со всякою дрянью.

Дыма не совсем понимал, как можно продать свой голос, хотя бы и настоящий, и кому он нужен, но так как ему было обидно, что раз он уже попал пальцем в небо,— то он сделал вид, будто все понял, и сказал уже громко:

— А когда так, то и хорошо. Клади, Матвей, узел сюда. Что, в самом деле! Ведь и наши деньги не щербаты. А здесь, притом же, черт их бей, свобода!

И он сел на свою кровать против американского гостя, вдобавок еще расставивши ноги. Матвей боялся, что американец все-таки обидится. Но он оказался парень простой и покладливый. Услыхав, что разговор идет о Тамани-холле,— он отложил газету, сел на своей постели, приветливо улыбнулся, и некоторое время оба они сидели с Дымой и пялили друг на друга глаза.

— Good day (здравствуйте)! — первый сказал американец и хлопнул Дыму по колену.

Дыма хлопнул его с своей стороны и, очень мало подумавши, ответил:

— Yes (да).

— Tammany-holl,— сказал опять американец, любезно улыбаясь,— вэри-уэлл!

— Вэри-уэлл,— кивнул головой Дыма.— Это значит очень хорошо... Эх ты, барин! Ты вот научи меня, как это продать этому черту Тамани-холлу свой голос, чтобы за это человека кормили и поили даром.

— Well! — ответил американец, захочотав.

— Yes,— засмеялся и Дыма.

Ирландец опять подмигнул, похлопал Дыму по колену, и они, видно, сразу стали приятели.

А Матвей подивился на Дыму («вот ведь какой дар у этого человека», — подумал он), но сам сел на постели, грустно понурив голову, и думал:

«Вот человек и в Америке... что же теперь будем делать?»

Правду сказать, — все не понравилось Матвею в этой Америке. Дыме тоже не понравилось, и он был очень сердит, когда они шли с пристани по улицам. Но Матвей знал, что Дыма — человек легкого характера: сегодня ему кто-нибудь не по душе, а завтра первый приятель. Вот и теперь он уже крутит ус, придумывает слова и посматривает на американца веселым оком. А Матвею было очень грустно.

Да, вог и Америка! Еще вчера ночью она лежала перед ним, как какое-нибудь облако, и он не знал, что-то явится, когда это облако расступится... Но все ждал чего-то чудесного и хорошего... «Правду сказать, — думал он, — на этом свете человек думает так, а выходит иначе, и если бы человек знал, как выйдет, то, может, век бы свековал в Лозицах, с родной бедою». Вот и облако расступилось, вот и Америка, а сестры нет, и той Америки нет, о которой думалось так много над тихою Лозовою речкой и на море, пока корабль плыл, колыхаясь на волнах, и океан пел свою смутную песню, и облака неслись по ветру в высоком небе то из Америки в Европу, то из Европы в Америку... А на душе пробегали такие же смутные мысли о том, что было там, на далекой родине, и что будет впереди за океаном, где придется искать нового счастья...

Ищи его теперь, этого счастья, в этом пекле, где люди летят куда-то, как бешеные, по земле и под землей и даже, — прости им, господи, — по воздуху... где все кажется не таким, как наше, где не различишь человека, какого он может быть звания, где не схватишь ни слова в человеческой речи, где за крещеным человеком бегают мальчишки так, как в нашей стороне бегали бы разве за турком...

— Вот что, Дыма, — сказал Матвей, отрываясь от своих горьких мыслей. — Надо поскорее писать письмо Осипу. Он здесь уже свой человек, — пусть же советует, как съскать сестру, если она еще не приехала к нему, и что нам теперь делать с собою.

— Да уж не иначе! — ответил Дыма.

Попросили у Борка перо и чернил, устроились у окна

и написали. Писал письмо Дыма, а так как и у него руки не очень-то привыкли держать такую маленькую вещь, как перо,— то прописали очень долго.

Кончили писать, Дыма стал отирать пот со лба и вдруг остановился с разинутым ртом. Матвей тоже оглянулся,— и у него как-то приятно замерло сердце.

В комнате стояла старая барыня, в поношенной, но видно, что когда-то шелковой мантилье, в старой шляпке с желтыми цветами и с сумочкой на руке. Кроме того, на ленточке она держала небольшую белую собачку, которая поворачивалась во все стороны и нюхала воздух.

— Наша,— шепнул Дыма Матвею.

И действительно, барыня села у двери на стул, отышалась немного и сказала с первого слова:

— Проклятая сторона, проклятый город, проклятые люди. Ну, скажите, пожалуйста, зачем вы сюда приехали?

Наши очень обрадовались родной речи, кинулись к барыне и чуть не столкнулись головами, целуя у нее руку.

Барыне, видно, это понравилось. Она сидела на стуле, не отнимала руки и глядела на лозищан, жалостно кивая головой.

— Подольские или из Волыни?

— Из Лозищай, милостивая госпожа.

— Из Лозищай! Прекрасно! А куда же это бог несет?

— В Миннесоте есть наши.

— Миннесота! Знаю, знаю. Болото, лес, мошка, лесные пожары и, кажется, индейцы... Ай, люди, люди! И что вам только понадобилось в этой Америке? Жили бы в своих Лозищах...

«Оно, может, и правда»,— подумал Матвей. А Дыма ответил:

— Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше.

— Так... от этого-то рыба попадает в невод, а люди в Америку... Это очень глупо. А впрочем,— это не мое дело. А где же тут сам хозяин?.. Да, вот и Берко.

— Мистер Борк,— поправил еврей, входя в комнату.

— А, мистер Берко,— сказала барыня, и лозищане заметили, что она немного рассердилась.— Скажите, пожалуйста, я и забыла! А впрочем, ваша правда, ясновельможный мистер Борк! В этой проклятой стороне все мистеры, и уже не отключишь ни жида, ни хлопа, ни барина... Вот и эти (она указала на лозищан) снимут завтра свои свитки, забудут бога и тоже потребуют, чтобы их звать господами...

— Это их дело, всякий здесь устраивает себя, как хочет,— сказал Борк хладнокровно и прибавил, поглаживая бородку: — Чем могу вам служить?

— Твоя правда,— сказала барыня.— В этой Америке никто не должен думать о своем ближнем... Всякий знает только себя, а другие,— хоть пропади в этой жизни и в будущей... Ну, так вот я зачем пришла: мне сказали, что у тебя тут есть наша девушка. Или, простите, мистер Борк... Не угодно ли вам позвать сюда молодую приезжую лэди из наших крестьянок.

— Ну, а зачем вам мисс Эни?..

— Ты, кажется, сам начинаешь вмешиваться в чужие дела, мистер Берко.

Борк пожал плечами, и через минуту сверху спустилась Анна. Старая барыня надела стеклышики на нос и оглядела девушку с ног до головы. Лозицане тоже взглянули на нее, и им показалось, что барыня должна быть довольна и испуганным лицом Анны, и глазами, в которых дрожали слезы, и крепкой фигурой, и тем, как она мотала рукой конец передника.

— Умеешь ты убирать комнаты? — спросила барыня.

— Умею,— ответила Анна...

— И готовить кушанье?

— Готовила.

— И вымыть белье, и выгладить рубашку, и заправить лампу, потому что я терпеть не могу здешнего газа, и поставить самовар или сварить кофе...

— Так, ваша милость. Умею.

— Ты приехала сюда работать?

— Как же иначе? — ответила девушка совсем тихо.

— Почем я знаю, как иначе?.. Может быть, ты считывала выйти замуж за президента... Только он, моя милая, уже женат...

Две крупные слезы скатились с длинных ресниц Анны и упали на белый передник, который она все переминала в руках. Матвею стало очень жаль девушку, и он сказал:

— Она, ваша милость, сирота...

А Дыма прибавил:

— У нее на корабле умер отец.

— Умнее ничего не мог придумать! — сказала барыня спокойно.— Много здесь дураков прилетало, как мухи на мед... Ну, вот что. Мне некогда. Если ты приехала, чтобы работать, то я возьму тебя с завтрашнего дня. Вот этот мистер Борк укажет тебе мой дом... А эти — тебе родня?

— Нет, милостивая пани, но...

И Матвей видел, как испуганный глаз девушки остановился на нем, будто со страхом и вопросом.

— Никаких «но». Я не позволю тебе водить ни любовников, ни там двоюродных братьев. Вперед тебе говорю: я строгая. Из-за того и беру тебя, что не желаю иметь американскую барыню в кухарках. Шведки тоже уже испорчены... Слышишь? Ну, а пока до свидания. А паспорт есть?

— Есть...

— То-то.

Барыня встала, гордо кивнула головой и вышла из помещения.

— Наша! — сказал Матвей и глубоко вздохнул.

— А это, видно, и здесь так же, как и всюду на свете, — прибавил к этому Дыма.

Анна тихонько вытерла слезу концом передника.

Еврей посмотрел на девушку с сожалением и сказал:

— Ну, что вы плачете, мисс Эни! Я вам прямо скажу: это дело не пойдет, и плакать нечего...

— А почему же не пойдет? — возразил Матвей задумчиво, хотя и ему самому казалось, что не стоило ехать в Америку, чтобы попасть к такой строгой барыне. Можно бы, кажется, и пожалеть сироту... А, впрочем, в сердце лозищанина примешивалось к этому чувству другое. «*Наша* барыня, наша, — говорил он себе, — даром что строгая, зато своя и не даст девушке ни пропасть, ни избавиться...»

— Ну, почему же не идет? — повторил он свой вопрос.

— Га! Если мисс Эни приехала сюда искать своего счастья, то я скажу, что его надо искать в другом месте. Я эту барыню знаю: она любит очень дешево платить и чтобы ей очень много работали.

— Эх, мистер Борк, а кто же этого не любит на свете? — сказал Матвей со вздохом.

— Ну, это правда, а только здесь всякий любит также получить больше, а работать меньше. А, может быть, вы думаете иначе, тогда мистер Борк будет молчать... это уже не мое дело...

Борк поднялся с своего места и вскоре ушел, одевшись, на улицу.

Он был еврей серьезный, но неудачливый, и дела его шли неважно. Помещение было занято редко, и буфет в соседней комнате работал мало. Дочь его прежде ходила

на фабрику, а сын учился в коллегии; но фабрика стала, сам мистер Борк менял уже третье занятие и теперь подумывал о четвертом. Кроме того, в Америке действительно не очень любят вмешиваться в чужие дела, поэтому мистер Борк не сказал лозицанам ничего больше, кроме того, что покамест мисс Эни может помогать его дочери по хозяйству, и он ничего не возьмет с нее за помещение.

— Подождем еще, малютка,— сказал Матвей.— Может быть, придет скоро ответ от Лозинского, тогда, пожалуй, и тебе найдется работа в деревне.

— Дай-то боже,— ответили в один голос девушка и Дыма.

— А теперь,— прибавил Матвей,— напиши, Дыма, адрес.

Но тут открылось вдруг такое обстоятельство, что у лозицан кровь застыла в жилах. Дело в том, что бумажка с адресом хранилась у Матвея в кисете с табаком. Да как-то, видно, терлась и терлась, пока карандаш на ней совсем не истерся. Первое слово видно, что губерния Миннесота, а дальше ни шагу. Осмотрели этот клочок сперва Матвей, потом Дыма, потом позвали девушку, дочь Борка, не догадается ли она, потом вмешался новый знакомый Дымы — ирландец, но ничего и он не вычитал на этой бумажке.

— Что же это теперь будет? — сказал Матвей печально.

Дыма посмотрел на него с великою укоризной и постучал себя пальцем по лбу. Матвей понял, что Дыма не хочет ругать его при людях, а только показывает знаком, что он думает о голове Матвея. В другое время Матвей бы, может, и сам ответил, но теперь чувствовал, что все они трое по его вине идут на дно — и смолчал.

— Эх,— сказал Дыма и заскреб в голове. Заскреб в голове и Матвей, но ирландец, человек, видно, решительный, схватил конверт, написал на нем: «Миннесота, фермерскому работнику из России, Иосифу Лозинскому», и сказал:

— All right.

— Он говорит: олл райт,— обрадовался Дыма,— значит, дойдет.

— Дай-то бог,— это будет чудо господне,— сказал Матвей.

А ирландец вдобавок предложил Дыме сходить вместе, отнести письмо. И когда они выходили,— ирландец, надев

свой котелок и взяв в руки тросточку, а Дыма в своей свитке и бараньей шапке,— то Матвею показались они оба какими-то странными, точно он их видел во сне. Особенно, когда, у порога, ирландец, как-то изогнувшись, предложил Дыме выйти первому. Дыма, изогнувшись совершенно так же, предлагал пройти вперед ирландцу. Потом они двинулись оба вместе, и тут уже Дыма постарался все-таки пройти первым. Ирландец крепко хлопнул его по плечу и захохотал... Дыма посмотрел на Матвея с гордым видом.

IX

Дело это было в пятницу, уже после обеда.

Матвей ждал Дыму, но Дыма с ирландцем долго не шел. Матвей сел у окна, глядя, как по улице снуют народ, ползут огромные, как дома, фургоны, летят поезда. На небе, поднявшись над крышами, показалась звезда. Роза, девушка, дочь Борка, покрыла стол в соседней комнате белою скатертью и поставила на нем свечи в чистых подсвечниках и два хлеба прикрыла белыми полотенцами.

От этих приготовлений у Матвея что-то вдруг прилило к сердцу. Он вспомнил, что сегодня пятница и что таким образом на его родине евреи приготовляются всегда встречать субботу.

Действительно, скоро мистер Борк вернулся из синагоги, важный, молчаливый и, как показалось Матвею, очень печальный. Он стоял над столом, покачивался и жужжал свои молитвы с закрытыми глазами, между тем как в окно рвался шум и грохот улицы, а из третьей комнаты доносился смех молодого Джона, вернувшегося из своей «коллегии» и рассказывавшего сестре и Аннушке что-то веселое. На зов отца девушка вбежала в комнату и подала ему на руки воду. Он мыл руки, потом концы пальцев, брызгал воду и бормотал слова молитвы, а девушка, видно, вспомнила что-то смешное и глядела на брата, который подошел к столу и ждал, покачиваясь на каблуках. Затем они уселись. Молодые люди продолжали весело разговаривать. Один Борк что-то порой шептал про себя, тихонько разрезывая луковицу или белый хлеб, и часто и глубоко вздыхал...

Лозищанин глядел на еврея и вспоминал родину. Вот и шабаш здесь не такой, думал он про себя, и родное местечко встало в памяти, как живое. Вот засияла ве-

черная звезда над потемневшим лесом, и городок стихает, даже перестали дымиться трубы в еврейских домах. Вот засветилась огнями синагога, зажглись желтые свечи в окнах лачуг, евреи степенно идут по домам, смолкает на улицах говор и топот шагов, а зато в каждое окно можно видеть, как хозяин дома благословляет стол, окруженный семьей. В это время двери всюду открыты, чтобы Авраам, Иаков и другие патриархи могли ходить невидимо от одной лачуги к другой и заходить в дома. Знакомые евреи говорили Матвею, что в это время ангелы ходят вместе с Авраамом, а черти, как вороны, носятся над крышами, не смея приблизиться к порогу.

Разумеется, в своем месте Матвей смеялся над этими пустяками: очень нужно Аврааму, которого чтут также и христиане, заходить в грязные лачуги некрещеных жидов! Но теперь ему стало очень обидно за Борка и за то, что даже евреи, такой крепкий в своей вере народ, забыли здесь свой обычай... Молодые люди наскоро отужинали и убежали опять в другую комнату, а Борк остался один. И у Матвея защемило сердце при виде одинокой и грустной фигуры еврея.

Мистер Борк, как бы угадывая мысли Лозинского, вышел из-за стола и сел с ним рядом.

— Вижу я, господин Борк,— обратился к нему Матвей,— что твои дети не очень почитают праздник?

Борк задумчиво погладил бороду и сказал:

— А! хотите вы знать, что я вам скажу? Америка — такая сторона, такая сторона... Она перемалывает людей, как хорошая мельница.

— Что, видно, и здесь не очень-то любят вашу веру? — сказал Матвей наставительно.

— Э, вы совсем не то говорите, что надо. Если бы вы захотели, я повел бы вас в нашу синагогу... Ну, вы увидели бы, какая у нас хорошая синагога. А наш раввин здесь в таком почете, как и всякий священник. И когда его вызывали на суд, то он сидел с их епископом, и они говорили друг с другом... Ну, совсем так, как двоюродные братья.

— А вы бросаете все-таки свою веру? — сказал лоцишанин. Ему не совсем-то верилось, чтобы и здесь можно было приравнять раввина к священнику.

— Ну, это очень трудно вам объяснить. Видите что: Америка такая хитрая сторона, она не трогает ничьей веры. Боже сохрани! Она берет себе человека. Ну, а

когда человек станет другой, то и вера у него станет уже другая. Не понимаете? Ну, хорошо. Я вам буду объяснять еще иначе. Моя дочь кончила школу, а в это время мои дела пошли очень плохо. Ну, мне говорят, пусть ваша дочь идет на фабрику. Плата будет десять долларов в неделю, а когда выучится — тогда плата будет и двенадцать долларов в неделю. Ну, что вы скажете на это? Ведь это двадцать четыре рубля в неделю,— хорошие деньги?

— Очень хорошие деньги,— подтвердил Матвей.— Такие деньги у нас платят работнику от Покрова до Пасхи... Правда, на хозяйственных харчах.

— Ну, вот. Она пошла на фабрику к мистеру Бэркли. А мистер Бэркли говорит: «Хорошо. Евреи работают не хуже других. Я могу принимать еврейку. Но только я не могу, чтобы у меня станок стоял пустой в субботу. Это не платит. Ты должна ходить и в субботу...»

— Ну?

— Ну... Я сказал: лучше я буду помирать или выйду на улицу продавать спички, а не позволю дочери ломать святую субботу. Хорошо. А в это время приехал к нам мистер Мозес. Вы не знаете, разумеется, кто такой мистер Мозес. Это один себе еврей из Луисвилля. У него ум, как огонь, а язык, как молот. Ну, он перековал всех своих евреев в Луисвилле и поехал в другие города. Собрались мы в синагогу слушать этого Мозеса, а он и говорит: «Слышал я, что многие из вас терпят нужду и умирают, а не хотят ломать субботу». Мы говорим: ну, это и правда. Суббота святая! Суббота царица, свет Израиля! А он говорит: «Вы похожи на человека, который собрался ехать, сел на осла задом наперед и держится за хвост. Вы смотрите назад, а не вперед, и потому все попадете в яму. Но если бы вы хорошо смотрели назад, то и тогда вы бы могли догадаться, куда вам ехать. Потому что, когда сынов Израиля стали избивать язычники, а было это дело при Маккавеях, то ваши отцы погибали, как овцы, потому что не брали меч в субботу. Ну, что тогда сказал господь? Господь сказал: «Если так будет дальше, то из-за субботы всех моих людей перережут, как стадо, и некому будет праздновать самую субботу... пусть уж лучше берут меч в субботу, чтобы у меня остались мои люди». Теперь подумайте сами: если можно брать меч, чтобы убивать людей в субботу, то отчего не взять в руки станок, чтобы вам не помирать с голоду в чужой стороне?» А! Я же вам говорю: это очень умный человек, этот Мозес.

Матвей посмотрел на еврея, у которого странно сверкали глаза, и сказал:

— Видно, и тебя начинает тянуть туда же. А я тебя считал почтенным человеком.

— Ну,— ответил Борк, вздохнув,— мы, старики, все-таки держимся, а молодежь... А! что тут толковать! Вот и моя дочь пришла ко мне и говорит: «Как хочешь, отец, незачем нам пропадать. Я пойду на фабрику в субботу. Пусть наша суббота будет в воскресение».

Борк взял свою бороду обеими руками, посмотрел на Матвея долгим взглядом и сказал:

— Вы еще не знаете, какая это сторона Америка! Вот вы посмотрите сами, как это вам понравится. Мистер Мозес сделал из своей синагоги настоящую конгрегешен, как у американцев. И знаете, что он делает? Он венчает христиан с еврейками, а евреек с христианами!

— Послушай, Берко,— сказал Матвей, начиная сердиться.— Ты, кажется, шутишь надо мной.

Но Борк смотрел на него все так же серьезно, и по его печальным глазам Матвей понял, что он не шутит.

— Да,— сказал он, вздохнув.— Вот вы увидите сами. Вы еще молодой человек,— прибавил он загадочно.— Ну, а наши молодые люди уже все реформаторы или, еще хуже — эпикурейцы... Джон, Джон! А поди сюда на минуту! — крикнул он сыну.

Смех и разговоры в соседней комнате стихли, и молодой Джон вышел, играя своей цепочкой. Роза с любопытством выглянула из-за дверей.

— Послушай, Джон,— сказал ему Борк.— Вот господин Лозинский осуждает вас, зачем вы не исполняете веру отцов.

Джон, которому, видно, не очень любопытно было разговаривать об этом,— поиграл цепочкой и сказал:

— А разве господин тоже еврей?

Матвей выпрямился. У себя он бы, может быть, поучил этого молокососа за такое обидное слово, но теперь он только ответил:

— Я христианин, и деды, и отцы были христиане — греко-униаты...

— Олл райт! — сказал молодой Джон.— А как вы мне скажете: можно ли спастись еврею?

Матвей подумал и сказал, немного смущившись:

— По совести тебе, молодой человек, скажу: не думаю...

— Уэлл! Так зачем вы хотите, чтобы я держался такой веры, в которой моя душа должна пропасть...

И видя, что Матвей долго не собирается ответить, — он повернулся и опять ушел к сестре.

— А ну! Что вы скажете? — спросил Борк, глядя на лозищанина острым взглядом. — Вот как они тут умеют рассуждать. Поверите вы мне, на каждое ваше слово он вам сейчас вот так ответит, что у вас язык присохнет. По-нашему, лучшая вера та, в которой человек родился, — вера отцов и дедов. Так мы думаем, глупые старики.

— Разумеется, — ответил Матвей, обрадовавшись.

— Ну, а знаете, что он вам скажет на это?

— Ну?

— Ну, он говорит так: значит, будет на свете много самых лучших вер, потому что ваши деды верили по-вашему... Так? Ага! А наши деды — по-нашему. Ну, что же дальше? А дальше будет вот что: лучшая вера такая, какую человек выберет по своей мысли... Вот как они говорят, молодые люди...

— А чтобы им провалиться, — сказал Матвей. — Да это значит, сколько голов, столько вер.

— А что вы думаете, — тут их разве мало? Тут что ни улица, то своя конгрегашен. Вот нарочно подите в воскресенье в Бруклин, так даже можете не мало посмеяться...

— Посмеяться? В церкви?

— Ну... они и молятся, и смеются, и говорят о своих делах, и опять молятся... Я вам говорю, — Америка такая сторона... Вот увидите сами...

И долго еще эти два человека: старый еврей и молодой лозищанин, сидели вечером и говорили о том, как верят в Америке. А в соседней комнате молодые люди все болтали и смеялись, а за стеной глухо гремел огромный город...

X

Город гремел, а Лозинский, помолившись богу и рано ложась на ночь, закрывал уши, чтобы не слышать этого страшного, тяжелого грохота. Он старался забыть о нем и думать о том, что будет, когда они разыщут Осипа и устроятся с ним в деревне...

В той самой деревне, которая померещилась им еще

в Лозищах, из-за которой Лозищи показались им бедны и скучны, из-за которой они проехали моря и земли, которая виднелась им из-за дали океана, в туманных мечтах, как земля обетованная, как вторая родина, которая должна быть такая же дорогая, как и старая родина.

Такая же, как и старая, только гораздо лучше...

Такие же люди, только добree. Такие же мужики, в таких же свитках, только мужики похожи на старых лозищан, еще не забывших о своих старых правах, а свитки тоньше и чище, только дети здоровее и все обучены в школе, только земли больше, и земля родит не по-нашему; только лошади крепче и сытее, только плуги берут шире и глубже, только коровы дают по ведру на удой...

И такие же села, только побольше, да улицы шире и чище, да избы просторнее и светлее, и крыты не соломою, а тесом... а, может быть, и соломой,— только новой и свежей... И должно быть, около каждого дома — садик, а на краю села у выезда корчма с приветливым американским жидом, где по вечерам гудит бас, тонко подпевает скрипка и слышен в весенние теплые вечера топот и песни до ранней зари,— как было когда-то в старые годы в Лозищах. А посередине села школа, а недалеко от школы — церковка, может быть даже униатская.

А в селе такие же девушки и молодицы, как вот эта Анна, только одеты чище и лица у них не такие запуганные, как у Анны, и глаза смеются, а не плачут.

Все такое же, только лучше. И, конечно, такие же начальники в селе, и такой же писарь, только и писарь больше боится бога и высшего начальства. Потому что и господа в этих местах должны быть добree и всё только думают и смотрят, чтобы простому человеку жилось в деревне как можно лучше...

С этими мыслями лозищанин засыпал, стараясь не слышать, что кругом стоит шум, глухой, непрерывный, глубокий. Как ветер по лесу, пронесся опять под окнами ночной поезд, и окна тихо прозвенели и смолкли,— а Лозинскому казалось, что это опять гудит океан за бортом парохода... И когда он прижимался к подушке, то опять что-то стучало, ворочалось, громыхало под ухом... Это потому, что над землей и в земле стучали без отдыха машины, вертелись чугунные колеса, бежали канаты...

И вот ночью Матвею приснилось, что кто-то стоит над ним, огромный, без лица, и не похожий совсем на человека,

стоит и кричит, совсем так, как еще недавно кричал в его ушах океан под ночным ветром:

— Глупые люди, бедные, темные люди. Нет такой деревни на свете, и нет таких мужиков, и господ таких нету, и нет таких писарей. И поле здесь не такое, и не то здесь в поле рождается, и люди иные. И нет уже тебя, Матвея Оглобли, и нет твоего приятеля Дымы, и нету Анны!.. Прежний Матвей уже умер, и умер Дыма, и умерла ваша прежняя вера, и сердце у вас станет другое, и иная душа, и чужая молитва... И если бы встала твоя мать из заброшенной могилы, на тихом кладбище под лозищанским лесом,— то здесь в детях твоих она не признала бы своих внуков... Потому что они не будут похожи ни на отца, ни на тебя, ни на дедов и прадедов... А будут американцы...

Матвей проснулся весь в поту и сел на своей постели.

Он протирал глаза и не мог вспомнить, где он. В комнате было темно, но кто-то ходил, кто-то топал, кто-то сопел и кто-то стоял над самой его постелью.

Потом вдруг комната осветилась, потому что кто-то зажег газовый рожок спичкой. Комната осветилась, а Матвей все еще сидел и ничего не понимал, и говорил с испугом:

— Всякое дыхание да хвалит господа.

— Ну, что еще?.. Чего ты это испугался? — сказал кто-то знакомым голосом. Голос был как будто Дымы, но что-то еще было в нем странное и чужое. И человек, стоявший над кроватью Матвея, был тоже Дыма, но как будто какой-то другой, на Дыму не похожий... Матвей думал, что это все еще сон, и стал протирать кулаками глаза... Когда он открыл их, в комнате было еще светлее, и по ней двигались люди, только что вернувшиеся целой гурьбой... Странные люди, чужие люди, люди непонятные и незнакомые, люди неизвестного звания, люди с такими лицами, по которым нельзя было определить, добрые они или злые, нравятся ли они человеку, или не нравятся... Они нахлынули в комнату, точно толпа странных при видений, которые человеку видятся порой только во сне, и тихо, без шума занимали свои места. И Матвей долго еще не мог сообразить — кто это, откуда, что здесь делают и что он сам делает среди них...

А потом вспомнил: да ведь это американцы. Те, что летают по воздуху, что смеются в церквях, что женятся у раввинов на еврейках, что выбирают себе веру, кто как

захочет... Те, что берут себе всего человека, и тогда у него тоже меняется вера...

А тот, что стоял над самой постелью,— неужели это Дыма? Да, это и был Дыма, но только опять такой, как будто он приснился во сне. Он очень торопился раздеваться и отворачивал лицо. Однако от Матвея не ускользнуло, что этот Дыма скидывает с себя совсем не свою одежду. На нем не было ни белой свитки, ни красного пояса, купленного перед самым отъездом в местечке, ни высоких смазных сапог, ни широких шаровар из коричневой коломянки. Вместо всего этого, он теперь старался поскорее вылезти из какой-то немецкой кургозой куртки, не закрывавшей даже как следует того, что должно быть закрыто хорошей одеждой; шею его подпирал высокий воротник крахмальной рубашки, а ноги нельзя было освободить из узких штанов... Когда же он, наконец, разделялся и полез к Матвею под одно одеяло,— то Матвей даже отшатнулся, до такой степени самое лицо Дымы стало чужое. Волосы его были коротко острижены и торчали вихром на лбу, усы подстрижены над губой, а от бороды осталась только узкая американская лопатка.

— Побойся ты бога, Дыма! — сказал Матвей, взглянувшись.— На кого ты похож, и что это ты над собою сделал?

Дыма, по-видимому, чувствовал себя так, как человек, который вышел на базар, забывши надеть штаны... Он как-то все отворачивал лицо, закрывал рот рукою и говорил каким-то виноватым и слащавым голосом:

— Да вот, как меня видишь... Зашел с проклятым ирландцем в цирульню, чтобы меня немного остригли. Поверь совести, Матвей, я хотел чуть-чуть... А вышло вот что. Посадили меня в кресло. Кресло, знаешь, такое хорошее, а только как сел в него — и кончено. Ноги сейчас схватило чем-то и кинуло кверху, голову отвалило назад: ей-богу, как баран на бойне... Вижу, делает немец не так, как надо, а двинуться не могу. Посмотрел потом на себя в зеркало,— не я, да и только. «Что ты, говорю, собачий сын, над человеком сделал?» А они оба довольны, хлопают меня по плечу: «Уэлл-уэлл, вери уэлл!»

Дыма тихонько полез под одеяло, стараясь улечься на краю постели. Однако, когда в комнате погасили огонь и последний из американцев улегся, он сначала все еще лицемерно вздохнул, потом поправился на своем месте и, наконец, сказал:

— Ну, а все-таки, признайся, Матвей... Все-таки этак человек как-то больше похож на американца.

— А зачем тебе непременно походить на американца? — сказал Матвей холодно...

— И знаешь, — живо продолжал Дыма, не слушая, — когда я, вдобавок, выменял у еврея на базаре эту одежду... с небольшой, правда, придачей... то уже на улице подошел ко мне какой-то господин и заговорил по-английски...

— Ах, Иван, Иван, — сказал Матвей с такой горечью, что Дыму что-то как бы укололо и он заворочался на месте. — Правду, видно, говорит этот Берко: ты уже скоро забудешь и свою веру...

— Иные люди, — заворчал Дыма, отворачиваясь, — так упрямы, как лозицанский вол... Им лучше, чтобы в них кидали на улице корками...

— Вот ты уже ругаешься Лозицами, в которых родился, — сказал Матвей и замолчал. Дыма еще поворчал, поворочался, повздыхал и затем заговорил тихо, немного заискивающим голосом:

— Охота тебе слушать Берка. Вот он облаял этого ирландца... И совсем напрасно... Знаешь, я-таки разузнал, что это такое Тамани-холл и как продают свой голос... Дело совсем простое... Видишь ли... Они тут себе выбирают голову, судей и прочих там чиновников... Одни подают голоса за одних, другие за других... Ну, понимаешь, всякому хочется попасть повыше... Вот они и платят... Только, говорит, подай голос за меня... Кто соберет десять голосов, кто двадцать... Ты, Матвей, слушаешь меня?

И, хотя Матвей ничего не ответил, он продолжал:

— И, по-моему, это-таки справедливо: хочешь себе, — дай же и людям... И знаешь еще что?..

Тут Дыма понизил голос до шепота и повернулся совсем к Матвею:

— Они говорят — этот ирландец и еврей, у которого я покупал одежду, — что и нам бы можно... Конечно, голоса не совсем настоящие, но тоже чего-нибудь стоят...

Матвей хотел ответить что-то очень впечатительное, но в это время с одной из кроватей послышался сердитый окрик какого-то американца. Дыма разобрал только одно слово *devil*, но и из него понял, что их обоих посылают к дьяволу за то, что они мешают спать... Он скорчился и юркнул под одеяло.

А наверху, в маленькой комнатке, спали вместе Роза

и Анна. Когда им пришлось ложиться, Роза посмотрела на Аннушку и спросила:

— Вам, может быть, неприятно будет спать на одной постели с еврейкой?

Анна покраснела и сконфузилась.

Она собиралась молиться, вынула свой образок и только что хотела приладить его где-нибудь в уголку, как слова Розы напомнили ей, что она — в еврейском помещении. Она стояла в нерешительности, с образом в руках. Роза все смотрела на нее и потом сказала:

— Вы хотите молиться и... я вам мешаю... Я сейчас уйду?

Анна сконфузилась. Она действительно думала, хорошо ли молиться богу в присутствии еврейки, и позволит ли еврейка молиться по-христиански в своей комнате.

— Нет,— ответила она.— Только... я думала,— не будет ли вам неприятно?

— Молитесь,— просто сказала Роза и стала оправлять постель.

Аннушка прочитала свои молитвы, и обе девушки стали раздеваться. Потом Роза завернула газовый рожок, и свет погас. Через некоторое время в темноте обозначилось окно, а за окном высоко над продолжающим гудеть огромным городом стояла небольшая, бледная луна.

— О чём вы думаете? — спросила Роза лежащую с ней рядом Анну.

— Я думаю... видят ли теперь этот самый месяц в нашем городишке.

— Нет, не видят,— ответила Роза,— у вас теперь день... А какой ваш город?

— Наш город — Дубно...

— Дубно? — живо подхватила Роза.— Мы тоже жили в Дубне... А зачем вы оттуда уехали?

— Братья уехали раньше... Я жила с отцом и младшим братом. А после этого брата... услали.

— Что он сделал?

— Он... вы не думайте... Он не вор и не что-нибудь... только...

Она замялась. Она не хотела сказать, что, когда разбивали еврейские дома, он разбивал тоже, и после стали драться с войсками... Она думала, что лучше не говорить этого, и замолчала.

— Что ж,— сказала Роза,— со всяким может случиться несчастье. Мы жили спокойно и тоже не думали

ехать так далеко. А потом... вы, может быть, знаете... когда стали громить евреев... Ну, что людям нужно? У нас все разбили, и... моя мать...

Голос Розы задрожал.

— Она была слабая... и они ее очень испугали... и она умерла...

Анна, подумала, что она хорошо сделала, не сказав Розе всего о брате... У нее как-то странно сжалось сердце... И еще долго она лежала молча, и ей казались странными и этот глухо гудящий город, и люди, и то, что она лежит на одной постели с еврейкой, и то, что она молилась в еврейской комнате, и что эта еврейка кажется ей совсем не такой, какой представлялась бы там, на родине...

Начинало уже светать, когда, наконец, обе девушки заснули крепким молодым сном. А в это самое время Матвей, приподнявшись на своей постели после легкого забытья, все старался припомнить, где он и что с ним случилось. Ненадолго притихший было город начинал просыпаться за стеной. Быстрее ворочались колеса на какой-то близкой станции, и уже пронесся поезд, шумя, как ветер в бору перед дождливым утром. Рядом на другой подушке лежала голова Дымы, но Матвей с трудом узнавал своего приятеля. Лицо Дымы было красно, потому что его сильно подпирал тугой воротник не снятой на ночь крахмальной сорочки. Прежние его казацкие длинные усы были подстрижены, и один еще держался кверху тонко нафабренным кончиком. Вообще,— при виде этого почти чужого лица Матвею стало как-то обидно... Ему казалось, что Дыма становится чужим...

XI

И действительно, с следующего утра стало заметно, что у Ивана Дымы начал портиться характер...

Когда он проснулся, то прежде всего, наскоро одевшись, подошел к зеркалу и стал опять закручивать усы кверху, что делало его совсем не похожим на прежнего Дыму. Потом, едва поздоровавшись с Матвеем, подошел к ирландцу Падди и стал разговаривать с ним, видимо, гордясь его знакомством и как будто даже щеголяя перед Матвеем своими развязными манерами. Матвею казалось, однако, что остальные американцы глядят на Дыму с улыбкой.

Компания жильцов мистера Борка была довольно разнообразна. Были тут и немцы, и итальянец, и два-три англичанина, и несколько ирландцев. Часть этих людей казалась Матвею солидными и серьезными. Они вставали утром, умывались в ванной комнате, мало разговаривали, пили в соседней комнате кофе, который подавали им Роза с Анной, и потом уходили на работу или на поиски работы. Но была тут и куча людей, которые оставались на целые дни, курили, жевали табак и страшно плевались, стараясь попадать в камин, иной раз через головы соседей. У них не было определенных часов работы. Иной раз они уходили куда-то гурьбой и тогда звали с собой и Дыму... В разговорах часто слышалось слово Тамани-холл... Дела этой компании, по-видимому, шли в это время хорошо. Возвращаясь из своих похождений в помещение Борка, они часто громко хохотали... И Дима хохотал с ними, что Матвею казалось очень противно.

Так прошло еще два-три дня.

Характер Дымы портился все больше. Правда, он сделал большие, даже удивительные успехи в языке. За две недели на море и за несколько дней у Борка он уже говорил целые фразы, мог спросить дорогу, мог поторговаться в лавке и при помощи рук и разных движений разговаривал с Падди так, что тот его понимал и передавал другим его слова... Это, конечно, не заслуживало еще осуждения. Но Матвея огорчало и даже сердило, что Дима не просто говорит, а как будто гримасничает и передразнивает кого-то: вытягивает нижнюю губу, жует, шипит, картавит... «Взял бы хоть пример с жида,— думал про него Матвей.— Он тоже говорит с американцами на их языке, но — как степенный и серьезный человек». А Дима уже и «мистер Борк» произносит как-то особенно картаово,— мист'ер Бег'к. А иной раз, забывшись, он уже и Матвея начинал называть мистер Мэтью... В таких случаях Матвей смотрел на него долгим укоризненным взглядом — и он немного смущался.

В один день, после того, как Падди долго говорил что-то Диме, указывая глазами на Матвея,— они оба ушли куда-то, вероятно к еврею-лавочнику, который в трудных случаях служил им переводчиком. Вернувшись, Дима подошел к Матвею и сказал:

— Послушай, Матвей, что я тебе скажу. Сидим мы здесь оба без дела и только тратим кровные деньги. А между тем, можно бы действительно кое-что заработать.

Матвей поднял глаза и, ничего не говоря, ожидал, что Дима скажет дальше.

— Вот видишь ли... Тут эти вот шестеро — агенты, или, по-нашему, факторы Тамани-холла... Это, видишь ли, такая, скажем, себе компания... Скоро выборы. И они хотят выбрать в мэры над городом своего человека. И всех тогда назначат тоже своих... Ну, и тогда уже делают в городе, что хотят...

— Ну, так что же? — спросил Матвей.

— Так вот они собирают голоса. Они говорят, что, если бы оба наши голоса, то они и дали бы больше, чем за один мой... А нам что это стоит? Нужно только тут в одном месте записаться и не говорить, что мы недавно приехали. А потом... Ну, они все сделают и укажут...

Матвей вспомнил, что раз уже Дыма заговаривал об этом; вспомнил также и серьезное лицо Борка, и презрительное выражение его печальных глаз, когда он говорил о занятиях Падди. Из всего этого в душе Матвея сложилось решение, а в своих решениях он был упрям, как бык. Поэтому он отказался наотрез.

— Но отчего же ты не хочешь? Скажи! — спросил Дыма с неудовольствием.

— Не хочу, — упрямо ответил Матвей. — Голос дан человеку не для того, чтобы его продавать.

— Э, глупости! — сказал Дыма. — Ведь не останешься же ты после этого без голоса. Даже не охрипнешь. Если люди покупают, так отчего не продать? Все-таки не убудет в кошеле, а прибудет...

— А помнишь, как когда-то эконом уговаривал нас, чтобы мы подписали его бумагу... Что бы тогда вышло?

— Гм... да... — пробормотал Дыма, немного растерявшись. — Потеряли бы всю чиншевую землю! Так ведь там было что терять. А тут... что нам за дело? Дают, черт их бей, деньги и кончено.

Матвей не нашел, что ответить, но он был человек упрямый.

— Не пойду, — сказал он, — и если хочешь меня послушать, то и тебе не советую. Не связывайся ты с этим лодырем.

И Матвей без церемонии ткнул пальцем по направлению к Падди, который внимательно следил за разговором и, увидя, что Матвей указывает на него, весело закивал головой. Дыма, конечно, тоже не послушался.

— Ну что ж, — сказал он, — когда ты такой, то заработаю один. Все-таки хоть что-нибудь...

И в тот же день он сообщил, что его уже записали...

Письма все не было, а дни шли за днями. Матвей больше сидел дома, ожидая, когда, наконец, он попадет в американскую деревню, а Дыма часто уходил и, возвращаясь, рассказывал Матвею что-нибудь новое.

— Сегодня Падди сводил меня на кулачную драку,— сказал он однажды.— Ты, Матвей, и представить себе не можешь, как этот народ любит драться. Как только двое заспорят, то остальные станут в круг,— кто с трубкой, кто с сигарой, кто с жвачкой, и смотрят. А те сейчас куртки долой, засучат рукава, завертят-заверят руками и — хлоп! Кто половчее, глядишь, и засветил другому фонарь... И притом больше всего любят бить по лицу, в нос, или, если уж не удастся — в ухо. А в темя или под сердце — боже упаси! Но дерутся, заметь, не сердито и, как только один полетит пятками кверху, так его сейчас поднимут, обмоют лицо и опять сядут вместе за игру или там за кружки, как будто бы ничего и не случилось. И начнут говорить, кто как ударил и как бы можно ударить еще лучше.

— Ну, это правда,— подтвердил Борк, слышавший рассказ Дымы.— Во всей Америке бокс очень любят! И если еще, вдобавок, выищутся какие-нибудь необыкновенные силачи, то ездят из города в город и тузят друг друга на людях за хорошие деньги. И знаете что: в это время за ними ездят газетчики и все записывают. И даже посылают телеграммы: «В два часа 15 минут 4 секунды Джон подбил Джеку правый глаз вот таким способом, а через полминуты Джек свалил Джона с ног так-то». И тогда в разных городах люди сидят в ресторанах, а им читают известия. И они спорят: как бы можно ударить Джона или Джека еще лучше... И что вы думаете: проигрывают на этом большие деньги!

— Лодыри! — сказал на это Матвей...

В один день Дыма пришел под вечер и сказал, что сегодня они-таки выбрали нового мэра и именно того, кого хотелось Тамани-холлу.

— Жарко было, о вэлл! — сказал он хвастливо.— А все-таки наша взяла... И знаешь: Падди мне говорит, что много помогли наши «ненастоящие голоса».

В этот день Падди и его компания были особенно веселы и шумны. Они ходили по кабачкам, много пили и угождали Дыму. Дыма вернулся с ними красный, говорил громко, держался особенно развязно. Матвей сидел на

своей постели, около газового рожка, и, пристроив небольшой столик, читал библию, стараясь не обращать внимания на поведение Дымы.

Однако через несколько минут Дыма подошел к нему и, положив ему руку на плечо, наклонился к его лицу так близко, что от него запахло даже вином.

— Слушай, Матвей,— сказал он каким-то заискивающим голосом.— Вот видишь, что я тебе хочу сказать. Они... хотели бы угостить тебя.

— Спасибо, я не хочу,— ответил Матвей, не отрываясь от книги.

— И видишь, что еще... Пожалуйста, не прими там как-нибудь... того... в дурную сторону. У всякого народа свой обычай, и в чужой монастырь, как говорится, не ходят со своим уставом.

— К чему ты это ведешь? — спросил Матвей строго.

— А к тому, что этот Падди хочет с тобой драться...

Матвей даже разинул рот от удивления, и два приятеля с полминуты молча глядели друг на друга. Потом Дыма отвел глаза и сказал:

— Когда уже у них здесь такой обычай...

— Послушай, Дыма,— сказал Матвей серьезно.— Почему ты думаешь, что их обычай непременно хорош? А по-моему, у них много таких обычаев, которых лучше не перенимать крещеному человеку. Это говорю тебе я, Матвей Лозинский, для твоей пользы. Вот ты уже переменил себе лицо, а потом застыдишься и своей веры. И когда придешь на тот свет, то и родная мать не узнает, что ты был лозищанин.

— Э! — ответил Дыма с неудовольствием.— Где Крым, где Рим, а где панская корчма. С какой стати ты приплел сюда мою покойницу мать? Мне говорят: скажи, я и сказал. А ты как себе хочешь.

— Ну, так я и говорю: скажи ты своим приятелям, пусть не просят своего бога, чтобы я стал с ними драться...

— Ну, вот видишь,— обрадовался Дыма.— Я им как раз говорил, что ты у нас самый сильный человек не только в Лозищах, но и во всем уезде. А они говорят: ты не знаешь правильного боя.

Дыма отошел к ирландцам, а Матвей опять обратился к старой библии и погрузился в чтение.

Он стал читать, шевеля губами, о том, как двое молодых людей пришли в Содом к Лоту и как жители города захотели взять их к себе. Потом он поднял голову и на-

чал думать. Он думал о том, что вот они с Дымой как раз такие молодые люди в этом городе. Только у Дымы сразу стал портиться характер, и он сам пошел к жителям города...

Пока он размышлял таким образом, кто-то вдруг погасил рожок, около которого он сидел. Матвей оглянулся. За ним, недалеко, сидел мистер Падди, ирландец, приятель Дымы, и невинно улыбался.

Матвей достал спичку, зажег рожок и опять принялся за книгу. Однако догадавшись, что Падди на этом не кончит,— он тотчас оглянулся. Падди стоял сзади и уже вытянул рот, чтобы дунуть на огонь из-за плеча Матвея.

Матвей не очень сильно двинул локтем, и Падди упал на постель.

— All right (хорошо),— сказал он, подымаясь и скидая куртку.

— Very well (отлично),— сказали его товарищи, отодвигая стулья и подходя к тому месту.

— Ал райт,— повторил за другими и Дыма как-то радостно.— Теперь выходи, Матвей, на середину и, главное, защищай лицо. Он будет бить по носу и в губы. Я знаю его манеру...

Но Матвей, как ни в чем не бывало, сел опять и раскрыл свою книгу.

Ирландцы были озадачены. Однако, так как у них на все есть свои правила, то вскоре Падди стал подходить к Матвею, приседая и вертя кулаками, точно мельницей.

«Ну, делать нечего,— подумал Матвей,— если уж ты сам этого хочешь».

И не успел еще Падди изловчиться, как уже сильный лозищанин встал во весь рост, как медведь на охотника, поднял над головой Падди обе руки, потом сгреб его за густые, хотя и не длинные волосы, нагнулся и, зажав голову коленями, несколько раз шлепнул очень громко по мягкому месту.

Все это случилось так быстро, что никто не успел и оглянуться. А когда Падди поднялся, озираясь кругом, точно новорожденный младенец, который не знает, что с ним было до этой минуты,— то все невольно покатились со смеху.

На несколько минут большая комната мистера Борка оглашалась только хохотом на разные лады и разными голосами. Даже длинный американец, с сухим лицом и рыжей бородой в виде лопатки, человек в очень потертом

клетчатом костюме, на высохшем и морщинистом лице которого никогда не видно было даже подобия улыбки, теперь делал какие-то невероятные гримасы, как будто хватил нечаянно уксусу, и из его горла вылетало что-то такое, как будто он сильно заикался. А один безусый юноша, недавно занявший последнюю кровать у мистера Борка, кинулся на свою постель и хохотал звонко, неудержимо, лягая в воздухе ногами, как будто боялся, что иначе смех задушит его насмерть. На этот шум из других комнат прибежали сначала Роза, а потом и Анна. Роза видела только, как Падди оглядывался по комнате, и все-таки упала на стул у двери, свесив руки и закинув голову от смеха. А Анна уже ничего не видела, но все-таки смеялась, зараженная общим хохотом и глядя на сухопарого американца, который все еще икал и как будто давился.

Дыма тоже смеялся и сначала очень гордился своим приятелем.

— А, что! Я говорил вам,— сказал он, поворачиваясь к смеющимся американцам и забывая даже перевести свои слова.— Га! Вот как дерутся у нас, в Лозицах.

Но после, когда смех постепенно утих и все принялись горячо обсуждать случившееся, лицо Дымы стало омрачаться, и через некоторое время он сказал так, что Матвей расслышал ясно его слова:

— Хорошо, нечего сказать: драться, точно медведь у берлоги... Это стыд перед образованными людьми...

— Ничего,— ответил Матвей спокойно, опять, как ни в чем не бывало, принимаясь за библию,— хоть по-медвежьи, а здорово. В другой раз твой Падди будет знать...

Ирландцы пошумели еще некоторое время, потом расступились, выпустив Падди, который опять вышел вперед и пошел на Матвея, скжав плечи, втянув в них голову, опустивши руки и изгибаясь, как змея. Матвей стоял, глядя с некоторым удивлением на его странные ужимки, и уже опять было приготовившись повторить прежний урок, как вдруг ирландец присел; руки Матвея напрасно скользнули в воздухе, ноги как будто сами поднялись, и он полетел через постель на спину.

Кровать затрещала, и огромный лозицанин свалился на пол.

— All right,— одобрительно раздалось в куче ирландцев, а Падди, довольный, стал надевать свою куртку. Но в это время Матвей тяжело поднялся из-за кровати.

Его нельзя было узнать: всегда кроткие глаза его

теперь глядели дико, волосы торчали дыбом, зубы скрипели, и он озирался, что бы ему взять в руку.

Ирландцы взяли Падди в середину и сомкнулись тревожно, как стадо при виде медведя. Все они глядели на этого огромного человека, ожидая чего-то страшного, тем более, что Дыма тоже стоял перепуганный и бледный...

Трудно сказать, что было бы дальше, но в эту минуту Анна перебежала через комнату и схватила Матвея за руку.

— Для бога,— сказала она только.— О, для бога!..

Матвей поглядел на нее сначала мутным, непонимающим взглядом, но через несколько секунд тяжело перевел дух. Потом отвернулся и сел к окну.

Ирландцы успокоились. Падди хотел даже подойти к Матвею и протянул руку; но Дыма остановил его, и они оставили Матвея в покое.

А за окном весь мир представлялся сплошною тьмой, усеянной светлыми окнами. Окна большие и окна маленькие, окна светились внизу, и окна стояли где-то высоко в небе, окна яркие и веселые, окна чуть видные и будто прижмуренные. Окна вспыхивали и угасали, наконец, ряды окон пролетали мимо, и в них мелькали, проносились и исчезали чьи-то фигуры, чьи-то головы, чьи-то едва видные лица...

XIII

Поздним вечером Дыма осторожно улегся в постель рядом с Матвеем, который лежал, заложив руки за голову, и о чем-то думал, уставивши глаза и сдвинувши брови. Все уже спали, когда Дыма, собравшись с духом, сказал:

— И чего бы, кажется, сердиться на приятеля... Разве я тут виноват... Если уже какой-нибудь поджарый Падди может повалить самого сильного человека во всех Лозицах... Га! Это значит, такая уже в этой стороне во всем образованность... Тут сердиться нечего, ничего этим не поможешь, а видно надо как-нибудь и самим ухитряться... Индейский удар! Это у них, видишь ли, называется индейским ударом...

Матвей поднялся на постели, повернул лицо к Дыме и спросил:

— А ты, Дыма Лозинский, знал вперед, что они мне приготовили эту индейскую штуку?..

— А... разве я уже все понимаю по-английски,— отвечал Дыма уклончиво. И затем, обрадовавшись, что Матвей говорит спокойно, он продолжал уже смелее: — Вот, знаешь что,— сходим завтра к этому цирульнику. Приведи ты и себя, как это здесь говорится, в порядок, и кончено. Ей-богу, правда! — прибавил он сладким голосом и уже собираясь заснуть.

Но вдруг он с испугом привскочил на кровати. Матвей тоже сидел. При свете с улицы было видно, что лицо его бледно, волосы стоят дыбом, глаза горят, а рука приподнята кверху.

— Слушай ты, Дыма, что тебе скажет Матвей Лозинский. Пусть гром разобьет твоих приятелей, вместе с этим мерзавцем Таманиголлом, или как там его зовут! Пусть гром разобьет этот проклятый город и выбранного вами какого-то мэра. Пусть гром разобьет и эту их медную свободу, там на острове... И пусть их возьмут все черти вместе с теми, кто продает им свою душу...

— Тише, пожалуйста, Матвей,— пробовал остановить его Дыма.— Люди спят, и здесь не любят, когда кто кричит ночью...

Но Матвей не остановился, пока не кончил. А в это время, действительно, и ирландцы повскакали с кроватей, кто-то зажег огонь и все, проснувшись, смотрели на рассвирепевшего лозищанина.

— Смотрите, не смотрите, а это правда,— сказал он, повернувшись к ним и грозя кулаком, и затем опять повалился на постель.

Американцы стали тревожно разговаривать между собой и потом, потребовав Дыму, спрашивали у него, в своем ли разуме его приятель и не грозит ли им ночью от него какая-нибудь опасность. Но Дыма их успокоил: теперь Матвей будет спать и никому ничего не сделает. Он человек добрый, только не знает образованности, и теперь его дня два не надо трогать... Тогда американцы тихо разошлись по своим постелям, оглядываясь на Матвея. Погасили огни, и в комнате мистера Борка водворилась тишина. Только огни с улицы светили смутно и неясно, так что нельзя было видеть, кто спит и кто не спит в помещении мистера Борка.

Матвей Лозинский долго лежал в темноте с открытыми глазами и забылся сном уже перед утром, в тот серый час, когда заснули совсем даже улицы огромного города. Но его сон был мучителен и тревожен: он привык уважать себя и не мог забыть, что с ним сделал негодяй Падди. И как только он начинал засыпать,— ему снилось, что он стоит, неспособный двинуть ни рукой, ни ногой, а к нему, приседая, подгибая колени и извиваясь, как змея, подходит кто-то,— не то Падди, не то какой-то курчавый негр, не то Джон. И он не может ничего сделать, и летит куда-то среди грохота и шума, и перед глазами его мелькает испуганное лицо Анны.

Потом вдруг все стихло, и он увидел еврейскую свадьбу: мистер Мозес из Луисвилля, еврей очень неприятного вида, венчает Анну с молодым Джоном. Джон с торжествующим видом топчет ногой рюмку, как это делается на еврейской свадьбе, а кругом, надрываясь, все в поту, с вытаращенными глазами, ирландцы гудят и пищат на скрипцах, и на флейтах, и на пузатых контрабасах... А невдалеке, задумчивый и недоумевающий, стоит Берко и говорит:

— Ну, что вы на это скажете?.. И как вы это можете допустить?..

Матвей заскрежетал во сне зубами, так что Дыма проснулся и отодвинулся от него со страхом...

— Гей-гей! — закричал Матвей во сне... — А где же тут христиане? Разве не видите, что жиды захватили христианскую овечку!..

Дыма отодвинулся еще дальше, слушая бормотание Матвея,— но тот уже смолк, а сон шел своим чередом... Бегут христиане со всех сторон, с улиц и базаров, из шинков и от возов с хлебом. Бегут христиане с криком и шумом, с камнями, и дреколием... Быстро запираются двери домов и лавочек, звякают стекла, слышны отчаянные крики женщин и детей, летят из окон еврейские бебехи и всякая рухлясть, пух из перин кроет улицы, точно снегом...

Потом и это затихло, и в глубоком сне к Матвею подошел кто-то и стал говорить голосом важным и поченным что-то такое, от чего у Матвея на лице даже сквозь сон пропустило выражение крайнего удивления и даже растерянности.

И на этом он проснулся... Ирландцы спешно пили

в соседней комнате утренний кофе и куда-то торопливо собирались. Дыма держался в стороне и не глядел на Матвея, а Матвей все старался вспомнить, что это ему говорил кто-то во сне, тер себе лоб и никак не мог припомнить ни одного слова. Потом, когда почти все разошлись и квартира Борка опустела,— он вдруг поднялся наверх, в комнату девушек.

Там он застал Джона. В последние дни молодой человек нередко заходил туда, просиживал по получасу и более и что-то оживленно рассказывал Анне. На этот раз, поднимаясь по лестнице, Матвей опять услышал голос молодого человека.

— Ну, вот видите,— говорил он,— так-то здесь живут, в новом свете, что? Разве плохо?

Увидя Матвея, он скоро попрощался и выбежал, чтобы поспеть к поезду, а Матвей остался. Лицо его было немного бледно, глаза глядели печально, и Анна потупилась, ожидая, что он скажет. Обе девушки посмотрели на него как-то застенчиво, как будто невольно вспоминали об индейском ударе и боялись, что Лозинский догадается об этом. Он тяжело присел на постель, посмотрел на Анну немного растерянным взглядом и сказал:

— Хочешь ли ты, сирота, послушать, что тебе скажет Матвей Лозинский?

— Говорите, пожалуйста. Я вас считаю за родного,— тихо ответила девушка, которая старалась показать Матвею, что она не перестала уважать его после вчерашнего случая.

Матвей мучительно задумался и сказал:

— Мало хорошего в этой стороне, малютка. Поверь ты мне,— мало хорошего... Содом и Гоморра.

Роза невольно улыбнулась, но он говорил так печально, что у Анны навернулись на глаза слезы. Она подумала, что, по рассказам Джона, в Америке не так уж плохо, если только человек сумеет устроиться. Но она не возражала и сказала тихо:

— Что же теперь делать?

— А! Что делать! Если бы можно, надел бы я котомку на плечи, взял бы в руки палку, и пошли бы мы с тобой назад, в свою сторону, хотя бы Христовым именем... Лучше бы я стал стучаться в окна на своей стороне, лучше стал бы водить слепых, лучше издох бы где-нибудь на своей дороге... На дороге или в поле... на своей стороне... Но теперь этого нельзя, потому что...

Он потер себе лоб и сказал:

— Потому что море... А письма от Осипа не будет... И сидеть здесь, сложа руки... ничего не высидим... Так вот, что я скажу тебе, сирота. Отведу я тебя к той барыне... к нашей... А сам посмотрю, на что здесь могут пригодиться здоровые руки... И если... если я здесь не пропаду, то жди меня... Я никогда еще не лгал в своей жизни и... если не пропаду, то приду за тобою...

— Нехорошо вы придумали! — горячо сказала на это молодая еврейка.— Мы эту барыню знаем... Она всегда старается нанимать приезжих.

— Бог наградит ее за это,— сказал Матвей сухо.

— Но это потому...— сбиваясь, сказала Роза,— что она платит очень мало...

— С голоду не уморит...

— И заставляет очень много работать.

— Бог любит труд...

Матвей посмотрел на Розу высокомерным и презрительным взглядом. Молодая еврейка хорошо знала этот взгляд христиан. Ей казалось, что она начала дружиться с Анной и даже питала симпатию к этому задумчивому волынцу, с голубыми глазами. Но теперь она вспыхнула и сказала:

— Делайте, как себе хотите...— И она вышла из комнаты...

— Наше худое лучше здешнего хорошего,— сказал Матвей поучительно, обращаясь к Анне.— Собери свои вещи. Мы пойдем сегодня.

Анна вздохнула, однако покорно стала собираться. Матвею не понравилось, что, уходя из помещения мистера Борка, она крепко поцеловалась с еврейкой, точно с сестрой.

XV

В этот день наши опять шли по улицам Нью-Йорка, с узлами, как и в день приезда. Только в этот раз с ними не было Дымы, который давно расстался с своей белой свитой, держался с ирландцами и даже плохо знал, что затеваю земляки. Зато Матвей и Анна остались точь-в-точь, как были: на нем была та же белая свита со шнурами, на ней — беленький платочек. Молодой Джон тоже считал очень глупым то, что надумал Матвей. Но, как американец, он не позволял себе мешаться в чужие

дела и только посвистывал от досады, провожая Матвея и Анну.

Сначала шли пешком, потом пара лошадей потащила их в огромном вагоне, потом поднимались наверх и летели по воздуху. Из улицы в улицу — ехали долго. Пошли дома поменьше, попроще, улицы пошли прямые, широкие и тихие.

На одном углу наши вышли и пошли прямо. Если бы поменьше камня, да если бы кое-где из-под камня пробилась мурава, да если бы на середине улицы сидели ребята с задранными рубашонками, да если бы кое-где корова, да хоть один домишко, вросший окнами в землю и с провалившимся крышей,— то, думалось Матвею, улица походила бы, пожалуй, на нашу. Только здесь все дома были как один: все в три этажа, все с плоскими крышами, у всех одинаковые окна, одинаковые крылечки с одинаковым числом ступенек, одинаковые выступы и карнизы. Одним словом, вдоль улицы ряды домов стояли, как родные братья-близнецы,— и только черный номер на матовом стекле, над дверью, отличал их один от другого.

Джон посмотрел в свою записную книжку, потом разыскал номер и прижал пуговку у двери. В квартире что-то затрещало. Дверь отворилась, и наши вошли в переднюю.

Старая барыня, ждавшая мужа, сама отперла дверь.

Она, как оказалось, мыла полы. Очки у нее были вздернуты на лоб, на лице виднелся пот от усталости, и была она в одной рубашке и грязной юбке. Увидев пришедших, она оставила работу и вышла, чтобы переодеться.

— Смотри,— шепнул Матвей Анне,— вот как здесь живется нашим господам,— что уж говорить о простых людях!

— Ну,— ответил Джон,— вы еще не знаете этой стороны, мистер Мэтью.— И с этими словами он прошел в первую комнату, сел развязно на стул, а другой подвинул Анне.

Матвей строго посмотрел на невежливого молодого человека, и оба с Анной остались на ногах у порога. Матвей невзлюбил молодого еврея еще с тех пор, как говорил с ним о религии. А затем он не мог не заметить, что Джон частенько остается дома с сестрой, помогает девушкам по хозяйству и поглядывает на Анну. Нужно сказать, что девушка была хороша: голубые глаза, большие и ясные, кроткий взгляд, приветливая улыбка и нежное лицо, немножко, правда, побледневшее от дороги

и от неизвестности. Никто из бездельников, живших у Борка, ни разу не позволил себе с девушкой ни одной вольности. Однако, не считая Дымы, который вывертывался перед нею в своих диковинных пиджаках,— еще и Падди тоже старался всячески услужить ей, когда встречался в коридоре или на лестнице. А тут еще Джон и рассказы Борка о Мозесе... «Чего доброго,— думал Матвей,— ведь в этом Содоме никто не смотрит за такими делами. Вот Дима — давний и испытанный приятель, и у него характер совершенно изменился в какую-нибудь неделю. Что же может статься с молоденькой, неопытной девушкой, немного еще, может быть, и легкомысленной, как все дочери Евы... Дурного, положим, она не сделает... Но ведь здесь и хорошее тоже ни черта не стоит, а девушка молода, неопытна и испугана».

Вспомнив, вдобавок, свой сон, Матвей даже вздохнул и оглянулся. Слава богу,— вот квартира старой барыни, которая возьмет к себе Анну. Все нравилось Матвею в этой квартире. В первой комнате стоял стол, покрытый скатертью, в соседней виднелась кровать, под пологом, в углу большой знакомый образ Почаевской божией матери, которую в нашем Западном крае чтут одинаково католики и православные. За образом была воткнута восковая свеча и пучок сухих веток. Верба не верба, а все-таки был виден наш обычай, и у Матвея стало теплее на сердце... Поэтому он сначала заложил руку за пояс и очень гордо посмотрел на молодого еврея... Но тотчас же ему пришлось смиренно согнуться почти до земли, потому что в комнату вошла барыня, одетая, с очками на носу, с вязанием в руках. Вид у нее был спокойный и даже величавый, так что Матвею было даже странно вспомнить, что он видел ее сейчас за мытьем полов. Она села на стул, досчитала петли, передернула спицу и сказала почтительно ожидавшим Матвею и Анне, не кивнув даже Джону:

- Ну, что скажете?
- К вашей милости,— ответили оба в один голос.
- Тебя, кажется, зовут Анной?
- Анной, милостивая пани.
- А тебя... Матвеем?

Лицо Матвея расцвело приятной улыбкой.

- А что же тот... Третий?..

Матвей махнул рукой:

- А! Не знаю уж, что и сказать... Поступил на службу

или уж как... к какому-то здешнему... Тамани-голлу...

Барыня жалостно посмотрела на Матвея и покачала головой.

— Хороший господин, нечего сказать! Шайка мошенников!

— О, господи,— вздохнул Лозинский.

— В этой стороне все навыворот,— сказала опять барыня.— У нас таких молодцов сажают в тюрьмы, а здесь они выбирают висельников в городские мэры, которые облагают честных людей налогами.

Матвей вспомнил, что и Дыма выбирал мэра, и вздохнул еще глубже. У барыни спицы забегали быстрее,— было видно, что она начинает чего-то сердиться...

— Ну, что же ты мне скажешь, моя милая? — спросила она как-то едко, обращаясь к Анне.— Ты пришла наниматься или, может быть, тоже поищешь себе какого-нибудь Тамани-голла?..

— Она — девушка честная,— вступил Матвей.

— А! Видела я за двадцать лет много честных девушек, которые через год, а то и меньше пропадали в этой проклятой стране... Сначала человек как человек: тихая, скромная, послушная, боится бога, работает и уважает старших. А потом... Смотришь,— начала задирать нос, потом обвешается лентами и тряпками, как ворона в павлиньих перьях, потом прибавляй ей жалованье, потом ей нужен отдых два раза в неделю... А потом уже барыня служи ей, а она хочет сидеть сложа руки...

— Господи упаси! Где же это видано!..— сказал с ужасом Матвей.

Молодой Джон сидел на стуле, вытянув ноги и заложив руки в карманы, с видом человека, скучающего от этих разговоров.

— Ну, черт еще не так страшен, как его малютят,— сказал он.

Барыня замолкла, даже перестала вязать и устремила внимательный взгляд на Джона, который поднял беспечно голову к потолку, как будто разглядывая там что-то интересное. Несколько секунд стояло молчание, барыня и Матвей укоризненно смотрели на молодого еврея. Анна покраснела.

— А все отчего? — начала опять барыня спокойно.— Все оттого, что в этой стране нет никакого порядка. Здесь жид Берко — уже не Берко, а мистер Борк, а его сын Иоська превратился в ясновельможного Джона...

— Чистая правда,— сказал Матвей с убеждением.— Слышишь, Анна?

Девушка с некоторым удивлением посмотрела на Матвея и покраснела еще больше. Ей казалось, что хотя, конечно, Джон еврей и сидит немного дерзко, но что говорить так в глаза не следует...

— Да, все здесь перемешалось, как на Лысой горе,— продолжала барыня,— правду говорит один мой знакомый: этот новый свет как будто сорвался с петель и летит в преисподнюю...

— И это святая правда,— подтвердил Матвей.

— Я вижу, что ты человек разумный,— сказала барыня снисходительно,— и понимаешь это... То ли, сам скажи, у нас?.. Старый наш свет стоит себе спокойно... люди знают свое место... жид так жид, мужик так мужик, а барин так барин. Всякий смиленно понимает, кому что назначено от господа... Люди живут и славят бога...

— Ну, эту историю надо когда-нибудь кончить,— сказал Джон, поднимаясь.

— Ах, извините, мистер Джон,— усмехнулась барыня.— Ну, что ж, моя милая, надо и в самом деле кончать. Я возьму тебя, если сойдемся в цене... Только вперед предупреждаю, чтобы ты знала: я люблю все делать по-своему, как у нас, а не по-здешнему.

— Это и всего лучше,— вставил Матвей.

— Я за тебя отвечаю перед людьми и перед богом. По воскресеньям мы станем вместе ходить в храм божий, а на эти митинги и балы — ни ногой.

— Слушай барыню, Анна,— сказал Матвей.— Барыня тебя худому не научит... И уж она не обидит сироту.

— Пятнадцать долларов в месяц считается здесь совсем низкой платой,— сказал Джон, глядя на часы,— пятнадцать долларов, отдельная комната и свободный день в неделю.

Барыня, все так же спокойно продолжая вязание,— кинула на Джона уничтожающий взгляд и сказала Анне:

— Знаешь ты, что значит доллар?

— А это два рубля, милостивая госпожа,— ответил за Анну Матвей.

— Ты служила уже где-нибудь?

— Служила... горничной у госпожи Залесской.

— Сколько получала?

— Шесть рублей.

— Много что-то для нашей стороны,— вздохнула ба-

рынья.— В мое время такой платы не знали... А здесь, если хочешь получить тридцать,— то поди вот к нему. Он тебе даст тридцать рублей, отдельную комнату и сколько хочешь свободного времени... днем...

Краска опять залila лицо Анны, а барыня, посмотрев на нее поверх очков, прибавила, обращаясь к Матвею:

— Недалеко ходить: на этой же улице живет христианская девушка у еврея. И уже бог благословил их ребеночком.

— Вы же знаете, что они обвенчаны,— сказал Джон сердито.

— Обвенчаны, конечно!.. Кто же их это обвенчал, скажи, пожалуйста?

— Их обвенчали в мэрии, вы знаете.

— Ну, вот видите,— обратилась барыня к Матвею.— Они это называют венчанием...

Матвей с ненавистью взглянул на еврея и сказал:

— Девушка останется у вас.

И потом, посмотрев на Анну, он добавил мягким тоном:

— Она, сударыня, круглая сирота... Грех ее обидеть.

Барыня, перебирая спицы, кивнула головой. Между тем Джон, которому очень не понравилось все это, а также и обращение с ним Матвея, надел шляпу и пошел к двери, не говоря ни слова. Матвей увидел, что этот неприятный молодой человек готов уйти без него, и тоже засторопился. Наскоро попрощавшись с Анной и поцеловав у барыни руку, он кинулся к двери, но еще раз остановился.

— А что... извините... я спросил бы у вас?

— Что такое?

— Не найдется ли и мне у вас местечка? За дешевую плату... Может по двору, в огороде или около лошади? Угла бы я у вас где-нибудь в сарае не пролежал и цену бы взял пустую. А?.. Чтобы только не издохнуть...

— Нет, милый. Какие огороды! Какие лошади! Здесь сенаторы садятся за пять центов в общественный вагон рядом с последним оборванцем...

— Ну, прошу прощения... А где же?..

И, не окончив, Матвей торопливо выбежал на крыльце, чтобы не потерять из виду Джона.

XVI

На крыльце неприятного молодого человека уже не было, но кто-то мелькнул за углом. Матвей побежал туда,

хотя ему и показалось, что это в другой стороне. Повернув еще за угол, он догнал шедшего человека, но в этой стороне люди, как и дома, похожи друг на друга. На незнакомце был такой же котелок на голове, такая же тросточка в руках, такая же походка, как и у Джона, но лицо человека, повернувшегося к Матвею, было совсем чужое, удивленное и незнакомое. Матвей осталенел и провожал взглядом уходившего незнакомца; а на Матвея с обеих сторон улицы глядели занавешенные окна домов, похожих друг на друга, как две капли воды.

Матвей попробовал вернуться. Он еще не понимал хорошенько, что такое с ним случилось, но сердце у него застучало в груди, а потом начало как будто падать. Улица, на которой он стоял, была точь-в-точь такая, как и та, где был дом старой барыни. Только занавески в окнах были опущены на правой стороне, а тени от домов тянулись на левой. Он прошел квартал, постоял у другого угла, оглянулся, вернулся опять и начал тихо удаляться, все оглядываясь, точно его тянуло к месту или на ногах у него были пудовые гири.

А в это время молодого Джона зазрила совесть, что он так невежливо бросил Матвея. Он быстро вернулся, позвонил и довольно сердито попросил выслать Лозинского, потому что ему некогда ждать: время — деньги.

Старая барыня посмотрела на него с удивлением, Анна, которая успела уже снести свой узел в кухню и, поддернув подол юбки, принималась за мытье пола, покинутого барыней,— наскоро оправившись, тоже выбежала к Джону. Все трое стояли на крыльце и смотрели и направо, и налево. Никого не было видно, похожего на Матвея, на тихой улице.

— Ну, он, верно, пошел на станцию другой дорогой,— сказал Джон.

Анна недоверчиво покачала головой.

— Нет,— сказала она,— он не знает здесь никакой дороги.

Она посмотрела на улицу, на ряды однообразных домов, и на глазах у нее появились слезы.

— Ну, милая,— сказала барыня,— глядеть теперь нечего... Ничего не высмотришь... Да и не за тем я взяла тебя... Там пол стоит недомытый.

— Может быть... он вернется? — сказала Анна.

— Что же! Ты так и будешь стоять тут до вечера? — спросила барыня, уже немного раздражаясь.

— Он у меня один только близкий человек в этой стороне,— произнесла Анна тихо.

— Ну, и слава богу, что только один,— ответила барыня.— Для молодой девушки и одного слишком много.

Анна кинула последний взгляд на улицу. За углом мелькнула фигура Джона, расспрашивавшего какого-то прохожего. Потом и он исчез. Улица опустела. Анна вспомнила, что она не оставила себе даже адреса мистера Борка и что она теперь так же потеряна здесь, как и Матвей.

Вскоре дверь за нею захлопнулась, и дом старой барыни, недавно еще встревоженный, стоявший с открытую дверью и с людьми на крыльце, которые останавливали расспросами прохожих,— опять стал в ряд других, ничем не отличаясь от соседей; та же дверь с матовым стеклом и черный номер: 1235.

Между тем недалеко в переулке один из прохожих, которого расспрашивал Джон, наткнулся на странного человека, который шел, точно тащил на плечах невидимую тяжесть, и все озирался. Американец ласково взял его за рукав, подвел к углу и указал вдоль улицы:

— Тэрти-файф, тэрти-файф (тридцать пятый),— сказал он ласково, и после этого, вполне уверенный, что с таким точным указанием нельзя уже сбиться, побежал по своему спешному делу, а Матвей подумал, оглянулся и, подойдя к ближайшему дому, позвонил. Дверь отворила незнакомая женщина с лицом в морщинах и с черными буклями по бокам головы. Она что-то сердито спросила — и захлопнула дверь.

То же случилось в следующем доме, то же в третьем. На углу он подумал, что надо повернуть, и он повернулся, опять повернулся и, увидя фонтан, мимо которого, как ему казалось, они проходили час назад, повернулся еще раз. Перед ним вновь была такая же улица, только тени опять перебросились на правую сторону, а солнце прямо было в занавески на левой... Издали, точно где-то за горой, хранил поезд... Матвей остановился на середине улицы, как барка, которую сорвало с причала и несет куда-то по течению, и, без надежды найти жилье старой барыни, пошел туда, откуда слышался шум. А в это время по улице, через которую только что прошел лозицанин, опять побежал молодой Джон, совсем встревоженный и огорченный. № 1235 опять отворился, и опять на крыльце стояли две женщины с молодым человеком, советуясь и озираясь

кругом. У Анны на глазах стояли слезы, Джон сконфуженно пожимал плечами.

Поздно вечером, заплаканная и грустная, Анна кончила работу своего первого дня на службе. Работы было много, так как более двух недель уже барыня обходилась без прислуги. Вдобавок, в этот день у барыни обыкновенно вечером играли в карты жильцы ее и гости. Засиделись далеко за полночь, и Анна, усталая и печальная, ждала в соседней комнате, чтобы быть готовой на первый зов.

Расходясь, гости благодарили хозяйку за приятный вечер.

— А! Право, только у вас и почувствуешь себя иной раз точно на родине,— сказал один из гостей, целуя у хозяйки руку.— И как вы это все умеете устроить?

— О, она у меня истинная волшебница! — сказал с гордостью муж старой барыни, человек круглый, седой, с пробритой в середине бородкой и торчавшими по бокам седыми баками.— А заметили вы новую горничную?

— Как не заметить. Наверное, из наших стран. Такие хорошие, покорные глаза. О, наш народ еще не испорчен!

— Скажите лучше: не весь еще испорчен. Есть уже и у нас эти карикатуры на господ. Даже в деревню уже проникает пиджак, заменяя живописные костюмы простого народа.

— Да! А девушка, действительно, приятная; нет этого вызывающего нахальства, этого... как бы сказать... Ну, одним словом, приятно, когда видишь человека, занимающего свое место.

— Надолго ли только! — вздохнула барыня.— Попртится все это здесь необыкновенно скоро. И не знаешь, просто, откуда.

— В воздухе, в воздухе... вроде эпидемии,— сказал один из жильцов, весело засмеявшись... И, проходя в свою комнату, он благосклонно ушипнул Анну за подбородок...

А в бординг-гоузе мистера Борка в этот вечер долго стоял шум. Несмотря на то, что у Дымы испортился характер, ему теперь было очень совестно и жалко Матвея, и он чувствовал себя виноватым. Отправляясь на чужую сторону, они говорились жить или пропадать вместе. Голова — Дымы; сила, руки и ноги — Матвея. Теперь ноги одни ходили по свету в то время, как голова путалась с чужими людьми. Совесть у Дымы проснулась, Дыма кричал, Дыма проклинал Джона, себя и своих приятелей и даже толкнул Падди, когда тот сунулся с какой-то

шуткой. Падди обиделся и вызвал Дыму на единоборство. Дыма сначала послал его к черту; но Падди пустил ему немного крови из носу,— тогда он сам стал совать руками, куда попало... Чувствуя, однако, что и голове приходится плохо без сильной руки товарища, он схватил стул, стал кричать, что ему наплевать на все правила, и сильно уронил себя во мнении Падди... Ночью он вскакивал с постели и даже плакал.

Но это, конечно, не помогло. Приятель потонул в огромном городе, точно иголка на пыльном проезжем шляху...

XVII

Впоследствии, по причинам, которые мы изложим дальше, Матвей Лозинский из Лозицкой стал на несколько дней самым знаменитым человеком города Нью-Йорка, и каждый шаг его в эти дни был прослежен очень точно. Прежде всего человека в странной белой одежде видели идущим на 4 авеню¹, потом он долго шел пешком под настилкой воздушной дороги, к Бруклинскому мосту. Казалось, его тянуло туда, где люднее и гуще. На углу Бродвея и какого-то переулка он вошел в булочную и, указав на огромный кусок белого хлеба, протянул руку с деньгами на ладони. Он говорил что-то продавцу-немцу и даже, когда тот отдавал сдачу, старался схватить его за руку и тянулся к ней губами. Немец вырвал руки и занялся другими покупателями. Человек постоял, посмотрел на булочника грустными глазами, пытался еще говорить что-то и вышел на улицу.

Это был час выхода вечерних газет. На небольшой площадке, невдалеке от огромного здания газеты «Трайбун», странный человек зачерпнул воды у фонтана и пил ее с большой жадностью, не обращая внимания на то, что в грязном водоеме два маленьких оборванца плавали и ныряли за никелевыми и медными монетками, которые им на потеху кидали прохожие. Бесчисленное количество газетных мальчишек, ожидавших выхода номера и развлекавшихся пока чем попало, разделили свое внимание между этими водолазами и странно одетым человеком, которого они засыпали целой тучей звонких острот. В это

¹ Проспект (англ.).

время через площадку проходил газетный репортер-иллюстратор и наскоро набросал эту сцену в своей книжке. Без сомнения, если бы этот джентльмен мог провидеть будущее, он постарался бы сделать свой рисунок как можно точнее. Но, во-первых, он очень торопился, и ему пришлось поэтому заканчивать набросок с памяти, а во-вторых, он был введен в заблуждение присутствием нырявших мальчишек, которых причислил к семейству незнакомца. Наконец, он не знал, на что собственно может пригодиться его эскиз, так как странный незнакомец не мог ответить ничего на самые обыкновенные вопросы.

— Your nation? — спросил репортер, желая узнать, какой Матвей нации.

— Как мне найти мистера Борка? — ответил тот.

— Your name (ваше имя)?

— Он тут где-то... имеет помещение. Наш... могилевский жиц.

— How do you like this country? — Это значило, что репортер желал знать, как Матвею понравилась эта страна,— вопрос, который, по наблюдениям репортеров, обязаны понимать решительно все иностранцы...

Но незнакомец не ответил, только глядел на газетного джентльмена с такою грустью, что ему стало неловко. Он прекратил расспросы, ободрительно похлопал Матвея по плечу и сказал:

— Very well! Это очень хорошо для вас, что вы сюда приехали: Америка — лучшая страна в мире, Нью-Йорк — лучший город в Америке. Ваши милые дети станут здесь когда-нибудь образованными людьми. Я должен только заметить, что полиция не любит, чтобы детей купали в городских бассейнах.

Затем, с «талантом, отличающим карандаш этого джентльмена», он украсил на рисунке свитку лозищанина несколькими фантастическими узорами, из его волос, буйных, нестриженых и слипшихся, сделал одно целое — вместе с бараньей шапкой и, наконец, всю эту странную прическу, по внезапному и слишком торопливому вдохновению, перевязал тесьмой или лентой. Рост Матвея он прибавил еще на четверть аршина, а у его ног, в водоеме, поместил двух младенцев, напоминавших чертами предполагаемого родителя.

Все это он наскоро снабдил надписью: «Дикарь, купающий своих детей в водоеме на Бродвее», и затем, сунув книжку в карман и оставляя до будущего времени вопрос

о том, можно ли сделать что-либо полезное из такого фантастического сюжета,— он торопливо отправился в редакцию.

Как раз в эту минуту вышло вечернее прибавление, и все внимание площадки и прилегающих переулков обратилось к небольшому балкону, висевшему над улицей, на стене Tribune-building (дом газеты «Трибуна»). На этот балкончик выходили люди с кипами газет, брали у толпившихся внизу мальчишек, запрудивших весь переулок, их марки, а взамен кидали им кипы газет. Минут в двадцать все было кончено. Сотни мальчишек мчали во все стороны десятки тысяч номеров, и их звонкие крики разносились с этого места по огромному городу.

На площадке остался только лоziщанин, да два обрваница вылавливали в водоеме последние монеты. Вскоре туда же подошел еще высокий господин, в партикулярном платье, в серой большой шляпе, в виде шлема, и с короткою палкой в руке, вроде гетманской булавы, украшенной цветным шнурком и кистями. Это был полисмен Гопкинс, лицо, хорошо известное всему Нью-Йорку. Полисмен Гопкинс, как сообщалось в тех же газетных заметках, из которых я узнал эту часть моей достоверной истории, был прежде довольно искусным боксером, на которого ставились значительные пари. Однако в последние годы ему пришлось испытать несколько крупных превратностей, связанных с этой профессией, а одна из них сопровождалась даже раздроблением носовых хрящей, потребовавших серьезного лечения. Это побудило мистера Гопкинса к перемене рода занятий. Физические данные и любовь к сильным ощущениям решили его выбор, и он предложил свои услуги директору полиции в качестве полисмена. Само собою разумеется, что услуги были охотно приняты, так как времена наступали довольно бурные: участились стачки и митинги безработных («которыми,— как писала одна благомыслящая газета,— эта цветущая страна обязана коварной агитации завистливых иностранцев»), и все это открывало новое поле природным талантам мистера Гопкинса и его склонности к физическим упражнениям более или менее рискованного свойства. Увесистый «клуб» из ясеня или дуба дает, вдобавок, решительное преимущество полисмену перед любым боксером, и имя мистера Гопкинса опять стало часто мелькать в хронике газет. «Полисмен Гопкинс, известный неумеренным употреблением клоба»,— писали о нем рабочие газеты. Зато другие отмечали с восторгом, что

«клуб полисмена Гопкинса, как всегда, отбивал барабанную дробь на головах анархистов»...

Случай пожелал, чтобы дороги знаменитого полисмена и бедного лозищанина встретились два раза. В первый раз это произошло именно у описанного фонтана. Мистер Гопкинс шел мимо, как всегда, величаво и важно, играя на ходу своим клобом, и его внимательный взгляд остановился на странной фигуре неизвестного иностранца. «Не видя, однако, законных причин для какого бы то ни было личного воздействия», — так рассказывал впоследствии Гопкинс газетным интервьюерам, — он решил только подойти поближе для внимательного осмотра. Но тут незнакомец удивил его своим непонятным поведением: «Сняв с головы свой странный головной убор (по-видимому, из бараньего меха), он согнул стан таким образом, что голова его пришлась вровень с поясом Гопкинса, и, внезапно поймав одной рукой его руку, потянулся к ней губами с неизвестною целью. Гопкинс не может сказать наверное, что незнакомец хотел укусить его за руку, но не может и отрицать этого».

Вопрос остался невыясненным, так как в это мгновение над поверхностью водоема появились внезапно головы двух водолазов. Они нырнули при появлении Гопкинса и теперь опять вынырнули в надежде, что он уже прошел. Это было уже явное нарушение правил благочиния. Полисмен тотчас же взял обоих мальчишек за шивороты, поднял их высоко над землей и стал встрихивать, точно две мокрые тряпицы. Вид у него в это время был величавый и грозный, и как раз в эту же минуту через площадь пробегал прежний торопливый репортер. Он остановился, быстро набросал, около прежней фигуры лозищанина, фигуру мистера Гопкинса с двумя дикаренками в руках и прибавил надпись:

«Полисмен Гопкинс объясняет дикарю, что купание детей в городских водоемах не согласно с законами этой страны».

Затем, сунув книжку в карман, он ринулся со всех ног к вагону канатной дороги, чтобы поспеть на пожар. В его голове мелькал уже план целой заметки: «Известно, что наш город, величайший в мире, привлекает к себе пришельцев из отдаленнейших частей света. На днях мы имели случай наблюдать, как один из этих дикарей...»

Вагон канатной дороги умчал талантливого человека вместе с этим началом, а мистер Гопкинс поставил маль-

чишек на мостовую, дал им по легонькому шлепку, при одобрительном смехе проходящих, и затем повернулся к незнакомцу. Очень может быть, что мистеру Гопкинсу удалось бы лучше выяснить национальность незнакомца, а также и то, «как ему нравится эта страна»... Может быть даже Матвей в тот же вечер попал бы в объятия Дымы, который весь день бегал с Падди по городу,— если бы... в то время, пока Гопкинс возился с мальчишками, лозищанин не скрылся...

По всему поведению Гопкинса он понял, что это полицейский и даже, по-видимому, не из последних. А эта мысль тотчас же привела за собой другую: Матвей вспомнил, что его паспорт остался в квартире Борка... А так как он не знал, что в этой стране даже не понимают хорошенько, что такое паспорт,— то его подрало по спине. Сначала он попятился немного назад, потом еще, а потом,— как у нас говорится,— взял ноги за пояс и пошел, не оглядываясь, прочь. С тяжелой мыслью в голове, что вот он теперь, вдобавок ко всему, стал в этой стороне беспаспортным бродягой,— он смешался с густой толпой на Бродвее.

XVIII

Тут еще раз лозищанина приласкала надежда. Когда он шел по людной улице, кто-то тронул его за рукав тихо и ласково. Рядом с ним стоял негр и что-то говорил ему, указывая рукою на стул, который стоял тут же, на панели. Черное, лоснящееся лицо, красные губы, сверкающие белки и вьющиеся волосы негра показались Матвею как будто знакомыми. Он даже подумал,— не один ли это из тех бездельников, которые приставали к нему на улице в первый день приезда. Но что же ему нужно теперь? А может быть, он узнал Матвея, может быть, он знает Борка и Дыму, может быть, он видел, что они ищут его по всему городу, и предлагает подождать здесь, а сам пошлет кого-нибудь за приятелями Матвея?

Действительно, сажая Матвея на стул, негр сказал что-то своему мальчишке, и тот внезапно куда-то провалился. Очевидно, побежал за Дымой или Борком. Матвей радостно сел и кивнул негру головой. Лицо черного человека теперь ему очень понравилось: глаза грустные и ласковые, губы добрые. Правда, некрасив и черен, зато

приветлив и услужлив. Он тоже кивнул Матвею головой, присел у его ног и вздумал пока что почистить Матвею сапоги. Матвей сначала противился, а потом подумал, что всякие есть обычаи на свете, пожалуй, как бы негр не обиделся. И он согласился исполнить желание доброго человека, тем более что, действительно, сапоги совсем порыжели за дорогу. Негр все так же ласково стал тереть ноги Матвея щетками, мазал сапоги ваксой, плевал, дышал и опять тер. Минут через пять сапоги Матвея стали, как зеркало. Матвей кивнул головой и опять уселся на стул поудобнее, но негр взял его за рукав и показал большим пальцем на ладонь. Матвей понял, что негр просит «на водку», сошел со стула и полез в карман.

— И стоит,— сказал он громко.— Верно, что стоит. За такую услугу не знаю, чего бы человек не отдал.

И он вынул из кармана две монеты. Негр взял лишь одну.

— Бери еще,— сказал Матвей добродушно.

Негр покачал головой. «Вот ведь какой честный народ»,— подумал Матвей и опять хотел взгромоздиться на стул, но в это время какой-то господин сел раньше его, а прибежавший мальчишка принес негру кружку пива. Негр стал пить пиво, а мальчишка принялся ваксить сапоги новоприбывшего американца. Волосы у Матвея стали подыматься под шапкой.

— А Дыма, а Борк? — спросил он, обращаясь к старшему негру.

Тот повернулся, поглядел на Матвея, потом указал на его сапоги и сказал:

— Уэлл (хорошо).

— Уэлл,— вспомнил Матвей объяснение Дымы.— Это значит «очень хорошо». Что же тут хорошего? А, проклятый! Он говорит, что хорошо вычистил мои сапоги. Ему только этого и было нужно...

«Собака ты, черная собака,— подумал он с горечью.— Человек на тебя надеялся, как на друга, как на брата... как на родного отца! Ты мне казался небесным ангелом. А вместо всего — ты только вычистил мои сапоги...»

И бедный человек пошел дальше. Сапоги его блестели, как зеркало, но на душе стало еще темнее.

Так вышел он на берег залива. Круглая площадка, на ней — небольшой садик, над головами прохожих вьется по столбам дорога, по дороге пробежал поезд, изогнулся над самым заливом и побежал дальше берегом, скрывшись за углом серого дома и кинувши на воду клуб черного дыма. Матвей сел на скамью и стал смотреть на залив. Вода колыхалась, искрилась, сверкала. Невдалеке свистнул пароход и отбежал от берега, нагруженный народом. Глаза Матвея побежали невольно за ним. Пароходик бежал прямо к острову, на котором стояла знакомая медная женщина. Мимо острова в это самое время тихо проплыval гигантский корабль, такой же, как и тот, на котором приехали лозищане. Распущенный флаг плескался по ветру и, казалось, стлался у ног медной женщины, которая держала над ним свой факел... Матвей смотрел, как европейский корабль тихо расталкивает своею грудью волны, и на глаза его просились слезы... Как недавно еще он с такого же корабля глядел до самого рассвета на эту статую, пока на ней угасли огни и лучи солнца начинали золотить ее голову... А Анна тихо спала, склонясь на свой узел...

Невдалеке от этого места стоит круглое невысокое здание, вроде цирка. Теперь это здание уже заколочено, а прежде, еще недавно, здесь получали приют эмигранты из Европы, приезжавшие на эмигрантских пароходах. Если бы Матвей знал это, то, наверное, подошел бы поближе. А если бы подошел, то мог бы увидеть, как из ворот, веселая и нарядная, выходила его сестра Катерина, об руку с Осипом Лозинским. Осип одет, как господин, так же, как оделся Дыма, только на Осипе все уже облежалось и не торчит, как на корове седло. Они вышли и пошли берегом, направо, к пристаням, в надежде, что, может быть, Матвей и Дыма приехали на том эмигрантском корабле из Германии, который только что проплыл мимо «Свободы». А в это время Матвей поднялся и пошел налево, вдоль берега, за убежавшим поездом.

Часа в четыре странного человека видели опять у моста. Только что прошел мостовой поезд, локомотив делал поворот по кругу, с лестницы сходила целая толпа приехавших с той стороны американцев,— и они обратили внимание на странного человека, который, стоя в середине этого людского потока, кричал:

— Кто в бога верует, спасите!

Но, разумеется, никто его не понял. Если бы так крикнул кто теперь в большом американском городе, то, наверное, ему отозвался бы кто-нибудь из толпы, потому что в последние годы корабль за кораблем привозит множество наших: поляков, духоборов, евреев. Они расходятся отсюда по всему побережью, пробуют пахать землю в колониях, нанимаются в приказчики, работают на фабриках. Иным удается, иные богатеют, иные пристраиваются к земле, и тогда через несколько лет уже не узнаешь еврейских мальчиков, вырастающих в здоровых фермерских работников. Но многие также терпят неудачи; тогда, обедневшие и испуганные, они опять кидаются в города, цепляются за прежнюю жизнь. Кто разложит на тележке плохие ножки и замочки, кто торгует с рук разной мелочью, кто носит книжки с картинками Нью-Йорка, Ниагары, великой дороги, кто бегает на побегушках у своей братии и приезжих. Идет такой бедняга с дрянным товаром, порой со спичками, только бы прикрыть чем-нибудь свое нищенство, идет лохматый, оборванный и грязный, с потускневшими и грустными глазами, и по всему сразу узнаешь нашего еврея, только еще более несчастного на чужой стороне, где жизнь дороже, а удача встречает не всех.

Но тогда их было еще не так много, и на несчастие Матвея ему не встретилось ни одного, когда он стоял среди толпы и кричал, как человек, который тонет. Американцы останавливались, взглядывали с удивлением на странного человека и шли дальше... А когда опять к этому месту стал подходить полисмен, то Лозинский опять быстро пошел от него и скрылся на мосту...

За мостом он пошел все прямо по улицам Бруклина. Он ждал, что за рекой кончится этот проклятый город и начнутся поля, но ему пришлось идти часа три, пока, наконец, дома стали меньше и между ними, на больших расстояниях, потянулись деревья.

Лозинский вздохнул полной грудью и стал жадными глазами искать полей с желтыми хлебами или лугов с зеленою травой. Он рассчитал, что, по-нашему, теперь травы уже поспели для косьбы, а хлеба должны наливаться, и думал про себя:

«А! Подойду к первому, возьму кусу из рук, взмахну раз-другой, так тут уже и без языка поймут, с каким человеком имеют дело... Да и народ, работающий около земли, должен быть проще, а паспорта наверное не спросят

в деревне. Только когда, наконец, кончится этот проклятый город?..»

Теперь по бокам дороги пошли уже скромные коттеджи, в один и два этажа, на иных висели скромные вывески, как на наших лавках — по дверям и в окнах. Сады становились все чаще, дома все те же, мощеная дорога лежала прямо, точно разостланная на земле холстина, над которой с обеих сторон склонились зеленые деревья. Порой на дороге показывался вагон, как темная коробочка, мелькал в солнечных пятнах, вырастал и прокатывался мимо, и вдали появлялся другой... Порой казалось, что вот-вот сейчас все это кончится и откроется даль, с шоссейной дорогой, которая бежит по полям, с одним рядом телеграфных столбов, с одинокой почтовой тележкой и с морем спелых хлебов по сторонам, до самого горизонта. А там светлая речка, мостик, лужок — и приветливый деревенский народ на работе...

Но, вместо этого внезапно целая куча домов опять выступала из-за зелени, и Матвей опять попадал как будто в новый город; порой даже среди скромных коттеджей опять подымались гордые дома в шесть и семь этажей, а через несколько минут опять маленькие домики и такая же дорога, как будто этот город не может кончиться, как будто он занял уже весь свет...

И все здесь было незнакомо, все не наше. Кое-где в садах стояла странная зелень, что-то вилось по тычинкам, связанным дугами,— и, приглядевшись, Матвей увидел кисти винограда...

Наконец, в стороне мелькнул меж ветвей кусочек черной, как бархат, пашни. Матвей быстро кинулся туда и стал смотреть с дороги из-за деревьев...

Но то, что он здесь увидел, облило кровью его сердце. Это был кусок плоского поля, десятин в пятнадцать, огороженного не плетнем, не тыном, не жердями, а железной проволокой, с колючками. На одном краю этого поля дымилась труба завода, закопченного и черного. На другом стоял локомобиль — красивая и сверкающая машина на колесах. Маховое колесо быстро вертелось, суетливо стучали поршни, белый пар вырывался тоненькой, хлопотливой и прерывистой струйкой. Тут же, мерно волнуясь, плыл в воздухе приводный канат. Проследив его глазом, Матвей увидел, что с другого конца пашни, как животное, сердито взрывая землю, ползет железная машина и грызет, и роет, и отваливает широкую борозду чернозема.

Матвей перекрестился. Всякое дыхание да хвалит господа! На что же теперь может пригодиться в этой стороне деревенский человек, вот такой пахарь, как Матвей Лозинский, на что нужна умная лошадь, почтенный вол, твердая рука, верный глаз и сноровка? И что же он станет делать в этой стороне, если здесь так пашут землю?

Несколько человек следили за этой работой. Может быть, они пробовали машину, а может быть, обрабатывали поле, но только ни один не был похож на нашего пахаря. Матвей пошел от них в другую сторону, где сквозь зелень блеснула вода...

Он жадно наклонился к ней, но вода была соленая. Это уже было взморье,— два-три паруса виднелись между берегом и островом. А там, где остров кончался,— над линией воды тянулся чуть видный дымок парохода. Матвей упал на землю, на береговом откосе, на самом краю американской земли, и жадными, воспаленными, сухими глазами смотрел туда, где за морем осталась вся его жизнь. А дымок парохода тихонько таял, таял и, наконец, исчез...

Между тем за островом село солнце. Волна за волной тихо набегала на берег, и пена их становилась белее, а волны темнели. Матвею казалось, что он спит, что это во сне плещутся эти странные волны, угасает заря, полный месяц, большой и задумчивый, повис в вечерней мгле, лиловой, прозрачной и легкой... Волны все бежали и плескались, а на их верхушках, закругленных и зыбких, играли то белая пена, то переливы глубокого синего неба, то серебристые отблески месяца, то, наконец, красные огни фонарей, которые какой-то человек, сновавший по воде в легкой лодке, зажигал зачем-то в разных местах, над морем....

Потом, опять будто во сне, послышались голоса, крики, звонкий смех. Несколько мужчин, женщин и девушек, в странных костюмах, с обнаженными руками и ногами до колен, появились из маленьких деревянных будок, построенных на берегу, и, взявшись за руки, кинулись со смехом в волны, расплескивая воду, которая брызгала у них из-под ног тяжелыми каплями, точно расплавленное золото. Еще сильнее закачались зыбкие гребни, еще быстрее запрыгали в воде огни, перемешиваясь с цветными клочками неба и месяца, а лодки под фонарями, черные, точно из цельного угля,— забились и запрыгали на верхушках...

Матвею все казалось, что он спит или грезит. Чужое

небо, незнакомая красота чужой природы, чужое, непонятное веселье, чужой закат и чужое море — все это расслабляло его усталую душу...

— Господи, Иисусе, святая дева... Всякое дыхание... Помилуй меня грешного.

Потихоньку бормотание странного человека стихало.

Он действительно спал, откинувшись на спину, на откосе...

XX

Проснулся он внезапно, точно кто толкнул его в бок, вскочил и, не отдавая себе отчета, куда и зачем, пошел опять по дороге. Море совсем угасло, на берегу никого не было, дорога тоже была пуста. Коттеджи спали, освещаемые месяцем сверху, спали также высокие незнакомые деревья с густою, тяжелою зеленью, спало недопаханное квадратное поле, огороженное проволокой, спала прямая дорога, белевшая и искрившаяся бледною полоской...

Посыпался звон. Вагон вынырнул на свет из тени деревьев и, вздрагивая, позванивая, гудя, как ночной жук, пробежал мимо. Матвей посмотрел ему вслед. Лошадей не было, не было ни трубы, ни дыма, ни пара. Только наверху, откинувшись спереди назад, точно щупальце этого странного животного из стекла, железа и дерева,— торчал железный стержень с утолщением на конце. Он как будто хватался вверху за тонкую проволоку, чуть видную в темном воздухе, и всякий раз, как ему встречался узел,— на его верхушке вспыхивала яркая, синеватая искра.

Вагон уменьшался, стихал его гудящий звон, и искорки бледнели и угасали вдали, а из тени уже подходил другой, также гудя и позванивая.

Это, должно быть, был уже последний и шел почти пустой. Полусонный кондуктор, заметив одинокую фигуру на дороге, позвонил; вагон задрожал, заскрежетал на рельсах и замедлил ход. Кондуктор наклонился, взял Лозинского под локоть и посадил на скамью. Лозинский подал монету, раздался металлический звонок счетчика, и вагон опять покатился, а мимо убегали назад коттеджи, сады, переулки, улицы. Сначала все это спало или засыпало. Потом как будто пробуждалось, гремело, говорило, светилось. На небе разливалось зарево. Замелькали окна, уходя все выше и выше к небу.

— Бридж (мост), — сказал кондуктор. Матвей вышел, сожалея, что нельзя ехать таким образом вечно. Перед ним зияло опять, точно пещера, устье Бруклинского моста. Вверху, пыхтя, опять завернулся локомотив и подхватил поезд. В левой стороне вкатывались вагоны канатной дороги, справа выбегали другие, а рядом въезжали фургоны и шли редкие пешеходы...

Дойдя до половины моста, Матвей остановился. В ушах у него шумело, в голове что-то ворочалось. Мимо бежали поезда, вагоны, коляски, мост гудел, и было страшно слушать тонкие свистки пароходов, долетавшие снизу, — так они казались далеко и глубоко, в какой-то бездне, переполненной снующими огоньками... А в небо уходили два гигантских пролета, с которых спускались канаты невиданной толщины. Целая сеть железных стержней, которые казались Матвею с корабля такой красивой патинкой, тянулась от канатов, поддерживая мост на весу. Из-за них едва можно было разглядеть реку, сливавшуюся с заливом в одно серебристое сияние, в котором утопали и из которого виднелись опять огни пароходов. И дальше тысячи огней, как звезды, висели над водой, уходя вдаль, туда, где новые огни горели в Нью-Джерси. И среди всего этого моря огня, вдалеке, острые глаза Матвея едва различили круглую огненную диадему и факел свободы. Ему казалось, что он видит в синеватом свете и голову медной женщины, и поднятую руку. Но это уже светилось слабо, чуть-чуть мерцая, как недавние дни с мечтами о счастье на чужой стороне...

В черной громаде пролета, точно нора, светилось оконце мостового сторожа, и сам он, как ничтожный светляк, выполз из этой норы, с фонарем. Он тотчас же увидел на мосту иностранца, а это всегда нравится американцу. Сторож похлопал Матвея по плечу и сказал несколько одобрительных слов.

— Нельзя ли у тебя переночевать? — спросил Матвей усталым голосом.

— О уэлл! — ответил тот по-своему и стал объяснять Матвею, что Америка больше всего остального света, — это известно. Нью-Йорк — самый большой город Америки, а этот мост — самый большой в Нью-Йорке. Из этого Матвей, если бы понимал слова сторожа, мог бы заключить, чего стоят остальные мостишки перед этим.

Потом сторож поглядел в глаза странного человека, прочел в них тоску, вместо удивления, и мысли его приняли

другое направление... Конечно, если уже человеку жизнь не мила, то, пожалуй, лестно кинуться с самого большого моста в свете, но, во-первых, это трудно: не перелезешь через эту сеть проволок и канатов, а во-вторых, мост построен совсем не для того. Все это сторож объявил Матвею, а затем довольно решительно повернулся и стал провожать, поталкивая сзади. Впрочем, странный человек пошел покорно, как заведенная машина, туда, где над городом стояло зарево и, точно венец, плавало в воздухе кольцо электрических огней над зданием газетного дома...

За мостом он уже без приглашения кондуктора взобрался в вагон, на котором стояла надпись: 'Central park¹'. Спокойное сидение и ровный бег вагона манили невольно бесприютного человека, а куда ехать, ему было теперь все равно. Только бы ехать, чем дальше, тем лучше, не думая ни о чем, давая отдых усталым ногам, пока дремота налетает вместе с ровным постукиванием колес...

Ему было очень неприятно, когда постукивание вдруг прекратилось, и перед ним стал кондуктор, взявшись за рукав. Он опять вынул деньги, но кондуктор сказал: «No²», — и показал рукой, что надо выйти.

Матвей вышел, а пустой вагон как-то радостно закатился по кругу. Кондуктор гасил на ходу огни, окна вагона точно зажмуривались, и скоро Матвей увидел, как он вкатился во двор станции и стал под навесом, где, покрытые тенью, отдыхали другие такие же вагоны...

Здесь было довольно тихо. Луна стала совсем маленькой, и синяя ночь была довольно темна, хотя на небе виднелись звезды, и большая, еще не застроенная площадь около Центрального парка смутно белела под серебристыми лучами... Далекие дома перемежались с пустырями и заборами, и только в одном месте какой-то гордый человек вывел дом этажей в шестнадцать, высившийся черною громадой, весь обставленный еще лесами... Эта вавилонская башня резко рисовалась на зареве от освещенного города...

До ушей Матвея донесся шум деревьев. Лес всегда тянет к себе бесприютного бродягу, а Матвей Лозинский чувствовал себя настоящим бродягой.

Поэтому он быстро повернулся и пошел к парку. Если бы кто смотрел на него в это время с площади, то мог

¹ Центральный парк (англ.).

² Нет (англ.).

бы видеть, как белая одежда то теряется в тени деревьев, то мелькает опять на месячном свете.

Он шел так несколько минут и вдруг остановился. Перед ним поднималась в чаще огромная клетка из тонкой проволоки, точно колпаком покрывшая дерево. На ветвях и перекладинах сидели и тихо дремали птицы, казавшиеся какими-то серыми комками. Когда Матвей подошел поближе, большой коршун поднял голову, сверкнул глазами и лениво расправил крылья. Потом опять уселся и втянул голову между плеч.

Матвей отошел, боясь, чтобы птицы не подняли возню. Он ступал тихо и оглядывался, ища себе приюта. Вскоре перед ним забелело продолговатое здание. Половина его была темная, и Матвею показалось, что это какой-нибудь сарай, где можно свернуться и заснуть до утра. Но, подойдя, он опять увидел железную решетку, от которой отскочил в испуге. Из-за нее сверкнули на него огнем два глаза. Большой серый волк стоял над спящей волчицей и зорко следил за подозрительным человеком в белой одежде, который бродит неизвестно зачем ночью около звериного жилья.

В то же время откуда-то из тени человеческий голос сказал что-то по-английски резко и сердито. Матвею этот окрик показался хуже ворчания лесного зверя. Он вздрогнул и пугливо пошел опять к опушке. Тут он остановился и погрозил кулаком. Кому? Неизвестно, но человек без языка чувствовал, что и в нем просыпается что-то волчье...

XXI

Легкое журчание воды потянуло его дальше. Это струился в бассейн неплотно запертый фонтан. Вода сочилась кверху, будто сонная, и, то поднимаясь, то падая совсем низко, струйка звенела и плескалась. Матвей склонился к водоему и стал жадно пить. Потом он снял шапку и перекрестился, решившись лечь тут же в кустах. Издалека в тишине ночи до него донесся свисток... Ему показался он звуком из какого-то другого мира. Он сам когда-то тоже приехал на пароходе... Может быть, это все еще такой же пароход из старой Европы, на котором люди приехали искать в этой Америке своего счастья,— и теперь смотрят на огромную статую с поднятой рукой, в которой чуть не под облаками светится факел... Только теперь лозищанину

казалось, что он освещает вход в огромную могилу.

С сокрушением, сняв щапку и глядя в звездное небо, он стал молиться готовыми словами вечерних молитв. Небо тихо горело своими огнями в бездонной синеве и казалось ему чужим и далеким. Он вздохнул, бережно положил около себя кусок хлеба, с которым все не расставался,— и лег в кусты. Все стихло, все погасло, все заснуло на площади, около зверинца и в парке. Только плескалась струйка воды, да где-то вскрикивала в клетке ночная птица, да в кустах шевелилось что-то белое, и порой человек бормотал во сне что-то печальное и сердитое, может быть, молитву, или жалобы, или проклятия.

Ночь продолжала тихий бег над землей. Поплыли в высоком небе белые облака, совсем похожие на наши. Луна закатилась за деревья; становилось свежее и как будто светлело. От земли чувствовалась сырость...

Тут с Матвеем случилось небольшое происшествие, которого он не забыл во всю свою последующую жизнь, и хотя он не мог считать себя виноватым, но все же оно камнем лежало на его совести.

Он начинал дремать, как вдруг раздвинулись кусты, и какой-то человек остановился над ним, заглядывая в его ночное убежище.

Час был серый, сумеречный. Матвей плохо видел лицо незнакомца. Впоследствии ему припоминалось, что лицо было бледно, а большие глаза смотрели страдающе и грустно...

Очевидно, это был тоже ночной бродяга, какой-нибудь несчастливец, которому, видно, не повезло в этот день, а может, не везло уже много дней и теперь не было нескольких центов, чтобы заплатить за ночлег. Может быть, это был тоже человек без языка, какой-нибудь бедняга-итальянец, один из тех, что идут сюда целыми стадами из своей благословенной страны, бедные, темные, как и наши, и с такой же тоской о покинутой родине, о родной беде, под родным небом... Один из безработных, выкинутых этим огромным потоком, который лишь ненадолго затих там, в той стороне, где выселились эти каменные вавилонские башни и зарево огней тихо додорало, как будто и оно засыпало перед рассветом. Может быть, и этого человека грызла тоска; может быть, его уже не носили ноги; может быть, его сердце уже переполнилось тоской одиночества; может быть, его просто томил голод, и он рад был бы куску хлеба, которым мог бы с ним

поделиться Лозинский. Может быть, и он мог бы указать лозищанину какой-нибудь выход...

Может быть... Мало ли что может быть! Может быть, эти два человека нашли бы друг в друге братьев до конца своей жизни, если бы они обменялись несколькими братскими словами в эту теплую, сумрачную, тихую и печальную ночь на чужбине...

Но человек без языка шевельнулся на земле так, как недавно шевельнулся ему навстречу волк в своей клетке. Он подумал, что это тот, чей голос он слышал недавно, такой резкий и враждебный. А если и не тот самый, то, может быть, садовый сторож, который прогонит его отсюда...

Он поднял голову с враждой на душе, и четыре человеческих глаза встретились с выражением недоверия и испуга...

— Джермен? — спросил незнакомец глухим голосом... — Френч? Тэдеско, итальяно?.. (германец? француз? итальянец?)

— Что тебе нужно? — ответил Матвей. — Неужели и здесь не дашь человеку минутку покоя?..

Они еще обменялись несколькими фразами. Голоса обоих звучали сердито и враждебно...

Незнакомец тихо выпустил ветку, кусты сдвинулись, и он исчез.

Он исчез, и шаги его стали стихать... Матвей быстро приподнялся на локте с каким-то испугом. «Уходит, — подумал он. — А что же будет дальше...» И ему захотелось вернуть этого человека. Но потом он подумал, что вернуть нельзя, да и незачем. Все равно — не поймет ни слова.

Он слушал, как шаги стихали, потом стихли, и только деревья что-то шептали перед рассветом в сгустившейся темноте... Потом с моря надвинулась мглистая туча и пошел тихий дождь, недолгий и теплый, покрывший весь парк шорохом капель по листьям.

Сначала этот шорох слышали два человека в Центральном парке, а потом только один...

Другого наутро ранняя заря застала висящим на одном из шептавших деревьев, с страшным, посиневшим лицом и застывшим стеклянным взглядом.

Это был тот, что подходил к кустам, заглядывая на лежавшего лозищанина. Человек без языка увидел его первый, поднявшись с земли от холода, от сырости, от тоски, которая гнала его с места. Он остановился перед ним, как вкопанный, невольно перекрестился и быстро

побежал по дорожке, с лицом, бледным, как полотно, с испуганными, сумасшедшими глазами... Может быть, ему было жалко, а может быть, также... он боялся попасть в свидетели... Что он скажет, он, человек без языка, без паспорта, судьям этой проклятой стороны?..

В это время его увидел сторож, который, зевая, потягивался под своим навесом. Он подивился на странную одежду огромного человека, вспомнил, что как будто видел его ночью около волчьей клетки, и потом с удивлением рассматривал огромные следы огромных сапог лозищанина на сырой песчаной дорожке...

XXII

В это утро безработные города Нью-Йорка решили устроить митинг. Час был назначен ранний, так, чтобы шествие обратило внимание всех, кто сам спешит на работу — в конторы, на фабрики и в мастерские.

О предстоящем митинге уже за неделю писали в газетах, сообщая его программу и имена ораторов. Предвидели, что толпа может «выйти из порядка», интервьюировали директора полиции и вожаков рабочего движения. Газеты биржевиков и Тамани-холла громили «агитаторов», утверждая, что только иностранцы да еще лентяи и пьяницы остаются без работы в этой свободной стране. Рабочие газеты возражали, но тоже призывали к достоинству, порядку и уважению к законам. «Не давайте противникам повода обвинять вас в некультурности», — писали известные вожаки рабочего движения.

Газета «Sun», одна из наиболее распространенных, обещала самое подробное описание митинга в нескольких его фазах, для чего каждые полчаса должно было появляться специальное прибавление. Один из репортеров был поэтому командирован ранним утром, чтобы дать заметку: «Центральный парк перед началом митинга».

Ему очень повезло. Прежде всего, обегая все закоулки парка, он наткнулся на Матвея и тотчас же нацелился на него своим фотографическим аппаратом. И хотя Матвей быстро от него удалился, но он успел сделать моментальный снимок, к которому намеревался прибавить подпись: «Первый из безработных, явившийся на митинг».

Он представлял себе, как подхватят эту фигуру газеты, враждебные рабочему движению: «Первым явился ка-

кой-то дикарь в фантастическом костюме. Наша страна существует не для таких субъектов...»

Затем зоркий глаз репортера заметил в чаще висящее тело. Надо отдать справедливость этому газетному джентльмену: первой его мыслью было,— что, может быть, несчастный еще жив. Поэтому, подбежав к трупу, он вынул из кармана свой ножик, чтобы обрезать веревку. Но, пощупав совершенно охладевшую руку,— спокойно отошел на несколько шагов и, выбрав точку,— набросал снимок в альбом... Это должно было тоже произвести впечатление,— хотя уже с другой стороны. Это подхватят рабочие газеты... «Человек, который явился на митинг еще ранее... Еще одна жертва нужды в богатейшей стране мира...» Во всяком случае заметка вызовет общую сенсацию, и редакция будет довольна.

Действительно, и заметка, и изображение мертвого тела появились в газете ранее, чем о происшествии стало известно полиции. По странной оплошности («что, впрочем, может случиться даже с отличной полицией»,— писали впоследствии в некоторых газетах) толпа уже стала собираться и тоже заметила тело, а полиция все еще не знала о происшествии...

Матвей Лозинский, ничего, конечно, не читавший о митинге, увидел, что к парку с разных сторон стекается народ. По площади, из улиц и переулков шли кучами какие-то люди в пиджаках, правда, довольно потертых, в сюртуках, правда, довольно засаленных, в шляпах, правда, довольно измятых, в крахмальных, правда, довольно грязных рубахах. Общий вид этой толпы, изможденные, порой бородатые лица производили на Лозинского успокоительное впечатление. Он чувствовал что-то как будто родственное и симпатичное. Все они собирались к фонтану, затем узнали о самоубийстве и, как муравьи, толпились около этого места, сумрачные, озлобленные, печальные.

Лозинский теперь смелее вышел на площадку, около которой расположилась группа черномазых и густоволосых людей, еще более обворванных, чем остальные. Глаза у них были, как сливы, лица смуглые, порой остроконечные шляпы с широкими полями, а язык звучал, как музыка — мягко и мелодично. Это были итальянцы. Они напомнили Матвею словаков, заходивших в Лозищи из Карпат, и он доверчиво попытался заговорить с ними. Но и тут его никто не понял. Итальянцы лениво поворачивали к нему головы; один подошел, пощупал его белую свиту

и с удивлением щелкнул языком. Потом он с удовольствием ощупал мускулы его рук и сказал что-то товарищам, которые выразили свое одобрение шумными криками... Но больше ничего от них Матвей не добился... Он заметил только, что глаза у них сверкают, как огонь, а у иных, под куртками у поясов, висят небольшие ножи.

Вскоре толпа залила уже всю площадку. Над ней стояла тонкая пыль, залегавшая, как туман, между зеленью, и сплошной гул голосов носился над людскими головами...

Около дерева, где висел человек, началось движение. Суровые и важные, туда прошли полисмены в своих серых шляпах. Над ними смеялись, их закидали враждебными криками и остротами, показывая номер газеты, но они не обращали на это внимания. Только около самого дерева произошло какое-то замешательство,— серые каски как-то странно толкались между черными, рыжими и пестрыми шляпенками, потом подымались кверху и опускались деревянные палки и что-то суетливо топтались и шарахалось. Потом мертвое тело колыхнулось, голова мертвеца вдруг выступила из тени в светлое пятно, потом поникла, а тело, будто произвольно, тихо опустилось вровень с толпой.

Матвей снял шапку и перекрестился. А в это время, с другой стороны, с площадки, послышались вдруг звуки музыки. Повернув туда голову, лозищанин увидел, что из переулка, на той стороне площади, около большой постройки, выкатился клуб золотистой пыли и покатился к парку. Точно гнали стадо или шло большое войско. А из облака неслись звуки музыки, то стихая,— и тогда слышался как будто один только гулкий топот тысячи ног,— то вдруг вылетая вперед визгом кларнетов и медных труб, стуком барабанов и звоном литавров. Впереди бежали двумя рядами уличные мальчишки, и высокий тамбур-мажор шагал, отмахивая тakt большим жезлом. За ним двигались музыканты, с раздутыми и красными щеками, в касках с перьями, в цветных мундирах, с огромными эполетами на плечах, расшитые и изукрашенные до такой степени, что, кажется, не оставалось на них ни клочка, чем-нибудь не расцвеченного, не завешанного каким-нибудь галуном или позументом.

Матвей думал, что далее он увидит отряд войска. Но, когда пыль стала ближе и прозрачнее, он увидел, что за музыкой идут сначала рядами, а потом, как попало, в беспорядке — все такие же пиджаки, такие же мятые

шляпы, такие же пыльные и полинялые фигуры. А впереди всей этой пестрой толпы, высоко над ее головами, плывет и колышется знамя, укрепленное на высокой платформе на колесах. Кругом знамени, точно стражи, с десяток людей двигались вместе с толпой...

Гремя, стуча, колыхаясь, под яркие звуки марша, под неистовые крики и свист ожидавшего народа, знамя подошло к фонтану и стало. Складки его колыхнулись и упали, только ленты шевелились по ветру, да порой полотнище плескалось, и на нем струились золотые буквы...

Тогда в толпе поднялся настоящий шабаш. Одни звали новоприбывших к дереву, где недавно висел самоубийца, другие хотели остаться на заранее назначеннем месте. Знамя опять колыхнулось, платформа поплыла за толпой, но скоро вернулась назад, отраженная плотно сомкнувшимся у дерева отрядом полиции.

Когда пыль, поднятую этой толкотней, пронесло дальше, к площади, знамя опять стояло неподвижно, а под знаменем встал человек с открытой головой, длинными, откинутыми назад волосами и черными сверкающими глазами южанина. Он был невелик ростом, но возвышался над всею толпой на своей платформе, и у него был удивительный голос, сразу покрывший говор толпы. Это был мистер Чарльз Гомперс, знаменитый оратор рабочего союза.

Толпа вся стихла, когда, протянув руку к дереву, где еще недавно висел самоубийца, он сказал негромко, но с какой-то особенной торжественной внятностью:

— Прежде всего отдадим почет одному из наших товарищ, который еще этой ночью изнемог в трудной борьбе.

Над многотысячной толпой точно пронесся ветер, и бесчисленные шляпы внезапно замелькали в воздухе. Головы обнажились. Складки знамени рванулись и заплескались среди гробовой тишины печально и глухо. Потом Гомперс начал опять свою речь.

В груди у Матвея что-то дрогнуло. Он понял, что этот человек говорит *о нем*, о том, кто ходил этой ночью по парку, несчастный и бесприютный, как и он, Лозинский, как и все эти люди с истомленными лицами. О том, кого, как и их всех, выкинул сюда этот безжалостный город, о том, кто недавно спрашивал у него о чем-то глухим голосом... О том, кто бродил здесь со своей глубокой тоской и кого теперь уже нет на этом свете. Было слышно, как ветер тихо шелестит листьями, было слышно, как порой

тряхнется и глухо ударит по ветру своими складками огромное полотнище знамени... А речь человека, стоявшего выше всех с обнаженной головой, продолжалась, плавная, задушевная и печальная...

Потом он повернулся и протянул руку к городу, гневно и угрожающе.

И в толпе будто стукнуло что-то разом во все сердца,— произошло внезапное движение. Все глаза повернулись туда же, а итальянцы приподнимались на цыпочках, сжимая свои грязные, загорелые кулаки, вытягивая свои жилистые руки.

А город, общий тонкою мглою собственных испарений, стоял спокойно, будто тихо дыша и продолжая жить своею обычною, ничем невозмутимою жизнью. По площади тянулись и грохотали вагоны, пыхтел где-то в туннеле быстрый поезд... Ветер нес над площадью пыльное облако. Облако это, точно лента, пронизанная солнцем, повисло в половине огромного недостроенного дома, напоминавшего вавилонскую башню. Вверху среди лесов и настилок копошились, как муравьи, занятые постройкой рабочие, а снизу то и дело подымались огромные тяжести... Подымались, исчезали в облаке пыли и опять плыли сверху, между тем как внизу гигантские краны бесшумно ворочались на своих основаниях, подхватывая все новые платформы с глыбами кирпичей и гранита...

И на все это светило яркое солнце веселого ясного дня.

В груди лозищанина подымалось что-то незнакомое, неиспытанное, сильное. В первый еще раз на американской земле он стоял в толпе людей, чувство которых ему было понятно, было в то же время и его собственным чувством. Это нравилось ему, это его как-то странно щекотало, это его подмывало на что-то. Ему захотелось еще большего, ему захотелось, чтобы и его увидели, чтобы узнали и его историю, чтобы эти люди поняли, что и он их понимает, чтобы они оказали ему участие, которое он чувствует теперь к ним. Ему хотелось еще чего-то необычного, опьяняющего, ему казалось, что сейчас будет что-то, от чего станет лучше всем и ему, лозищанину, затерявшемуся, точно иголка, на чужой стороне. Он не знал, куда он хочет идти, что он хочет делать, он забыл, что у него нет языка и паспорта, что он бродяга в этой стране. Он все забыл и, ожидая чего-то, проталкивался вперед, опьяненный после одиночества сознанием своего единения с этой огромной массой в каком-то общем чувстве, которое билось

и трепетало здесь, как море в крутых берегах. Он как-то кротко улыбнулся, говорил что-то тихо, но быстро, и все проталкивался вперед, туда, где под знаменем стоял человек, так хорошо понимавший все чувства, так умело колыхавший их своим глубоким, проникавшим голосом...

XXIII

Совершенно неизвестно, что сделал бы Матвей Лозинский, если бы ему удалось подойти к самой платформе, и чем бы он выразил оратору, мистеру Гомперсу, волновавшие его чувства. В той местности, откуда он был родом, люди, носящие сермяжные свиты, имеют обыкновение выражать свою любовь и уважение к людям в сюртуках — посредством низких, почти до земли, поклонов и целованья руки. Очень может быть, что мистер Гомперс получил бы это проявление удивления к своему ораторскому искусству, если бы роковой случай не устроил это дело иначе, а именно так, что ранее мистера Гомперса, председателя рабочих ассоциаций и искусственного оратора, на пути лозищанина оказался мистер Гопкинс, бывший боксер и полисмен. Мистер Гопкинс, наряду с другими людьми в серых касках и с клобами в руках, стоял неподвижно, как статуя, и, разумеется, не был тронут красноречием мистера Гомперса. Нью-йоркская полиция отлично знала этого популярного джентльмена и действие его красноречия оценивала с своей точки зрения. Она знала, что мистер Гомперс человек очень искусный и никогда в своих речах не «выйдет из порядка». Но зато — таково было обычное действие его слова — слушатели выходили из порядка слишком часто. Безработные всегда склонны к этому в особенности, а сегодня, вдобавок, от этого проклятого дерева, на котором полиция прозевала повесившегося беднягу и позволила ему висеть «вне всякого порядка» слишком долго, на толпу веяло чем-то особым. Между тем, давно уже не бывало митинга такого многоголюдного, и каждому полисмену, в случае свалки, приходилось бы иметь дело одному на сто.

В таких случаях полиция держится крепко настороже, следя особенно за иностранцами. Пока все в порядке,— а в порядке все, пока дело ограничивается словами, хотя бы и самыми страшными, и жестами, хотя бы очень драматическими,— до тех пор полисмены стоят в своих

серых шляпах, позволяя себе порой даже знаки одобрения в особенно удачных местах речи. Но лишь только в какой-нибудь части толпы явится стремление перейти к делу и «выйти из порядка» — полиция тотчас же занимает выгодную позицию нападающей стороны. И клобы пускаются в ход быстро, решительно, с ошеломляющей неожиданностью. И толпа порой тысяч в двадцать отступает перед сотнею-другою палок, причем задние бегут, закрывая, на всякий случай, головы руками...

Матвей Лозинский, разумеется, не знал еще, к своему несчастью, местных обычаев. Он только шел вперед, с раскрытым сердцем, с какими-то словами на устах, с надеждой в душе. И когда к нему внезапно повернулся высокий господин в серой шляпе, когда он увидел, что это опять вчерашний полицейский, он излил на него все то чувство, которое его теперь переполняло: чувство огорчения и обиды, беспомощности и надежды на чью-то помощь. Одним словом, он наклонился и хотел поймать руку мистера Гопкинса своими губами.

Мистер Гопкинс отскочил шаг назад и — клуб свистнул в воздухе... В толпе резко прозвучал первый удар...

Лозищанин внезапно поднялся, как разъяренный медведь... По лицу его текла кровь, шапка свалилась, глаза стали дикие. Он был страшнее, чем в тот раз в комнате Борка. Только теперь не было уже человеческой силы, которая была бы в состоянии сдержать его. Неожиданное оскорбление и боль переполнили чашу терпения в душе большого, сильного и кроткого человека. В этом ударе для него вдруг сосредоточилось все то, что он пережил, перечувствовал, перестрадал за это время, вся ненависть и гнев бродяги, которого, наконец, затравили, как дикого зверя.

Неизвестно, знал ли мистер Гопкинс индейский удар, как Падди, во всяком случае и он не успел применить его вовремя. Перед ним поднялось что-то огромное и дикое, поднялось, навалилось — и полисмен Гопкинс упал на землю, среди толпы, которая вся уже волновалась и кипела... За Гопкинсом последовал его ближайший товарищ, а через несколько секунд огромный человек, в невиданной одежде, лохматый и свирепый, один опрокинул ближайшую цепь полицейских города Нью-Йорка... За ним с громкими криками и горящими глазами первые кинулись итальянцы. Американцы оставались около знамени, где мистер Гомперс напрасно надрывал грудь призывами

к порядку, указывая в то же время на одну из надписей: «Порядок, достоинство, дисциплина!»

Через минуту вся полиция была смята, и толпа кинулась на площадь...

Была одна минута, когда, казалось, город дрогнул под влиянием того, что происходило около Central park'а... Уезжавшие вагоны заторопились, встречные остановились в нерешимости, перестали вертеться краны, и люди на постройке перестали ползать взад и вперед... Рабочие смотрели с любопытством и сочувствием на толпу, опрокинувшую полицию и готовую ринуться через площадь на ближайшие здания и улицы.

Но это была только минута. Площадь была во власти толпы, но толпа совершенно не знала, что ей делать с этой площадью. Между тем большинство осталось около знамени и понемногу голова толпы, которая, точно змея, потянулась было по направлению к городу,— опять притянулась к туловищу. Затем, после короткого размышления,— вожаки решили, что митинг сорван, и, составив наскоро резолюцию, протестующую против действий полиции, они двинулись обратно. Впереди, как ни в чем не бывало, опять выстроился наемный оркестр, и облако пыли опять покатилось вместе с музыкой через площадь. А за ним сомкнутым строем шли оправившиеся полицейские, ободрительно помахивая клобами и поощряя отставших.

Через полчаса парк опустел; подъемные краны опять двигались на своих основаниях, рабочие опять сновали чуть не под облаками на постройке, опять мерно прокатывались вагоны, и проезжавшие в них люди только из газет узнали о том, что было полчаса назад на этом месте. Только сторожа ходили около фонтана, качая головами и ругаясь за помятые газоны...

XXIV

Несколько дней газеты города Нью-Йорка, благодаря лозунгам Матвею, работали очень бойко. В его честь типографские машины сделали сотни тысяч лишних оборотов, сотни репортеров сновали за известиями о нем по всему городу, а на площадках перед огромными зданиями газет «World», «Tribune», «Sun», «Herald» — толпились лишние сотни газетных мальчишек. На одном из этих

зданий Дыма, все еще рыскавший по городу в надежде встретиться с товарищем, увидел экран, на котором висело объявление:

ДИКАРЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Происшествие на митинге безработных.

Кафр, патагонец или славянин?

Сильнее полисмена Гопкинса.

УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Оскорбление законов этой страны!

Мы дадим портрет дикаря, убившего полисмена Гопкинса.

Через час листы уже летели в толпу мальчишек, которые тотчас же ринулись во все стороны. Они шныряли под ногами лошадей, вскакивали на ходу в вагоны электрической дороги, через полчаса были уже на конце подземной дороги и в предместьях Бруклина,— и всюду раздавались их звонкие крики:

«Дикарь в Нью-Йорке!.. Портрет дикаря на митинге безработных!.. Оскорбление законов этой страны!»

Газетный джентльмен, нарисовавший вчера фантастическое изображение дикаря, купающего свою семью в городском водоеме, не подозревал, что его рисунок получит столь скорое применение. Теперь это талантливое произведение красовалось в сотнях тысяч экземпляров, и серьезные американцы, возвращавшиеся из своих контор, развертывали на ходу газету именно в том месте, где находилась фигура дикаря, «дважды нарушившего законы этой страны». А так как очень трудно воздержаться от невольных сопоставлений, то газета, пока не выясняется окончательно мотивы загадочного преступления этого загадочного человека, предлагала свое объяснение, не настаивая, впрочем, на полной его достоверности. «Вчера бедный Гопкинс разъяснил дикарю всю неуместность купания детей в городских водоемах. Известно, что дикари мелочны и мстительны. Кто знает, быть может, Гопкинс пал невинною жертвой ревностного исполнения своего долга на Бродвее».

В другой газете, более серьезной, дано было изложение события по свежим следам. Заметка носила название: «Митинг безработных»:

«Спешим дать нашим читателям точное изложение события в Центральном парке. Как уже известно, митинг безработных был назначен утром, и уже чуть не с рассвета

площадка и окружающая местность стали наполняться людьми в количестве, которое привело в некоторое замешательство полицейские резервы. В числе последних оказался известный Гопкинс, бывший боксер, лицо достаточно популярное в этом городе.

К несчастью, случай, один из тех, которые, конечно, могут встретиться во всяком городе этого штата, во всяком штате этой страны, во всякой стране этого мира (где всегда будет богатство и бедность, что бы ни говорили опасные утописты), — такой случай внес особенное возбуждение в настроение этой толпы. Неподалеку от фонтана, по соседству с местом митинга, в эту ночь повесился какой-то бедняк, имя, род занятий, даже национальность которого остаются пока неизвестны. Как бы то ни было, полиция проявила несомненную оплошность. Один из репортеров успел срисовать даже изображение самоубийцы прежде, чем полиция узнала о факте. Вынимать тело из петли пришлось уже в то время, когда в парке было много людей, судьба которых, вследствие случайных, но тем не менее прискорбных причин, очень грустно иллюстрировалась видом и судьбой этого бедняги. Первая попытка полиции снять тело оказалась неудачна вследствие сопротивления, оказанного сильно возбужденной толпой. Но затем, когда силы полиции увеличились, это было, наконец, сделано, — хотя, нужно признаться, не без содействия клобов, которые, как мы это указывали многократно, полиция наша пускает в ход нередко и при обстоятельствах, пожалуй менее оправдывающих употребление этого орудия в цивилизованной стране.

В назначенное время прибыл на место известный рабочий агитатор мистер Гомперс, в сопровождении хора музыки и со знаменем, на котором была надпись:

Работы!
Терпение народа истощено.
Соединяйтесь!
Петиция новому мэру!

Беспристрастие требует прибавить, что, кроме этих, была еще надпись следующего содержания: «Достоинство, порядок, дисциплина!»

За этой заметкой следовала в газете другая, имевшая опять три заглавия:

«Чарли Гомперс был горек».
«Он громил богатство и роскошь».

«Порицал порядки этой страны, а этот город называл вавилонской блудницей».

«Чарли Гомперс, ораторскому таланту которого нельзя отдать должной дани удивления, прекрасно использовал данное положение. Едва прибыв на место, в сопровождении прекрасного хора м-ра Ивэнса (Second avenue¹, № 300), и узнав об утреннем происшествии, он начал свою речь блестящей импровизацией, в которой в самых мрачных красках изобразил положение лишенных работы и судьбу, ожидающую, быть может, в близком будущем многих из этих несчастливцев. Вслед за этим он воспользовался контрастами, которые на всяком шагу развертывает этот город, как известно, самый большой и самый богатый в мире. Эта речь Чарли Гомперса, имевшая целью пригласить безработных к петиции на имя городского мэра, а также пропагандировавшая идею рабочих ассоциаций,— вызвала, по-видимому, самые дурные страсти. Правда, англичане и американцы (которых, впрочем, было очень немного), даже большинство ирландцев и немцы,— остались в порядке. Но наименее цивилизованные элементы толпы — в лице итальянцев, отчасти русских евреев и в особенности какого-то дикого человека неизвестной нации — вспыхнули при этом, как порох от спички».

«МНЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ СЕНАТОРА РОБИНЗОНА»

«Мистер Робинзон, любезно принявший у себя нашего репортера, находит, что в этом происшествии с особенной яркостью выразилась сила законного порядка этой страны. «Сэр,— сказал мистер Робинзон нашему репортеру,— что вы видите в данном случае? Мятежники, побуждаемые опасными демагогами, опрокинули полицию. Преграда между ними и цивилизацией в лице бравого Гопкинса и его товарищей рушилась. И что же,— мятежники не находят ничего лучшего, как вернуться самопроизвольно к порядку. Я позволил бы себе, однако, предложить мистеру Гомперсу и в его лице всем подобным ему агитаторам один вопрос, который, надеюсь, поставил бы их в немалое затруднение: *зачем вы, сэр, возбуждаете страсти и подстрекаете толпу на дело, самый успех которого не можете ни в каком случае обратить в свою пользу?*»

¹ Второй проспект (англ.).

«В следующем номере,— прибавляла редакция,— мы надеемся дать читателям ответ мистера Гомперса на уничтожающий вопрос почтенного сенатора».

Наутро газета исполнила свое обещание. Она дала, во-первых, портрет мистера Гомперса, а затем подробное изложение беседы его с репортером. При этом мистер Гомперс в изображении репортера рисовался столь же благожелательными красками, как и сенатор Робинсон. «Мистер Гомперс в личной жизни — человек привлекательный и симпатичный, его обращение с репортером было необыкновенно приветливо и любезно, но его отзывы о деле — очень горячи и энергичны. Мистер Гомперс винит во всем несдержанность полиции этого города. Сам он был «в порядке». Правда, как это совершенно справедливо было отмечено нашим репортером, он «был горек» в своей речи. Он этого не отрицает. Но с каких же это пор для американца в этой стране считается обязательным произносить только сладкие речи?! Кому не нравится сравнение этого города с блудницей, тот не должен слушать по воскресеньям проповеди, хотя бы, например, достопочтенного реверенд-Джонса, так как это его любимое сравнение. И, однако, никто не обвиняет за это священников в возбуждении дурных страстей или в оскорблении страны. Надо думать, что Таманинг, которого, как известно, мистер Робинсон является деятельным членом, еще не в силах ограничить в этой стране свободу слова, завещанную великими творцами ее конституции! (Здесь репортер выражает сожаление, что он не в силах передать ни великолепного жеста, ни возвышенного пафоса, с каким мистер Гомперс произнес последнюю фразу. Он констатирует, однако, что они сделали бы честь первым ораторам страны.) Мистер Гомперс очень сожалеет о том, что случилось, но пострадавшими в этом деле считает себя и своих друзей, так как митинг оказался сорванным и право собраний грубо нарушено в их лице. Как началась свалка, он не видел. Он далек также от мысли заподозрить добросовестность талантливого джентльмена, давшего изображение дикаря. Однако и наружность, и костюм этого дикаря кажутся ему достаточно маскарадными, чтобы быть изобретением полиции. Что касается до обращенного к нему вопроса, то удовлетворить любопытство достопочтенного сенатора гораздо легче, чем осветить некоторые проделки Таманинга. Как уже ясно из предыдущего, он не подстрекал никого к нападению на полицию так же, как подстрекал полицейских к слишком усердному

употреблению клобов. Но он убежден, что великий вопрос о богатстве и бедности должен быть решен на почве свободы слова и союзов. Что же касается до плодов агитации, то они видны уже и теперь. Два года назад ассоциация рабочих, которой он имеет честь быть председателем, считала ровно вдвое меньшее число членов, чем имеет в настоящее время. Таковы плоды непосредственные. Что же касается дальнейших, то мистер Робинзон, сенатор и крупный фабрикант, может сказать кое-что по этому поводу, так как на его собственной фабрике с прошлого года рабочие часы сокращены без сокращения платы. «И мы с гордостью предвидим,— прибавил мистер Гомперс с неподражаемой иронией,— тот день, когда мистеру Робинзону придется еще поднять плату без увеличения рабочего дня...» Наконец, мистер Гомперс сообщил, что он намерен начать процесс перед судьей штата о нарушении неприкосновенности собраний. Как известно,— сказал он,— ученым этой страны до сих пор не удалось выяснить вопроса о национальности загадочного дикаря. Мистер Гомперс не теряет, однако, надежды, что суду это удастся и что директору полиции (которому он отказывает, впрочем, в должном уважении) уже и теперь известно кое-что по этому поводу».

«Одним словом,— так заканчивалась заметка,— если оставить в стороне некоторые щекотливые вопросы, вызывающие (быть может, и справедливое) осуждение,— мистер Гомперс оказался не только превосходным оратором и тонким политиком, но и очень приятным собеседником, которому нельзя отказать в искреннем пафосе и возвышенном образе мыслей. Сам мистер Гомперс убежден, что он и его единомышленники оказывают истинную услугу стране, внося организацию, порядок, сознательность и надежду в среду, бедствия, отчаяние и справедливое негодование которой легко могли бы сделать ее добычей анархии...»

Несколько дней еще происшествие в Центральном парке не сходило со столбцов нью-йоркских газет. Репортеры обегали весь город, и в редакции являлись разные лица, видевшие в разных местах странных людей, навлекавших подозрение в тождественности с загадочным дикарем. Ди-карей в Нью-Йорке оказалось достаточно. Исходя из первого изображения, некоторые более или менее ученые джентльмены высказывали свое мнение о его национальности. Отзывы были весьма различны, но по мере того, как

сведения становились многочисленнее и точнее, заключения ученых джентльменов начинали вращаться в круге все более ограниченном. Первый приблизился к истине некто мистер Аткинсон, взявший исходным пунктом «разрушительные тенденции незнакомца и его беспредельную ненависть к цивилизации и культуре». Судя по этим признакам, он причислял его к славянскому племени... К сожалению, пустившись в дальнейшие гипотезы, мистер Аткинсон отнес к славянскому племени также «кавказских черкесов и самоедов, живущих в глубинах снежной Сибири».

Круг около загадочной личности смыкался все более. В заметках, становившихся все более краткими, но зато и более точными, появлялись все новые места и лица, так или иначе прикованные к личности «дикаря». Негр Сам, чистильщик сапог в Бродвее, мостовой сторож, подозревавший незнакомца в каком-нибудь покушении на целость Бруклинского моста, кондуктор вагона, в котором Матвей прибыл вечером к Central park'у, другой кондуктор, который подвергал свою жизнь опасности, оставаясь с глазу на глаз с дикарем в электрическом вагоне, в пустынных предместьях Бруклина, наконец, старая барыня, с буклями на висках, к которой таинственный дикарь огромного роста и ужасающего вида позвонился однажды с неизвестными, но, очевидно, не добрыми целями, когда она была одна в своем доме... К счастью, престарелая леди успела захлопнуть свою дверь как раз вовремя для спасения своей жизни.

XXV

О другой старой барыне, из дома № 1235, в газетах не упоминалось. Не упоминалось также и об Анне, которая только вздыхала порой, при воспоминании о пропавшем без вести Матвее. Человек канул, точно в воду, а сама она попала, как лодка, в тихую заводь. Каждый день, когда муж и жильцы старой барыни уходили,— она, точно невидимая фея, являлась в оставленные комнаты, убирала постели, подметала полы, а раз в неделю перетирала стекла и чистила газовые рожки. Каждый день выносила сор на улицу в корзину, откуда его убирали городские мусорщики, и готовила обед для господ и для двух джентльменов, обедавших с ними. Два раза в месяц она ходила в церковь вместе с барыней... Вообще все для нее в этом

уголке было так, как на родине. Все было, как на родине, в такой степени, что девушке становилось до боли грустно: зачем же она ехала сюда, зачем мечтала, надеялась и ждала, зачем встретилась с этим высоким человеком, задумчивым и странным, который говорил: «Моя доля будет и твоя доля, малютка». Молодой Джон и Дыма не являлись. Жизнь ее истекала скучными днями, как две капли воды похожими друг на друга... Она нашла здесь родину, ту самую, о которой так вздыхал Лозинский,— и не раз она горько плакала об этом по ночам в своей кухоньке, в подвальном этаже, низком и тесном... И не раз ей хотелось вернуться к той минуте, когда она послушалась Матвея, вместо того, чтобы послушать молодую еврейку... Вернуться и начать жить здесь по-иному, искать иной доли, может быть, дурной, да иной...

Однажды почтальон, к ее великому удивлению, подал ей письмо. На конверте совершенно точно стоял ее адрес, написанный по-английски, а наверху печатный штемпель: «Соединенное общество лиц, занятых домашними услугами». Не понимая по-английски, она обратилась к старой барыне с просьбой прочесть письмо. Барыня подозрительно посмотрела на нее и сказала:

— Поздравляю! Ты уже заводишь шашни с этими бунтовщиками!

— Я ничего не знаю,— ответила Анна.

В письме был только печатный бланк с приглашением поступить в члены общества. Сообщался адрес и размер членского взноса. Цифра этого взноса поразила Анну, когда барыня иронически перевела приглашение... Однако девушка спрятала письмо и порой вынимала его по вечерам и смотрела с задумчивым удивлением: кто же это мог заметить ее в этой стране и так правильно написать на конверте ее имя и фамилию?

Это было вскоре после ее поступления на службу. А еще через несколько дней старая барыня с суровым видом сообщила ей новость:

— Хорошие дела, нечего сказать, наделал этот твой... Матвей, что ли! — сказала она.— Вот и верь после этого наружности. Казался таким почтительным и смирным.

— Что такое? — спросила Анна с тревогой.

— Убил полицейского, ни более, не менее.

— Не может быть! — вскрикнула девушка невольно.

Старая барыня показала ей кучку газет, которые привнес ей муж, когда уже личность Матвея стала выясняться.

В фантастическом изображении трудно было признать добродушную фигуру лозищанина, хотя все же сохранились некоторые черты и оклад бороды. Затем в следующих номерах был приведен портрет Дымы, на этот раз в свите и бараньей шапке,— как соотечественника исчезнувшей знаменитости. Старая барыня, надев очки, целый день читала газеты, сообщая от времени до времени вычитанные сведения и Анне. Сама она была искренно удивлена, узнав, что Матвей попал на митинг и оказался предводителем банды итальянцев, опрокинувших полицию и побуждавших толпу безработных ограбить ближайшие магазины.

— А ведь каким казался почтительным и тихим,— сказала барыня в раздумье, вспоминая покорную фигуру Матвея, его кроткие глаза и убежденное поддакивание на все ее мнения.— Да, да! Верь после этого наружности.

Она подозрительно покосилась даже на Анну, готовая видеть в ней сообщницу страшного человека, но открытый взгляд девушки рассеял ее опасения.

— Он очень вспыльчив,— сказала Анна грустно, вспоминая страшную минуту во время столкновения с Падди.— И... и... знаете что... Как это там написано: потянулся губами к руке... Ведь это он... прошу вас... хотел, верно, поцеловать у него руку...

— Хотел поцеловать?.. и убил?.. Что-то все это странно,— сказала барыня.— Во всяком случае, если его поймают, то непременно повесят... Видишь, до чего здесь доводят эти... общества разные... Я бы этих Гомперсов!.. Смотри, вот они и тебя хотят завлечь в свои сети...

Анна видела, что барыня говорит совершенно искренно, а происшествие с Матвеем придавало ее словам еще большее значение. Однако, когда, в отсутствии барыни, опять пришло письмо на ее имя с тем же штемпелем,— она обратилась за прочтением не к ней, а к одному из жильцов. Это был человек молчаливый и суровый, не участвовавший в карточных вечерах у хозяев и не сказавший никогда с Анной лишнего слова. Он все сидел в своей комнате, целые дни писал что-то и делал какие-то выкладки. В доме говорили, что он «считает себя изобретателем». Почему-то Анна питала к суровому человеку безотчетное доверие и уважение.

Он взял из ее рук письмо и добросовестно перевел слово в слово. Содержание письма очень удивило Анну: в нем писали, что комитету общества стало известно, что мисс Анна служит на таких условиях, которые, во-первых,

унизительны для человеческого достоинства своей неопределенностью, а во-вторых, понижают общий уровень вознаграждения. Десять долларов в месяц и один свободный день в неделю — это минимальные требования, принятые в одном из собраний «соединенного общества лиц, занятых домашними услугами». Ввиду этого ей опять предлагают поступить в члены общества и предъявить повышенные требования своей хозяйке, иначе ее сотоварищи вынуждены будут считать ее «врагом своего класса».

Анна выслушала с испугом это странное обращение.

— Что же мне будет? — спросила она, глядя на чтеца совсем округлившимися глазами и не понимая хорошенько, кто это пишет и по какому праву.

— Ну, я в эти дела не мешаюсь, — ответил сурово молчаливый жилец и опять повернулся к своим бумагам. Но между глазами и бумагой ему почудилось испуганное лицо миловидной девушки, растерявшейся и беспомощной, и он опять с неудовольствием повернулся, подымая привычным движением свои очки на лоб.

— Ты еще здесь? — сказал он, глядя в упор на Анну своими близорукими глазами, устремленными как бы в пространство или видевшими что-то за ней. — Странно: твое лицо мне мешает... Ты спрашивала мое мнение?.. Ну, так вот: по моему мнению, все это глупости! Когда-то и я верил в эти бирюльки и увлекался, пока не понял, что только наука способна изменить все человеческие отношения. Понимаешь: наука! Вопрос решается не на улице, а в кабинете ученого... Вот здесь (он положил руку на бумаги) решение всех этих вопросов. Скоро все узнают... и ты в том числе. Ну, а пока — иди с богом. Твое лицо мне мешает... А мое дело и для тебя важнее всей этой суголовки.

И он опять наклонился над чертежами и выкладками, махая Анне левой рукой, чтобы она уходила. Анна пошла в кухню, думая о том, что все-таки не все здесь похоже на наше и что она никогда еще не видела такого странного господина, который бы так торжественно произносил такие непонятные слова.

Она захотела посоветоваться еще с Дымой и Розой. В церковь она ходила мимо Борка и уже знала дорогу. Однажды, когда барыня осталась дома и она одна пошла в церковь, девушка забежала в знакомую квартиру. Розы и Джона не было, а Борк был очень занят. От него она узнала только, что Дима уехал, так как письмо его, наконец, дошло, и Лозинские его увезли в Миннесоту. Это

было для него очень кстати, так как приятели ирландцы разбрелись, Тамани-холл не нуждался более в его голосе, а работы все не находилось... Временная знаменитость и появление его портрета в газетах — плохо утешали Дыму в потере приятеля. Впрочем, в это время публика перестала уже интересоваться инцидентом в Центральном парке, в особенности после того, как оказалось, вдобавок, что и здоровье мистера Гопкинса, вовсе не убитого, приведено в надлежащее состояние.

История дикаря отступала все далее и далее на четвертую, пятую, шестую страницы, а на первых, за отсутствием других предметов сенсации, красовались через несколько дней портреты мисс Лиззи и мистера Фрэда, двух еще совсем молодых особ, которые, обвенчавшись самовольно в Балтиморе, устроили своим родителям, известным миллионерам города Нью-Йорка, «неожиданный сюрприз». И веселая, кудрявая головка мисс Лиззи, с лукавыми черными глазками, глядела на читателя с того самого места и даже нарисованная тем самым карандашом, который изображал недавно нашего земляка.

Из этого следует, как легко стать знаменитым в этой стране и как это бывает ненадолго...

И только Дыма да Лозинские читали, что могли о Матвее, думая о том, как им теперь разыскать беднягу, опять потонувшего без следа в людском океане...

XXVI

А сам виновник волнения публики в день знаменитого митинга под вечер ехал в экстренном поезде на Детройт, на Бэффало, на Ниагару и на Чикаго...

Как он попал в этот поезд, он помнил потом очень смутно. Когда толпа остановилась, когда он понял, что более уже ничего не будет, да и быть более уже нечему, кроме самого плохого, когда, наконец, он увидел Гопкинса лежащим на том месте, где он упал, с белым, как у трупа, лицом и закрытыми глазами, он остановился, дико озираясь вокруг и чувствуя, что его в этом городе настигнет, наконец, настоящая погибель. С этой минуты он стал опять точно беспомощный ребенок и покорно побежал за каким-то долговязым итальянцем, который схватил его за руку и увлек за собой.

Через площадь они пробежали вместе с другими, потом

вбежали в переулок, потом спустились в какой-то подвал, где было еще с десяток беглецов, частью мрачных, частью, по-видимому, довольных сегодняшним днем. Мрачны были старики, довольны молодые бобыли и в том числе долговязый спаситель Матвея. Это был тот самый молодой человек, который утром, перед митингом, хлопал Матвея по плечу и щупал его мускулы. Веселому малому, кажется, очень понравилась манера обращения Матвея с полицией. Он и несколько его товарищ кинулись вслед за Матвеем, расчистившим дорогу, но затем, когда толпа остановилась, не зная, что делать дальше, он сообразил, что теперь остается только скрыться, так как дело принимало оборот очень серьезный. И он счел своей обязанностью позабочиться также о странном незнакомце.

Из переулка Матвея ввели в какое-то помещение, длинное, узкое и довольно темное. Здесь столпилось десятка два человек, разных национальностей, которые, чувствуя себя в безопасности, обсуждали события дня. Они горячо спорили при этом: одни находили, что митинг сорван напрасно, другие доказывали, что, наоборот, все вышло хорошо и факт прямого столкновения с полицией произведет впечатление даже сильнее «слишком умеренных» речей Гомперса. Все это привело, наконец, споривших к вопросу: что же им делать с странным незнакомцем?

Они приступили к Матвею с расспросами на разных языках, но он только глядел на них своими синими глазами, в которых виднелась щемящая тоска, и повторял: «Миннесота... Дыма... Лозинский...»

Наконец долговязый юноша пришел к заключению, что не остается ничего другого, как переодеть Матвея и отправить его по железной дороге в Миннесоту. Достали одежду, которая сразу затрещала по швам, когда ее напялили на Матвея, а затем привели парикмахера из членов того же общества. Сначала Матвей оказал было сопротивление, но когда молодой верзила очень красноречивым жестом показал на шею, как бы охватывая ее петлей,— Матвей понял и покорно отдался своей судьбе. Через десять минут в небольшое зеркальце на Матвея глядело чужое, незнакомое лицо, с подстриженными усами и небольшой лопаткой вместо бороды.

Молодой человек похлопал его по плечу. Лозицанин понял, что эти люди заботятся о нем, хотя его удивляло, что этот беспечный народ относился к его печальному положению с каким-то непонятным весельем. Как бы то

ни было, под вечер, совершенно преображеный, он покорно последовал за молодыми людьми на станцию железной дороги. Здесь у него взяли деньги, отсчитали, сколько было нужно, остальное (не очень много) отдали ему вместе с билетом, который продели за ленту шляпы. Перед самым отходом поезда долговязый принес еще две бутылки сидра, большой белый хлеб и несколько фруктов.

Все это было уложено в корзине. Это до глубины души тронуло Матвея, который крепко обнял своего благодетеля.

— Ты мне все равно, как родной,— сказал Матвей.— Никогда тебя не забуду...— Долговязый похлопал его по плечу, и вся компания, весело кивая и смеясь, проводила взглядами поезд, который понес Матвея по туннелям, по улицам, по насыпям и кое-где, кажется, по крышам, все время звоня мерно и печально. Некоторое время в окнах вагона еще мелькали дома проклятого города, потом засинела у самой насыпи вода, потом потянулись зеленые горы, с дачами среди деревьев, кудрявые острова на большой реке, синее небо, облака... потом большая луна, как вчера на взморье — всплыла и повисла в голубоватой мгле над речною гладью...

Корзина с провизией склонилась в руках ослабевшего человека, сидевшего в углу вагона, и груши из неесыпались на пол. Ближайший сосед поднял их, тихо взял корзину из рук спящего и поставил ее рядом с ним. Потом вошел кондуктор, не будя Матвея, вынул билет из-за ленты его шляпы и на место билета положил туда же белую картонную марку с номером. Огромный человек крепко спал сидя, и на лице его бродила печальная судорога, а порой губы сводило, точно от испуга...

А поезд летел, и звон, мерный, печальный, оглашал то спящие ущелья, то долины, то улицы небольших городов, то станции, где рельсы скрещивались, как паутина, где, шумя, как ветер в непогоду, пролетали такие же поезда по всем направлениям, с таким же звоном, ровным и печальным.

XXVII

Впоследствии Матвею случалось ездить тою же дорогой, но впоследствии все в Америке казалось ему уже другим, чем в эти печальные дни, когда поезд мчал его от Нью-Йорка, а куда — неизвестно. Он проспал чудные

берега Гудзона и проснулся на время лишь в Сиракузах, где в окнах засветилось что-то снаружи зловещим красным светом. Это были громадные литейные заводы. Расплавленный чугун огненным озером лежал на земле, кругом стояли черные здания, черные люди бродили, как нечистые духи, черный дым уходил в темное мглистое небо, и колокола паровозов все звонили среди ночи, однообразно и тревожно... Затем Бэффало, весь тоже во мгле и дыму. Потом, уже на заре, в вагоне застучали отодвигаемые окна; повеяло утренней свежестью, американцы высунулись в окна, глядя куда-то с видимым любопытством.

— Найагара, Найагара-фолл,— сказал кондуктор, торопливо проходя вдоль поезда, и тронул лозищанина за рукав, с удивлением глядя на человека, который один сидит в своем углу и не смотрит Ниагару.

Матвей поднялся и заглянул в окно. Было еще темно, поезд как-то робко вползал на мост, висевший над клубящейся далеко внизу быстрой рекой. Мост вздрагивал и напрягался под тяжестью, как туго натянутая струна, а другой такой же мост, кинутый с берега на берег, на страшной высоте, казался тонкой полоской кружева, сквозившей во мгле. Внизу шумело пенистое течение реки, на скалах дремали здания городка, а под ними из камней струилась и падала книзу вода тонкими белыми лентами. Дальше пена реки сливалась с беловатым туманом, который клубился и волновался точно в гигантском кotle, закрывая зрелище самого водопада. Только глухой шум, неустанный, ровный и какой-то безнадежный, рвался оттуда, наполняя трепетом и дрожанием сырой воздух мглистой ночи. Будто в тумане ворочалось и клокотало что-то огромное и глухо стонало, жалуясь, что нет ему покоя от века до века...

Поезд продолжал боязливо ползти над бездной, мост все напрягался и вздрагивал, туман клубился, как дым огромного пожара, и, подымаясь к небу, сливался там с грядой дальних облаков. Потом вагон пошел спокойнее, под колесами зазвучала твердая земля, поезд сошел с моста и потянулся, прибавляя ход, вдоль берега. Тогда стало вдруг светлее, из-за облака, которое стояло над всем пространством огромного водопада, приглушая его грохот, выглянула луна, и водопад оставался сзади, а над водопадом все стояла мглистая туча, соединявшая небо и землю... Казалось, какое-то летучее чудовище припало в этом месте к реке и впилось в нее среди ночи, и ворчит, и роется, и клокочет...

Детройт остался у Матвея в памяти только тем, что железная дорога как будто вся целиком отделилась от земли и вместе с рельсами и поездом поплыла по воде. Это было уже следующей ночью, и на другом берегу реки, на огромном расстоянии разлегся город и тихо пламенел и сверкал синими, белыми, желтыми огнями. Потом поезд пронесся утром мимо Чикаго. На правой стороне чуть не в самые рельсы ударяла синяя волна Мичигана — огромного, как море, и пароход, шедший прямо к берегу, выплывал из-за водного горизонта, большой и странный, точно он взбирался на водяную гору... Еще несколько часов вдоль берега, потом Мильвоки — и дорога отклонилась к западу...

Города становились меньше и проще, пошли леса и речки, потянулись поля и плантации кукурузы... И по мере того, как местность изменялась, как в окна врывался вольный ветер полей и лесов,— Матвей подходил к окнам все чаще, все внимательнее присматривался к этой стране, развертывавшей перед ним, торопливо и мимолетно, мирные картины знакомой лозищанину жизни.

И вместе с тем, понемногу и незаметно, застывшая во вражде душа оскорбленного и загнанного человека начинала как будто таять. В одном месте он чуть не до половины высунулся из окна, провожая взглядом быстро промелькнувшую пашню, на которой мужчины и женщины вязали снопы пшеницы. В другом, опершись на сапы и кирки, смотрели на пробегающий поезд крепкие, загорелые люди, корчевавшие пни поваленного леса. Матвею была знакома эта работа — и ему хотелось бы выскочить из вагона, взять в руки топор или кирку и показать этим людям, что он, Матвей Лозинский, может сделать с самым здоровым пнищем.

Но поезд все звонил и летел, сменяя картину за картиной. Грустные дни чередовались с еще более грустными ночами. И по мере того, как природа становилась доступнее, понятнее и проще, по мере того, как душа лозищанина все более оттаивала и смягчалась, раскрываясь навстречу спокойной красоте мирной и понятной ему жизни; по мере того, как в нем, на месте тупой вражды, вставало, сначала любопытство, а потом удивление и тихое смирение,— по мере всего этого и наряду со всем этим его тоска становилась все острее и глубже. Теперь он чувствовал, что и ему нашлось бы место в этой жизни, если бы он не отвернулся сразу от этой страны, от ее людей,

от ее города, если б он оказал более внимания к ее языку и обычаю, если бы он не осудил в ней сразу, заодно, и дурное и хорошее... А теперь между ним и этой жизнью встало бродяжество и даже, может быть,— преступление...

И люди, хотя часто походили с виду на Падди, начинали все-таки представляться лоziщанину в другом свете. Пока он ехал, переходя с поезда на поезд,— не раз сменилась и публика и кондукторская бригада. Но смеявшиеся пассажиры обращали внимание новых на огромного человека, чувствовавшего себя как будто неловко в своей одежде, робкого, застенчивого и беспомощного, как ребенок. Никто его не тревожил, никто не надоедал никакими расспросами, но каждый раз, как приходилось менять вагон или пересаживаться на другой поезд, к Матвею подходил или кондуктор, или кто-нибудь из соседей, брал его за руку и вел за собою на новое место. Большой человек покорно следовал в таких случаях за ними и глядел на провожавшего застенчивыми, но благодарными глазами.

Кроме того, здесь, в глубине страны, люди не казались уже до такой степени похожими друг на друга, как в том огромном городе, где Матвей испытал столько горестных приключений. В поезд то и дело садились рослые фермеры, загорелые, широкоплечие, в широких сюртуках и с бородами, которые могли бы и на них навлечь остроты нью-йоркских уличных бездельников. Порой суровый квакер в застегнутом до шеи сюртуке, порой степной торговец скотом или охотник из Канады в живописном кожаном костюме, увешанном бахромой и кистями,— выделялись среди остальной публики, привлекая невольное внимание. А один раз у костра сидела в ожидании своего поезда группа бронзовых индейцев, возвращавшихся из Вашингтона, завернувшихся в свои одеяла и равнодушно крививших трубки под взглядами любопытной толпы, высывавшей на это зрелище из поезда...

На одной станции у небольшого города, здания которого виднелись над рекой, под лесом, в вагон, где сидел Матвей, вошел новый пассажир. Это был старик с худощавым лицом, сильно впавшими щеками, тонкими губами и острым проницательным взглядом. Человек вида странного, пожалуй даже смешного, тем более, что одет он был совсем оборванцем, а между тем держал себя уверенно и даже гордо. Его одежда, когда-то, вероятно, черная,— теперь стала серой от солнца, едкой белой пыли и многочисленных

ржавых пятен. Его штаны были коротки, точно надеты с ребенком, и сапоги порыжели еще более, чем у Матвея, у которого они хранили все-таки следы щеток негра Сама на Бродвее. Но на голове незнакомца был надет новенький лоснящийся цилиндр, а во рту торчала большая сигара, наполнявшая вагон тонким ароматом. Матвей удивлялся уже ранее, что здесь, по-видимому, нет особых вагонов для «простого народа», а теперь подумал, что такого молодца в таких штанах, да еще с сигарой,— едва ли потерпят рядом с собой остальные пассажиры, несмотря даже на его новый цилиндр, как будто украденный. Но, к его удивлению, старика почтительно провожали со станции какой-то господин, очень щеголеватый, и кузнец, видимо только что отошедший от горна. Оба они пожимали ему руки на платформе, а когда он вошел в вагон, ближайший молодой человек, тоже одетый весьма старательно, приветливо посторонился, очищая место возле себя... Старик кивнул головой, вынул сигару, сплюнул и протянул молодому человеку руку в щегольской перчатке.

Между тем, поезд опять мчался дальше. Теплый вечер спускался на поля, на леса, на равнины, закутывая все легким сумраком, который становился все синее и гуще. Мерное позванивание локомотива оглашало леса, молчаливо лежавшие по обе стороны дороги. И всякий раз при этом где-нибудь на полянке мелькал огонь, порой горел костер, вокруг которого расположились дровосеки, порой светились окна домов... В одном месте семья садилась за ужин на открытом воздухе. В отворенных настежь дверях стояла женщина с ребенком, и даже пламя свечей не колебалось в тихом лесном затишье.

Матвей глядел на все это с смешанным чувством: чем-то родственным веяло на него от этого простора, где как будто еще только закипала первая борьба человека с природой и ему становилось грустно: так же вот где-нибудь живут теперь Осип и Катерина, а он... что будет с ним в неведомом месте после всего, что он наделал?

Ему стало так горько, что он решил лучше заснуть... И вскоре он действительно спал, сидя и закинув голову назад. А по лицу его, при свете электрического фонаря, проходили тени грустных снов, губы подергивались, и брови сдвигались, как будто от внутренней боли...

Сон не всегда приходит к нам вовремя. Если бы на этот раз Матвей не спал, то мог бы услышать много любопытного, и его похождения кончились бы благополучно и скоро.

Но он спал, когда поезд остановился на довольно продолжительное время у небольшой станции. Невдалеке от вокзала, среди вырубки, виднелись здания из свежесрубленного леса. На платформе царствовало необычайное оживление: выгружали земледельческие машины и камень, слышалась беготня и громкие крики на странном горловом жаргоне. Пассажиры-американцы с любопытством выглядывали в окна, находя, по-видимому, что эти люди суетятся гораздо больше, чем бы следовало при данных обстоятельствах.

— Простите, сэр,— спросил пассажир, ехавший в поезде из Мильвоки,— что это за народ?

— Русские евреи,— ответил спрошенный.— Они основали колонию около Дэбльтоуна...

В это время у открытой боковой двери вагона остались две фигуры и послышались звуки русской речи.

— Слушай, Евгений,— говорил один высоким тенором, с легким гортанным акцентом.— Еще раз: оставайся с нами.

— Нет, не могу,— ответил другой грудным баритоном.— Тянет, понимаешь... Эти последние известия...

— Такая же иллюзия, как и прежде!.. И из-за этих фантазий ты отворачиваешься от настоящего хорошего, живого дела: дать новую родину тысячам людей, произвести социальный опыт...

— Все это так и, при других условиях... Повторяю тебе: тянет. А что касается фантазий, то... во-первых, Самуил, только в этих фантазиях и жизнь... будущего! А во-вторых, ты сам со своим делом...

— All right (готово)! — крикнул кто-то на платформе.

— Please in the cars (прошу в вагоны)! — раздались приглашения кондукторов. Два приятеля крепко обнялись, и один из них вскочил в вагон уже на ходу.

Это был высокий, молодой еще человек, с неправильными, но выразительными чертами лица, в запыленной одежде и обуви, как будто ему пришлось в этот день много ходить пешком. Он положил небольшой узелок на полку, над головой Матвея,— и затем его взгляд упал на лицо

спящего. В это время Матвей, быть может под влиянием этого взгляда, раскрыл глаза, сонные и печальные. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Но затем голова Матвея опять откинулась назад и из его широкой груди вырвался глубокий вздох... Он опять спал.

Пришелец еще несколько секунд смотрел в это лицо... Несмотря на то, что Матвей был теперь переодет и гладко выбрит, что на нем был американский пиджак и шляпа,— было все-таки что-то в этой фигуре, пробуждавшее воспоминания о далекой родине. Молодому человеку вдруг вспомнилась равнина, покрытая глубоким мягким снегом, звон колокольчика, высокий бор по сторонам дороги и люди с такими же глазами, торопливо сворачивающие свои сани перед скачущей тройкой...

Может быть, и Матвею вспомнилось что-нибудь в этом роде. Губы его шевелились и бормотали что-то, и на лице виднелось выражение покорной просьбы.

Всю эту короткую молчаливую сцену наблюдал серый господин в цилиндре своими рысыми глазками, в которых светилось странное выражение — какого-то насмешливого доброжелательства.

— How do you do (здравствуйте), mister Nilof,— окликнул он, видя, что русский его не замечает. Тот вздрогнул и живо повернулся.

— А! Здравствуйте, судья Дикинсон,— ответил он на чистом английском языке, протягивая судье руку.— Простите, я вас не заметил.

— О, это ничего. Вы заинтересовались этим пассажиром?.. Меня он тоже интересует... Он едет, по-видимому, издалека.

— Из Мильвоки,— сказал один из пассажиров.

— О, нет,— вмешался другой.— Я еду из Мильвоки и уже застал его в поезде. Он, кажется, сел в Чикаго, а может быть, и в Нью-Йорке. Он не говорит ни слова по-английски и беспомощен, как ребенок.

— Очевидно иностранец,— сказал судья Дикинсон, меряя спящего Матвея испытующим, внимательным взглядом.— Атлетическое сложение!.. А вы, мистер Нилов, кажется, были у ваших земляков? Как их дела? Я видел: они выписали хорошие машины: лучшая марка в Америке...

— Да... теперь им еще трудно. Но они надеются.

— Читали вы извлечение из отчетов эмиграционного комитета?.. Цифра переселенцев из России растет.

— Да,— кратко ответил Нилов.

— А кстати: в том же номере «Дэбльтоунского курьера» есть продолжение истории нью-йоркского дикаря. И знаете: оказывается, что он тоже русский.

— В таком случае, сэр, он не дикарь,— сказал Нилов сухо.

— Гм... да... Извините, мистер Нилов... Я, конечно, не говорю о культурной части нации. Но... до известной степени все-таки... человек, который кусается...

— Без сомнения, он не кусается, сэр. Не все газетные известия верны.

— Однако... его поступок с полицеменом Гопкинсом?

— Полицемен Гопкинс, судя даже по газетам, первый ударил его по голове клобом... Считаете вы его дикарем?

Серый джентльмен засмеялся и сказал:

— О! Но это немного другое дело... Полицейские этой страны снабжаются клобами для известного употребления... И раз иностранец нарушает порядок...

— Мне очень жаль это слышать от судьи,— сказал Нилов холодно.

Серый джентльмен несколько выпрямился, видимо задетый, и сказал:

— Судью Дикинсона еще никто не упрекал за опрометчивые суждения... в его камере. Здесь мы имеем дело с фактами, как они изложены в газетах... Я вас обидел чем-нибудь, мистер Нилов?

— Вы меня не обидели. Но если вы знаете полицейских вашей страны, то я знаю людей моей родины. И я считаю оскорбительной нелепостью газетные толки о том, что они кусаются. Вполне ли вы уверены, что ваши полицейские не злоупотребляют клобами без причины?

Серый господин вынул изо рта сигару и некоторое время смотрел на собеседника, как будто удивленный неожиданным оборотом разговора.

— Гм... да,— сказал он.— Если взглянуть на дело с этой точки зрения... По совести, я в этом далеко не уверен... И поступи это дело ко мне, я потребовал бы разъяснения... По-видимому, у вас есть идея всего события?

— Да, у меня есть идея события... Я думаю, что мой земляк попал на митинг случайно... И случайно встретился с Гопкинсом.

— Ну, а зачем он наклонился и старался схватить его... гм... одним словом... как это изложено в газетах?

— Правда состоит, вероятно, в том, что он наклонился... К сожалению, сэр, на моей родине люди

действительно кланяются иногда слишком низко...

— Вы думаете? Ха! Это кажется невероятным. Намерение укусить и именно за руку... Это по меньшей мере требовало бы доказательств...

— А если на приветствие последовал хороший удар по голове...

— Ха-ха! Это, конечно, затемняет рассудок и освобождает страсти! Положительно, я считаю дело почти выясненным. Вы были бы отличным адвокатом. О, да! Вы могли бы стать лучшим адвокатом нашего города!.. И если вы все-таки предпочитаете работать на моей лесопилке...

Он стряхнул пепел с своей сигары и впился в лицо Нилова своими живыми, острыми глазками. Затем, оглянувшись на других пассажиров и желая придать разговору больше интимности, он пересел на скамью рядом с Ниловым, положил ему руку на колено и сказал, понизив голос:

— Извините меня, мистер Нилов... Дик Дикинсон человек любопытный. Позволите вы мне предложить вам несколько вопросов, так сказать... личного свойства?

— Сделайте одолжение. Если они будут неудобны, я не отвечу.

— О, конечно, конечно! — засмеялся Дикинсон. — Видите ли: вы третий русский джентльмен, которого я встречаю... Скажите — много американцев видели вы у себя на родине?

— Встречал, хотя... очень немного.

— И наверное они меняли свое среднее положение на лучшие условия у вас?..

— Пожалуй...

— Скажите теперь... Может быть, я ошибаюсь, но... Мне кажется... вы лично не поступили ли наоборот?.. И здесь вы уже несколько раз имели случай скинуть рабочую блузу и сделать лучшую карьеру...

Нилов бросил взгляд на невероятный костюм старого джентльмена и ответил улыбнувшись:

— Я вижу на вас, судья Дикинсон, ваш рабочий костюм.

— О, это немного другое дело, — ответил Дикинсон. — Да, я *был* каменщиком. И я поклялся надевать доспехи каменщика во всех торжественных случаях... Сегодня я был на открытии банка в Н. Я был приглашен учредителями. А кто приглашает Дика Дикинсона, тот приглашает и его старую рабочую куртку. Им это было известно.

— Я очень уважаю эту черту, сэр,— сказал серьезно Нилов.— Но...

— Но, повторяю, это другое дело. Я надеваю старое рабочее платье и лучшие перчатки из Нью-Йорка. Это напоминает мне, чем я был и чем стал, то есть чем именно я обязан моим старым доспехам. Это — мое прошлое и мое настоящее...

Он замолк, пожевал сигару своими тонкими ироническими губами и, пристально глядя на молодого человека, прибавил:

— Вы, кажется, идете обратным путем, и в старости вам, пожалуй, захочется надеть ваш фрак.

— Надеюсь, что нет,— ответил Нилов.— Однако, кажется, поезд останавливается. Это — лесопилка, и я здесь сойду. До свидания, сэр!

— До свидания. Я оставляю еще за собой свои вопросы...

Нилов, снимая свой узел, еще раз пристально и как будто в нерешимости посмотрел на Матвея, но, заметив острый взгляд Дикинсона, взял узел и попрощался с судьей. В эту самую минуту Матвей открыл глаза, и они с удивлением остановились на Нилове, стоявшем к нему в профиль. На лице проснувшегося пропустило как будто изумление. Но, пока он протирал глаза, поезд, как всегда в Америке, резко остановился, и Нилов вышел на платформу. Через минуту поезд несся дальше.

Дикинсон пересел на свое место, и американцы стали говорить об ушедшем.

— Да,— сказал судья,— это третий русский джентльмен, которого я встречаю, и третий человек, которого я не могу понять...

— Быть может... из секты Лео Толстого,— предположил один из собеседников.

— Не знаю... Но он, видимо, получил прекрасное образование,— продолжал Дикинсон задумчиво.— И уже несколько раз, на моих глазах, пропускает прекрасные шансы... Когда я исполнил свой первый небольшой подряд, мистер Дэгласс, инженер, сказал мне: «Я вами доволен, Дик Дикинсон. Скажите мне, в чем ваша амбиция». Я усмехнулся и сказал: «Для первого случая, я не прочь попасть в президенты». Мистер Дэгласс засмеялся тоже и ответил: «Верно, Дик! Не могу поручиться, что вы станете президентом, но вы построите целый город и станете в нем головой...»

— И это оправдалось,— сказал почтительно самый юный из пассажиров.

— Да,— продолжал Дикинсон.— Понять человека, значит узнать, чего он добивается. Когда я заметил этого русского джентльмена, работавшего на моей лесопилке, я тоже спросил у него: *What is your ambition?* И знает, что он мне ответил? «Я надеюсь, что приготовлю вам фанеры не хуже любого из ваших рабочих...»

— Да, все это странно,— сказал один из собеседников.

Между тем, Матвей, который опять задремал в поезде после ухода Нилова,— вздрогнул и забормотал во сне.

— Вот тоже человек, которого трудно понять,— засмеялся один из американцев.

— Я не встречал никого, кто мог бы так много спать в таком неудобном положении.

Судья Дикинсон внимательно посмотрел на Матвея и потом сказал:

— Я готов биться об заклад: на душе этого человека... неспокойно. Я не знаю, куда он едет, но предпочел бы, чтобы он миновал наш город. О! у меня на этот счет верный глаз...

XXIX

Звон раздавался чаще, поезд замедлял ход, кондуктор вошел в вагон и отобрал билеты у серого старика и у его молодого соседа. Потом он подошел к спавшему Матвею и, тронув его за рукав, сказал:

— Дэбльтоун, Дэбльтоун, сэр...

Матвей проснулся, раскрыл глаза, понял и вздрогнул всем телом. Дэбльтоун! Он слышал это слово каждый раз, как новый кондуктор брал билет из-за его шляпы, и каждый раз это слово будило в нем неприятное ощущение. Дэбльтоун, поезд замедлил ход, берут билет, значит, конец пути, значит, придется выйти из вагона... А что же дальше, что его ждет в этом Дэбльтоуне, куда ему взяли билет, потому что до этого места хватило денег...

В окнах вагона замелькали снаружи огни, точно бриллиантовые булавки, воткнутые в темноту гор и лесов. Потом эти огни сбежали далеко вниз, отразились в каком-то клочке воды, потом совсем исчезли, и мимо окна, шипя и гудя, пробежала гранитная скала так близко, что на ней ясно отражался желтый свет из окон вагона... Затем

под поездом загудел мост, опять появились далекие огни над рекой, но теперь они взирались все выше, подбегали все ближе, заглядывая в вагон вплотную и быстро исчезая назади. На паровозе звонили без перерыва, потому что поезд, едва замедливший ход, мчался теперь по главной улице города Дэбльтоуна...

— Видели ли вы, сэр, как этот незнакомец вздрогнул? — спросил молодой человек, очевидно, заискивавший у судьи Дикинсона.

— Я все видел, — ответил старик. — Дик Дикинсон примет свои меры.

Через минуту двери домов в Дэбльтоуне раскрывались, и жители выходили на встречу своих приезжих. Вагон опустел. Молодой человек еще долго кланялся мистеру Дикинсону и напоминал о поклоне мисс Люси. Потом он отправился в город и поселял там некоторое беспокойство и тревогу.

Город Дэбльтоун был молодой город молодого штата. Прошло не более восьми лет с тех пор, как были распланированы его улицы у линии новой железной дороги, и с тех пор городок жил тихою жизнью американского захолустья. Совершенно понятно, что среди однотонной рабочей жизни город Дэбльтоун жадно поглотил известие, что с последним поездом прибыл человек, который не сказал никому ни слова, который вздрагивал от прикосновения, который, наконец, возбудил сильные подозрения в судье Дикинсоне, самом эксцентричном, но и самом уважаемом человеке Дэбльтоуна.

Сойдя с поезда, судья Дикинсон тотчас же подозвал единственного дэбльтоунского полисмена и, указав на фигуру Матвея, нерешительно стоявшего на залитой электрическим светом платформе, сказал:

— Посмотрите, Джон, куда отправится этот приезжий. Надо узнать намерения этого молодца. Боюсь, что нам не придется узнать ничего особенно хорошего.

Полисмен Джон Келли отошел и скрылся под тенью какого-то сарая, гордясь тем, что, наконец, и ему выпало на долю исполнять некоторое довольно тонкое поручение...

Однако Джону Келли скоро стало казаться, что у незнакомца не было никаких намерений. Он просто вышел на платформу, без всякого багажа, только с корзиной в руке, даже, по-видимому, без всякого плана действий и тупо смотрел, как удаляется поезд. Раздался звон, зашипели колеса, поезд пролетел по улице, мелькнул

в полосе электрического света около аптеки, а затем потонул в темноте, и только еще красный фонарик сзади несколько времени посыпал прощальный привет из глубины ночи...

Лозицанин вздохнул, оглянулся и сел на скамью, под забором, около опустевшего вокзала. Луна поднялась на середину неба, фигура полисмена Джона Келли стала выступать из сократившейся тени, а незнакомец все сидел, ничем не обнаруживая своих намерений по отношению к засыпавшему городу Дэблтоуну.

Тогда Джон Келли вышел из засады и, согласно уговору, постучался в окно к судье Дикинсону.

Судья Дикинсон высунул голову с выражением человека, который знал вперед все то, что ему пришли теперь сообщить.

— Ну что, Джон? Куда направился этот молодец?

— Он никуда не отправился, сэр. Он все сидит на том же месте.

— Он все сидит... Хорошо. Обнаружил он чем-нибудь свои намерения?

— Я думаю, сэр, что у него нет никаких намерений.

— У всякого человека есть намерения, Джон,— сказал Дикинсон с улыбкой сожаления к наивности дэблтоунского стражи.— Поверьте мне, у всякого человека неизменно есть какие-нибудь намерения. Если я, например, иду в булочную,— значит, я намерен купить белого хлеба, это ясно, Джон. Если я ложусь в постель,— очевидно, я намерен заснуть. Не так ли?

— Совершенно справедливо, сэр.

— Ну, а если бы... (тут лицо старого джентльмена приняло лукавое выражение), если бы вы увидели, что я хожу в полночь около железнодорожного склада, осматривая замки и двери... Понимаете вы меня, Джон?

— Как нельзя лучше, сэр... Однако... Если человек только сидит на скамье и вздыхает...

— Уэлл! Это, конечно, не так определенно. Он имеет право, как и всякий другой, сидеть на скамье и вздыхать хоть до утра. Посмотрите только, не станет ли он делать чего-нибудь похуже. Дэблтоун полагается на вашу бдительность, сэр! Не пойдет ли незнакомец к реке, нет ли у него сообщников на барках, не ждет ли он случая, чтобы ограбить железнодорожный поезд, как это было недавно около Мадисона... Постойте еще, Джон.

Дик Дикинсон прислушался: к станции подходил поезд.

Судья посмотрел на Джона своими острыми глазками и сказал:

— Джон!

— Слушаю, сэр!

— Я сильно ошибаюсь, если вы найдете его на месте. Он хотел обмануть вашу бдительность и достиг этого. Он, вероятно, сделал свое дело и теперь готовится сесть в поезд. Попспешите.

Окно Дикинсона захлопнулось, а Джон Келли бегом отправился на вокзал. Человек без намерений все сидел на прежнем месте, низко опустив голову. Джон Келли стал искать тени, подлиннее и погуще, чтобы пристроить к ней свою долговязую фигуру. Так как это не удавалось, то Келли решил, что ему необходимо присесть у стены склада. А затем голова Джона Келли сама собой прислонилась к стене, и он сладко заснул. Судья Дикинсон подождал еще некоторое время, но, видя, что полисмен не возвращается, решил, что человек без намерений оказался на месте. Он хотел уже тушить свою лампу, когда ему доложили, что с поезда явился к нему человек по экстренному делу.

Действительно, в его комнату вошел торопливой походкой человек довольно неопределенного вида, в котором, однако, опытный глаз судьи различил некоторые специфические черты детектива (сыщика).

— Вы здешний судья? — спросил незнакомец, поклонившись.

— Судья города Дэбльтоуна, — ответил Дикинсон важно.

— Мне необходим приказ об аресте, сэр.

— А! Я так и думал... Человек высокого роста, атлетического сложения?.. Прибыл с предыдущим поездом?..

Сыщик посмотрел с удивлением на проницательного судью и сказал:

— Как? Вам уже известно, что нью-йоркский дикарь?..

Судья Дикинсон быстро взглянул на сыщика и сказал:

— Ваши полномочия?

Новоприбывший потупился.

— Я так спешно отправился по следам, что не успел запастись специальными приказами. Но история так известна... Дикарь, убивший Гопкинса...

— По последним телеграммам, — сказал холодно судья, — здоровье полисмена Гопкинса находится в отличном состоянии. Я спрашиваю ваши полномочия?

— Я уже сказал вам, сэр... Дело очень важное, и притом — он иностранец.

— Иначе сказать,— вы часто облегчаете себе задачу с иностранцами. Я не дам приказа.

— Но, сэр... это опасный субъект.

— Полиция города Дэбльтоуна исполнит свой долг, сэр,— сказал судья Дикинсон надменно.— Я не допущу, чтобы впоследствии писали в газетах, что в городе Дэбльтоуне арестовали человека без достаточных оснований.

Незнакомец вышел, пожав плечами, и отправился прежде всего на телеграф, а судья Дикинсон лег спать, совершенно уверенный, что теперь у полиции города Дэбльтоуна есть хорошая помощь по надзору за человеком без намерений. Но прежде, чем лечь, он послал еще телеграмму, вызывавшую на завтра мистера Евгения Нилова...

XXX

Наутро Джон Келли явился к судье.

— Ну, что скажете, Джон? — спросил у него Дикинсон.

— Все в порядке, сэр. Только... Там за ним следит еще кто-то.

— Знаю. Человек небольшого роста, в сером костюме.

Джон Келли с благоговением посмотрел на всезнающего судью и продолжал:

— Он все сидит, сэр, опустив голову на руки. Когда поутру проходил железнодорожный сторож, он только посмотрел на него. «Как больная собака», — сказал Вилльямс.

— И ничего больше?

— Около незнакомца собирается толпа... Вся площадка и сквер около вокзала заняты народом, сэр.

— Что им нужно, Джон?

— Они, вероятно, тоже хотят узнать его намерения... И притом, разнесся слух, будто это дикарь, убивший полисмена в Нью-Йорке...

Донесение Джона было совершенно справедливо. За ночь слухи о том, что с поездом прибыл странный незнакомец, намерения которого возбудили подозрительность мистера Дикинсона, успели вырасти, и наутро, когда оказалось, что у незнакомца нет никаких намерений и что

он просидел всю ночь без движения,— город Дэбльтоун пришел в понятное волнение. Около странного человека стали собираться кучки любопытных, сначала мальчики и подростки, шедшие в школы, потом приказчики, потом дэбльтоунские дамы, возвращавшиеся из лавок и с базаров,— одним словом, весь Дэбльтоун, постепенно просыпавшийся и принимавшийся за свои обыденные дела, перебывал на площадке городского сквера, у железнодорожной станции, стараясь, конечно, проникнуть в намерения незнакомца...

Но это было очень трудно, так как незнакомец все сидел на месте, вздыхал, глядел на проходящих и порой отвечал на вопросы непонятными словами. А между тем, у Матвея к этому времени уже было намерение. Рассмотрев внимательно свое положение в эту долгую ночь, пока город спал, а невдалеке сновали тени полицейского Келли и приезжего сыщика,— он пришел к заключению, что от судьбы не уйдешь, судьба же представлялась ему, человеку без языка и без паспорта,— в виде неизбежной тюрьмы... Он долго думал об этом и решил, что, раньше или позже, а без знакомства с американской кутузкой дело обойтись не может. Так пусть уж лучше раньше, чем позже. Он покажет знаками, что ничего не понимает, а об истории в Нью-Йорке здесь, конечно, никто не знает... Поэтому он даже вздохнул с облегчением и с радостной доверчивостью поднялся навстречу добродушному Джону Келли, который шел к нему, расталкивая толпу.

Судья Дикинсон вышел в свою камеру, когда шум и говор раздались у его дома и в камеру ввалилась толпа. Незнакомый великан кротко стоял посередине, а Джон Келли сиял торжеством.

— Он обнаружил намерение, господин судья,— сказал полисмен, выступая вперед.

— Хорошо, Джон. Я знал, что вы оправдываете доверие города... Какое же именно намерение он обнаружил?

— Он хотел укусить меня за руку.

Мистер Дикинсон даже откинулся на своем кресле.

— Укусить за руку?.. Так это все-таки правда! Уверены ли вы в этом, Джон Келли?

— У меня есть свидетели...

— Хорошо. Мы спросим свидетелей. Случай требует внимательного расследования. Не пришел еще мистер Нилов?..

Нилова еще не было. Матвей глядел на все проис-

ходившее с удивлением и неудовольствием. Он решил идти навстречу неизбежности, но ему казалось, что и это делается здесь как-то не по-людски. Он представлял себе это дело гораздо проще. У человека спрашивают паспорт, паспорта нет. Человека берут, и полицейский, с книгой под мышкой, ведет его куда следует. А там уж что будет, то есть как решит начальство.

Но здесь и это простое дело не умеют сделать как следует. Собралась зачем-то толпа, точно на зверя, все валят в камеру, и здесь сидит на первом месте вчерашний оборванец, правда, теперь одетый совершенно прилично, хотя без всяких знаков начальственного звания. Матвей стал озираться по сторонам с признаками негодования.

Между тем, судья Дикинсон приступил к допросу.

— Прежде всего установим национальность и имя,— сказал он.— Your name (ваше имя)?

Матвей молчал.

— Your nation (ваша национальность)? — И, не получая ответа, судья посмотрел на публику.— Нет ли здесь кого-нибудь, знающего хоть несколько слов по-русски? Миссис Брайс! Кажется, ваш отец был родом из России?..

Из толпы вышла женщина лет сорока, небольшого роста, с голубыми, как и у Матвея, хотя и значительно выцветшими глазами. Она стала против Матвея и как будто начала припоминать что-то.

В камере водворилось молчание. Женщина смотрела на лозищанина, Матвей впился глазами в ее глаза, тусклые и светлые, как лед, но в которых пробивалось что-то, как будто старое воспоминание. Это была дочь поляка-эмигранта. Ее мать умерла рано, отец спился где-то в Калифорнии, и ее воспитали американцы. Теперь какие-то смутные воспоминания шевелились в ее голове. Она давно забыла свой язык, но в ее памяти еще шевелились слова песни, которой мать забавляла когда-то ее, малого ребенка. Вдруг глаза ее засветились, и она приподняла над головой руку, щелкнула пальцами, повернулась и запела по-польски, как-то странно, точно говорящая машина:

Наша мат-ка... ку-ропат-ка...
Рада бить дет-ей...

Матвей вздрогнул, рванулся к ней и заговорил быстро и возбужденно. Звуки славянского языка дали ему на-

дежду на спасение, на то, что его, наконец, поймут, что ему найдется какой-нибудь выход...

Но глаза женщины уже потухли. Она помнила только слова песни, но и в ней не понимала ни слова. Потом поклонилась судье, сказала что-то по-английски и отошла...

Матвей кинулся за ней, крича что-то, почти в исступлении, но немец и Келли загородили ему дорогу. Может быть, они боялись, что он искусает эту женщину, как хотел укусить полисмена.

Тогда Матвей схватился за ручку скамейки и пошатнулся. Глаза его были широко открыты, как у человека, которому представилось страшное видение. И действительно,— ему, голодному, истерзанному и потрясеному, первый раз в жизни привиделся сон наяву. Ему представилось совершенно ясно, что он еще на корабле, стоит на самой корме, что голова у него кружится, что он падает в воду. Это снилось ему не раз во время путешествия, и он думал после этого, что чувствуют эти бедняки, с разбитых кораблей, одни, без надежды, среди этого бездурного, бесконечного и грозного океана...

Теперь этот самый сон проносился перед его широко открытыми глазами. Вместо судьи Дикинсона, вместо полицейского Келли, вместо всех этих людей, вместо камеры,— перед ним ясно ходили волны, пенистые, широкие, холодные, без конца, без края... Они ходят, грохочут, плещут, подымаются, топят... Он напрасно старается вынырнуть, крикнуть, позвать, схватиться, удержаться на поверхности... Что-то тянет его книзу. В ушах шумит, перед глазами зеленая глубина, таинственная и страшная. Это гибель. И вдруг к нему склоняется человеческое лицо с светлыми застывшими глазами. Он оживает, надеется, он ждет помощи. Но глаза тусклы, лицо бледно. Это лицо мертвеца, который утонул уже раньше...

Вся эта картина мелькнула на одно мгновение, но так ясно, что его сердце сжалось ужасом. Он глубоко вздохнул и схватился за голову... «Господи боже, святая дева,— бормотал он,— помогите несчастному человеку. Кажется, что в голове у меня неладно...»

Он протер глаза кулаком и опять стал искать надежду на лицах этих людей.

А в это время полицейский Джон объяснил судье Дикинсону, при каких обстоятельствах обнаружились намерения незнакомца. Он рассказал, что, когда он подошел

к нему, тот взял его руку вот так (Джон взял руку судьи), потом наклонился вот этак...

И полицейский Джон, наклонившись к руке судьи, для большей живости оскалил свои белые зубы, придав всему лицу выражение дикой свирепости.

Эта демонстрация произвела сильное впечатление на публику, но впечатление, произведенное ею на Матвея, было еще сильнее. Этот язык был и ему понятен. При виде маневра Келли, ему стало сразу ясно очень многое: и то, почему Келли так резко отдернул свою руку, и даже за что он, Матвей, получил удар в Центральном парке... И ему стало так обидно и горько, что он забыл все.

— Неправда,— крикнул он,— не верьте этому подлому человеку...

И, возмущенный до глубины души клеветой, он кинулся к столу, чтобы показать судье, что именно он хотел сделать с рукой полисмена Келли...

Судья Дикинсон вскочил со своего места и наступил при этом на свою новую шляпу. Какой-то дюжий немец, Келли и еще несколько человек схватили Матвея сзади, чтобы он не искал судью, выбранного народом Дэбльтоуна; в камере водворилось волнение, небывалое в летописях города. Ближайшие к дверям кинулись к выходу, толпились, падали и кричали, а внутри происходило что-то непонятное и страшное...

Измученный, голодный, оскорбленный, доведенный до исступления,— лозищанин раскидал всех вцепившихся в него американцев, и только дюжий, как и он сам, немец еще держал его сзади за локти, упираясь ногами... А он рвался вперед, с глазами, налившимися кровью, и чувствуя, что он действительно начинает сходить с ума, что ему действительно хочется кинуться на этих людей, бить и, пожалуй, кусаться...

Неизвестно, что было бы дальше. Но в это время в камеру быстро вошел Нилов. Он протолкался к Матвею, стал перед ним и спросил с участием, по-русски:

— Эй, земляк! Что это вы тут натворили?

При первых звуках этого голоса Матвей рванулся и, припав к руке новопришедшего, стал целовать ее, рыдая, как ребенок...

Через четверть часа камера мистера Дикинсона опять стала наполняться обывателями города Дэбльтоуна, узнавшими, что по обстоятельствам дела намерение незнакомца разъяснилось в самом удовлетворительном смысле.

В лице русского джентльмена, работающего на лесопилке, он нашел земляка и адвоката, которому не стоило много труда опровергнуть обвинение. Судья Дикинсон получил вполне удовлетворительные ответы на вопросы: «Your пате?», «Your патиоп?» и на все другие, вытекавшие из обстоятельств дела. Гордый полным успехом, увенчавшим его разбирательство,— он великодушно забыл даже о новой шляпе и, быстро покончив с официальными отношениями, протянул обвиняемому руку, выразив при этом уверенность, что выбор именно Дэбльтоуна из всех городов союза делает величайшую честь его проницательности... В заключение он предложил Матвею партикулярный вопрос:

— Гоу до ю лайк дис кэунтри, сэр?

— Он хочет знать, как вам понравилась Америка? — перевел Нилов.

Матвей, который все еще дышал довольно тяжело, махнул рукой.

— А! чтоб ей провалиться,— сказал он искренно.

— Что сказал джентльмен о нашей стране? — с любопытством переспросил судья Дикинсон, одновременно возбудив великое любопытство в остальных присутствующих.

— Он говорит, что ему нужно время, чтобы оценить все достоинства этой страны, сэр...

— Вэри уэлл! Ответ, совершенно достойный благородного джентльмена! — сказал Дикинсон тоном полного удовлетворения.

XXXI

На следующий день газета города Дэбльтоуна вышла в увеличенном формате. На первой странице ее красовался портрет мистера Мэтью, нового обитателя славного города, а в тексте, снабженном достаточным количеством весьма громких заглавий, редактор ее обращался ко всей остальной Америке вообще и к городу Нью-Йорку в особенности. «Отныне,— писал он,— город Дэбльтоун может гордиться тем обстоятельством, что его судья, мистер Дикинсон, удачно разрешил вопрос, над которым тщетно ломали головы лучшие ученые этнографы Нью-Йорка. Знаменный дикарь, виновник инцидента в Central park'е, известие о котором обошло всю Америку в столь искаженном виде, в настоящее время является гостем нашего города. После

весьма искусного расследования, произведенного чрезвычайно сведущим в своем деле судьей, мистером Дикинсоном,— он оказался русским, уроженцем Лозицанской губернии (одной из лучших и самых просвещенных в этой великой и дружественной стране), христианином и,— добавим от себя,— очень кротким человеком, весьма приятным в обращении и совершенно лояльным. Он обнаружил истинно христианскую радость, узнав о том, что здоровье полисмена Гопкинса, считавшегося убитым, находится в вожделенном состоянии и что этот полисмен уже приступил к исполнению своих обычных обязанностей. Тем лучше для полисмена Гопкинса, но, смеем прибавить, основываясь на мнении лучших юристов нашего города, что в этом вопросе является заинтересованным лицом единственno лишь сам полисмен Гопкинс, так как он сам виновен в постигшем его несчастии. Да, повторяем, он сам виновен, так как первый ударил клюбом по голове мирного иностранца, обратившегося к нему с выражением любви и доверия. Если судьи города Нью-Йорка думают иначе, если адвокат этого штата пожелает доказывать противное или сам полисмен Гопкинс вознамерится искать убытки, то они будут иметь дело с лучшими юристами Дэбльтоуна, выразившими готовность защищать обвиняемого безвозмездно. Едва ли, однако, в этом представится надобность после того, как мы разоблачим на этих столбцах еще одну клевету, которой наши нью-йоркские собратья по перу, без достаточной проверки, очернили репутацию Мэтью Лозинского, нашего уважаемого гостя и, надеемся — будущего согражданина. Дело в том, что он *вовсе не кусается*. Движение, которое полисмен Гопкинс истолковал в этом позорном смысле (что вовсе не делает чести проницательности нью-йоркской полиции), — имеет, наоборот, значение самого горячего привета и почтения, которым в Лозицанской губернии обмениваются взаимно люди самого лучшего круга. Он просто наклонился, чтобы поцеловать у Гопкинса руку. То же движение мы имели случай наблюдать с его стороны по отношению к судье Дикинсону, полисмену Джону Келли, а также к одному из его соотечественников, занимающему ныне очень скромное положение на лесопилке мистера Дикинсона, но которому его таланты и образование, без сомнения, откроют широкую дорогу в этой стране. Нет сомнения, что если бы и у нас на это выражение высшей деликатности последовал грубый ответ по голове клюбом, то полисмен города Дэбльтоуна испытал бы горькую судьбу полисмена города

Нью-Йорка, так как русский джентльмен обладает необыкновенной физической силой. Но Дэбльтоун,— говорим это с гордостью,— не только разрешил этнографическую загадку, оказавшуюся не по силам кичливому Нью-Йорку,— но еще подал сказанному городу пример истинно христианского обращения с иностранцем,— обращения, которое, надеемся, изгладит в его душе горестные воспоминания, порожденные пребыванием в Нью-Йорке.

Из судебной камеры мистер Нилов,— русский джентльмен, о котором сказано выше,— увел соотечественника в свое жилище, находящееся в небольшом рабочем поселке, около лесопилки. Значительная часть населения города Дэбльтоуна, состоявшая преимущественно из юных джентльменов и леди, провожала их до самого дома одобрительными криками, и даже после того, как дверь за ними закрылась, народ не расходился, пока мистер Нилов не вышел вновь и не произнес небольшого спича на тему о будущем процветании славного города... Он закончил просьбой дать отдых его скромному соотечественнику, не привыкшему к столь шумным изъявлениям общественной симпатии».

Разумеется, автор красноречивой статьи не знал, что, когда граждане города Дэбльтоуна разошлись, Матвей вздохнул с облегчением и сказал:

— Что?.. совсем ушли?

— Да,— ответил Нилов, принявшийся готовить кофе на керосинке.

— А, чтобы их всех взяла холера!..— от души сказал Матвей и как-то весь опустился.

Нилов только улыбнулся и не сказал ничего; он понимал, что столько пережитых ощущений могут свалить даже такого сильного человека. Поэтому он наскоро налил его горячим кофе и уложил спать.

XXXII

Матвей проспал целые сутки и даже несколько больше. Когда он проснулся, солнце уходило из светлой каморки, озаряя ее последними лучами. Нилов, вернувшийся с работы, снимал с себя синюю блузу, всю в стружках и опилках. Стружки видны были даже в его волосах.

Матвей некоторое время не мог сообразить, где он и что с ним происходит. Поэтому сначала он смотрел

прищуренными глазами, как-то подозрительно следя за движениями молодого человека, боясь, что это сон, который сейчас сменится новой кутерьмой неприятного свойства.

Между тем, Нилов тихонько переоделся, сменив рабочий костюм легкой фланелевой парой, и, сев к столу, раскрыл какую-то книгу.

В этом виде он совсем не напоминал рабочего, и в памяти лозищанина ожил опять мимолетный образ, который мелькнул уже раз в вагоне. Ему вспомнился барский дом около Лозищей, выглядывавший из-за зелени сада. Между этим домом и поселком шла давняя вражда и долгая тяжба из-за чиншевых земель. Она началась при отцах, продолжалась при детях и склонялась то на ту, то на другую сторону. Дело грозило большими запутанностями и неприятностями, как вдруг старый барин умер. В Лозищах явился его наследник и, созвав сход, предложил покончить спор, уступив по всем пунктам. Некоторое время лозищане еще шумели и упирались, не понимая причин этой уступчивости.

Но потом более проницательные люди сообразили, что, вероятно, барчук прокутился, наделал долгов и хочет поскорее спустить отцовское наследие, чему мешает тяжба. Лозищане постарались оттянуть еще, что было можно, и дело было кончено. После этого барчук исчез куда-то, и о нем больше не было слышно ничего определенного. Остались только какие-то смутные толки, довольно разноречивые, но во всех версиях неблагоприятные для молодого человека.

И вот теперь Матвею показалось, что перед ним этот самый человек, только что снявший рабочую блузу и сидящий за книгой. Он так удивился этому, что стал прорицать глаза. Кровать под ним затрещала. Нилов повернулся.

— Что, земляк, выспались? — спросил он приветливо. — Ну, теперь давайте пить кофе.

Лозинский поднялся застенчиво и неловко, расправляя онемевшие члены. Вчера он обрадовался этому человеку, как избавителю, сегодня чувствовал себя как-то неловко в его присутствии. К тому же он увидел с смущением, что в комнате не было другой кровати, — значит, хозяин уступил свою, а его ноги были босы, — значит, Нилов снял с него, сонного, сапоги. Правда, он не разувался во все время долгого пути, и от этого ноги его горели... Но все-таки эти за-

боты причинили ему скорее неудовольствие. Он был теперь уверен, что это лозицанский барчук и что толки были правдивы; он, значит, действительно спустил все отцовское наследие и теперь несет участь блудного сына на чужой стороне. Но так как все-таки он оказал ему услугу и притом был барин, то Лозинский решил не подавать и виду, что узнал его, но в его поведении сквозило невольное почтение. Это вносило какое-то замешательство и неопределенность в их взаимные отношения. Нилов вел себя просто, но сдержанно, Матвей конфузился и уходил в себя.

На следующий день, вернувшись с лесопилки, Нилов сказал, что Матвей может, если желает, получить работу: носить лес с барок. Матвей, конечно, согласился с радостью, и вскоре недавняя знаменитость, человек, о котором говорили все газеты Америки, скромно переносил лес с барок на берег речки. Его сила и уверенность его обращения с тяжелыми дубовыми бревнами доставили ему повышение, и, спустя недели две, он работал уже рядом с Ниловым, подавая лес на зубчатые колеса, где Нилов резал его на тонкие фанеры. К вечеру, оба засыпанные опилками, они возвращались домой.

Матвей нанял комнату рядом с Ниловым, обедать они ходили вместе в ресторан. Матвей не говорил ничего, но ему казалось, что обедать в ресторане — чистое безумие, и он все подумывал о том, что он устроится со временем поскромнее. Когда пришел первый расчет, он удивился, увидя, что за расходами у него осталось еще довольно денег. Он их припрятал, купив только смену белья.

Еще через неделю Нилов сказал ему, что они отправятся вместе в Дэблтоун, где он, Нилов, будет читать лекцию. Они пришли в большой зал, весь набитый народом, который встретил их криками и свистом (в Америке это — выражение одобрения). Затем все стихло, судья Дикинсон сказал несколько слов, указывая то на Матвея, то на Нилова, а затем последний стал долго и свободно рассказывать что-то, по временам показывая места на большой карте. Публика, состоявшая в большинстве из рабочих людей, слушала с напряженным вниманием и в конце опять устроила им овацию...

Когда после этого они пришли домой, Нилов вынул кучку денег и, разделив ее на две половины, одну отдал Матвею.

— Это мы с вами заработали сегодня, — сказал он. — Это плата за лекцию. Я говорил им о нашей родине

и о ваших похождениях. По справедливости, половина принадлежит вам.

Матвей пробовал было отказаться, но потом принял деньги. За это время его отношение к Нилову сильно изменилось, и хотя он не все понимал, однако совершенно отбросил мысль о блудном сыне. Получив деньги, он сконфуженно смотрел на Нилова... Ему хотелось бы выразить как-нибудь свою благодарность и почтение... Губы его тянулись к руке Нилова, колени подгибались для земного поклона... Но в лице Нилова, а может быть, и в тех неделях, которые они уже провели вместе, было что-то, удержавшее Матвея от этого излияния. Поэтому он взял деньги и, положив их около себя, сказал:

— А что... извините и не подумайте чего худого... Тут очень много денег?

— Не очень много, но достаточно, чтобы сделать себе хорошую пару платья,— ответил Нилов.— Вы ходите в одном и на работу и в праздник.

— А! — сказал Матвей, махнув рукой.— Я простой человек, работник.

— Здесь все простые люди и работники считают себя не хуже других и не хотят ничем отличаться по внешности. Я советую вам обзавестись бельем и платьем.

Матвей потупился.

— Простите меня,— сказал он.— Я не то, чтобы там... не слушался вас или что... Но... скажите: можно здесь работой скопить на дорогу?

— Куда?

— Назад, на родину!...— сказал Матвей страстно.— Видите ли, дома я продал и избу, и коня, и поле... А теперь готов работать, как вол, чтобы вернуться и стать хоть последним работником там, у себя на родной стороне...

Нилов прошелся по комнате, о чем-то думая, и потом, остановившись против Лозинского, сказал:

— Слушайте, Лозинский. Заработать столько можно. Можно со временем и вернуться. Но... всякий человек должен знать, что он делает. Зачем вы ехали сюда?

— А! — ответил Матвей, махнув рукой.— Мало ли что приходит человеку в голову.

— Постарайтесь вспомнить, что вам приходило в голову.

Матвей наморщил лоб и сам удивился тому, как трудно идут из головы слова и мысли.

— А! Хотелось человеку, конечно... клок вольной земли, чтобы было где разойтись плугом... Ну там... пару волов, хорошего коня... корову... крепкую телегу...

— А еще?

Матвей чувствовал, что за всеми перечисленными предметами в душе остается еще что-то, какой-то неясный осадок... Мелькнуло лицо Анны...

— Ну, потом...— продолжал он с усилием,— человек уже в возрасте. Своя хата, значит, уже и своя жена.

— И еще что-нибудь?

— Еще... если бы можно было молиться по-старому в своей церкви...

В голове его мелькнули еще разговоры о свободе, но это было уже так неясно и неопределенно, что он не сказал об этом ни слова.

Нилов подождал еще. Лицо его было серьезно и несколько взволнованно.

— Все это вы можете найти здесь! — сказал он решительно и резко,— все, что вы искали. Зачем же вам уезжать?

И видя, что Матвей несколько огорчен его резким тоном, он прибавил:

— Вы пережили самое трудное: первые шаги, на которых многие здесь гибнут. Теперь вы уже на дороге. Поживите здесь, узнайте страну и людей... И если все-таки вас потянет и после этого... Потянет так, что никто не в состоянии будет удержать... Ну, тогда...

В голосе Нилова звучало какое-то страстное возбуждение. Матвей заметил это и сказал:

— А вы сами... извините... ведь вы хотите уехать.

Лицо Нилова опять слегка омрачилось.

— Да,— ответил он.— У меня свои причины...

— Значит... вы не нашли для себя то, чего искали?

Нилов распахнул окно и некоторое время смотрел в него, подставляя лицо ласковому ветру. В окно глядела тихая ночь, сияли звезды, невдалеке мигали огни Дэбльтоуна, трубы заводов начинали куриться: на завтра разводили пары после праздничного отдыха.

— Здесь есть то, чего я искал,— ответил Нилов, повернув от окна взволнованное и покрасневшее лицо.— Но... слушайте, Лозинский. Мы до сих пор с вами играли в прятки... Ведь вы меня узнали?

— Я узнал вас,— смущенно сказал Матвей.

— И я вас узнал также. Не знаю, поймете ли вы меня,

но... за то одно, что мы здесь встретились с вами... и с другими, как равные... как братья, а не как враги... За это одно я буду вечно благодарен этой стране...

Матвей слушал с усилием и напряжением, не вполне понимая, но испытывая странное волнение...

— А если я все-таки еду обратно,— продолжал Нилов,— то... видите ли... Здесь есть многое, чего я искал, но... этого не увезешь с собою... Я уже раз уезжал и вернулся... Есть такая болезнь... Ну, все равно. Не знаю, поймете ли вы меня теперь. Может, когда-нибудь поймете. На родине мне хочется того, что есть здесь... Свободы, своей, понимаете? Не чужой... А здесь... Здесь мне хочется родины...

Нилов смолк, и после этого оба они долго еще смотрели в окно на ночное небо, на тихую, ласковую ночь чужой стороны. Нилов думал о том, что скоро он покинет все это и оставит назад целую полосу своей жизни. А Матвею почему-то вспомнилось море и его глубина, загадочная, таинственная, непонятная... Так же непонятно казалось ему теперь многое в жизни, и так же манило еще смутную мысль... И, вспоминая недавний разговор, он чувствовал, что не знал хорошо себя самого и что за всем, что он сказал Нилову,— за коровой, и хатой, и полем, и даже за чертами Анны — чудится еще что-то, что манило его и манит, но что это такое — он решительно не мог бы ни сказать, ни определить в собственной мысли... Но было это глубоко, как море, и заманчиво, как дали просыпающейся жизни...

XXXIII

Наша правдивая история близится к концу. Через некоторое время, когда Матвей несколько узнал язык, он перешел работать на ферму к дюжему немцу, который, сам страшный силач, ценил и в Матвея его силу. Здесь Матвей ознакомился с машинами, и уже на следующую весну Нилов, перед своим отъездом, пристроил его в еврейской колонии инструктором. Сам Нилов уехал, обещав написать Матвею после приезда.

О жизни Матвея в колонии, а также историю американской жизни Нилова мы, быть может, расскажем в другой раз. А теперь нам придется досказать немного.

Статья «Дэбльтоунского курьера» об окончании похождений «дикаря» была перепечатана в нескольких газетах преимущественно провинциальных городов, недовольных «кичливостью» нью-йоркцев, впавших в данном

случае в такую грубую ошибку. Нью-йоркские газеты обмолвились о ней лишь краткими и довольно сухими извлечениями фактического свойства, так как в это время на поверхности политической жизни страны появился один из крупных вопросов, поднявших из глубины взволнованного общества все принципы американской политики... нечто вроде бури, точно вихрем унесшей и портреты «дикаря», и веселое лицо мисс Лиззи, устроившей родителям сюрприз, и многое множество других знаменитостей, которые, как мотыльки, летают на солнышке газетного дня, пока их не развеет появление на горизонте первой тучи.

О Матвее и его истории скоро забыли, и ни Дыма, ни Анна не узнали, что он очутился в Дэбльтоуне и потом перешел в колонию, что здесь он был приписан к штату и подавал свой голос, после мучительных колебаний и сомнений (ему все вспоминалась история Дымы в Нью-Йорке). И понемногу даже лицо его изменялось, менялся взгляд, выражение лица, вся фигура. А в душе всплывали новые мысли о людях, о порядках, о вере, о жизни, о боге, которому поклоняются, хотя и разно, по всему лицу земли, о многом, что никогда не приходило в голову в Лозищах. И некоторые из этих мыслей становились все яснее и ближе...

А Анна все жила в том же доме под № 1235, только барыня становилась все менее довольна ею. Она два раза уже сама прибавляла ей плату, но «благодарности» как-то не видела. Наоборот, у Анны все больше портился характер, являлась беспредметная раздражительность и недостаток почтительности.

— Что делать... правду говорят, что это здесь в воздухе,— говорил муж старой барыни, а изобретатель, все сидевший над чертежами и к которому старая барыня обращалась иногда с жалобами, зная его влияние на Анну,— только пожимал плечами.

— Я теперь далек от всего этого,— говорил он,— но когда-то... одним словом, я думаю, что ей просто хотелось бы... собственной своей жизни... Понимаете ли вы: собственной своей жизни...

— Скажите, пожалуйста,— отвечала барыня с искренним изумлением.— Не обязана ли я ей доставлять, кроме десяти долларов, еще собственную жизнь...

— Ну, это теперь меня не касается,— отвечал старый господин.— Все это разрешит наука. Все: и ее, и вас, и всех. Дело, видите ли, в том, что...

Ученый повернулся на стуле и сказал серьезным тоном:

— Человек изобретает нужную ему машину... Это мы все отлично знаем. А думали ли вы когда-нибудь о том, что и машина, в свою очередь, изобретает... вернее сказать, вырабатывает нужного ей человека... Вы удивлены?.. А между тем это можно доказать с математической точностью. Стоит усвоить эту великую истину, и все решено: вся задача сводится к тому, чтобы изобрести такую универсальную машину, которой нужен только свободный человек, понимаете? Тогда и только тогда разрешатся все эти мучительные вопросы... В этом будущем строе не будет уже ни господ, ни прислуги, ни рабовладельцев с их смешными притязаниями, ни рабов с их завистью и враждой... Понимаете вы меня?..

Старый господин приподнял очки и простодушно-радостным взглядом посмотрел в лицо хозяйки. Но на этом лице виднелось лишь негодование.

— Благодарю покорно! — сказала она.— Хорош ваш будущий строй... без прислуги! Я лучше согласна остаться при старом...

А дело с Анной шло все хуже и хуже...

Через два года после начала этого рассказа два человека сошли с воздушного поезда на углу 4 avenue и пошли по одной из перпендикулярных улиц, разыскивая дом № 1235. Один из них был высокий блондин с бородой и голубыми глазами, другой — брюнет, небольшой, но очень юркий, с бритым подбородком и франтовски подвитыми усами. Последний вбежал на лестницу и хотел позвонить, но высокий товарищ остановил его.

Он взошел на площадку и оглянулся вдоль улицы. Все здесь было такое же, как и два года назад. Так же дома, точно близнецы, походили друг на друга, так же солнце освещало на одной стороне опущенные занавески, так же лежала на другой тень от домов...

Глаза его с волнением видели здесь следы прошлого. Вот за углом как будто мелькнула чья-то фигура. Вот она появляется из-за угла, ступая так тяжело, точно на ногах у нее пудовые гири, и человек идет, с тоской оглядывая незнакомые дома, как две капли воды похожие друг на друга... «Все здесь такое же,— думал про себя Лозинский,— только... нет уже того человека, который блуждал по этой улице два года назад, а есть другой...»

Звонок затрещал, дверь открылась, из-за нее выглянуло лицо Анны, и дверь опять захлопнулась, заглушив

испуганный крик девушки, точно она увидела призрак. Потом она опять выглянула в щелку и сказала:

— Вы?.. Неужели это вы?

Старая барыня тоже с большим удивлением встретила этого человека и с трудом узнавала в нем простодушного лозищанина в белой свите и грубых сапогах, когда-то так почтительно поддерживавшего ее взгляды на американскую жизнь и на основы общественности. Она внимательно присматривалась к нему сквозь свои очки и искренно находила, что он стал гораздо хуже. Правда, в нем не было вызывающей резкости и задора молодого Джона, но не было также ласковой и застенчивой покорности прежнего Матвея, которая так приятно ласкала глаз старой барыни. Кроме того, она находила, что черный сюртук сидел на нем, «как на корове седло».

— Садитесь, пожалуйста,— сказала она с легким оттенком иронии. Но она чувствовала с некоторой досадой, что ей все-таки неловко было бы оставить стоять этого человека.

В сущности, она была человек недурной, и, когда Анна заявила ей об отказе от службы,— она поняла, что теперь у Анны есть уважительная причина...

— Ну, вот — она нашла себе «свою собственную жизнь»,— сказала она с оттенком горечи ученому господину, когда Анна попрощалась с ними.— Теперь посмотрим, что вы скажете: пока еще явится ваш будущий строй, а сейчас вот... некому даже убрать комнату.

— Гм... да...— задумчиво ответил изобретатель...— Надо признать, что в этом есть доля неприятности. Конечно, со временем все это устроится несомненно... Но... действительно, трудно будет придумать машину, которая бы делала это так приятно и ловко,— как эта милая девушка...

Несколько дней после этого ученый чувствовал себя не в своей тарелке и находил, что даже выкладки даются ему как-то труднее.

— Гм... да... я должен признаться,— говорил он старой барыне.— Мне недостает ее лица и ее добрых синих глаз... Конечно, со временем все заменят машины...

Но тут он оборвал фразу под упорным ироническим взглядом старой барыни, которая прощедила сквозь зуны:

— Даже синие глаза? Ну, это-то уж едва ли...

Перед отъездом из Нью-Йорка Матвей и Анна отправились на пристань — смотреть, как подходят корабли

из Европы. И они видели, как, рассекая грудью волны залива, подошел морской гигант, и как его опять подвели к пристани, и по мосткам шли десятки и сотни людей, неся сюда и свое горе, и свои надежды, и ожидания...

Сколько из них погибнет здесь, в этом страшном людском океане?..

Матвею становилось грустно. Он смотрел вдаль, где за синею дымкой легкого тумана двигались на горизонте океанские волны, а за ними мысль, как чайка, летела дальше на старую родину... Он чувствовал, что сердце его сжимается сильно, жгучею печалью...

И он понимал, что это оттого, что в нем родилось что-то новое, а старое умерло или еще умирает. И ему до боли жаль было многоного в этом умирающем старом; и невольно вспоминался разговор с Ниловым и его вопросы. Матвей сознавал, что вот у него есть клок земли, есть дом, и телки, и коровы... Скоро будет жена... Но он забыл еще что-то, и теперь это что-то плачет и тоскует в его душе...

Уехать... туда... назад... где его родина, где теперь Нилов со своими вечнымиисканиями!.. Нет, этого не будет: все порвано, многое умерло и не оживет вновь, а в Лозищах, в его хате живут чужие. А тут у него будут дети, а дети детей уже забудут даже родной язык, как та женщина в Дэбльтоуне...

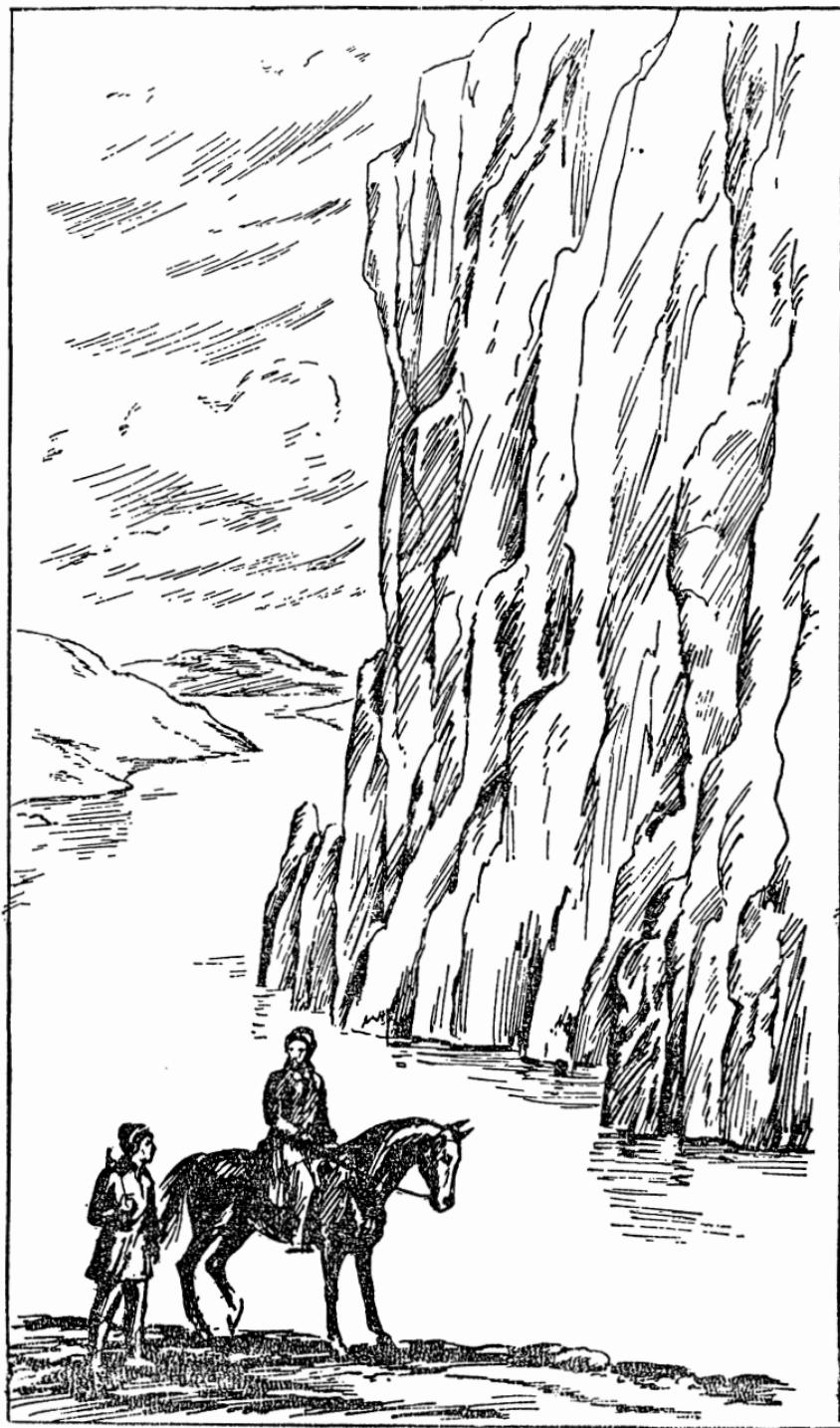
Он крепко вздохнул и посмотрел в последний раз на океан. Солнце село. Туманная дымка сгущалась, закрывая бесконечные дали. Над протянутой рукой «Свободы» вспыхнули огни...

Пароход опустел. Две чайки снялись с мачт и, качаясь в воздухе, понеслись по ветру в широкую туманную даль...

Как те, которые когда-то, так же отрываясь от мачт корабля, неслись туда... назад... к Европе, унося с собой из Нового Света тоску по старой родине...

1895







МОРОЗ

I

Мы ехали берегом Лены на юг, а зима догоняла нас с севера. Однако могло показаться, что она идет нам навстречу, спускаясь сверху, по течению реки.

В сентябре под Якутском было еще довольно тепло, на реке еще не было видно ни льдинки. На одной из близких станций мы даже соблазнились чудесною лунною ночью и, чтобы не ночевать в душной юрте станочника, только что смазанной снаружи (на зиму) еще теплым навозом,— легли на берегу, устроив себе постели в лодках и укрывшись оленьими шкурами. Ночью мне показалось, однако, что кто-то жжет мне пламенем правую щеку. Я проснулся и увидел, что лунная ночь еще более побелела. Кругом стоял иней, иней покрыл мою подушку, и это его прикосновение казалось мне таким горячим. Моему товарищу, спавшему в одной лодке со мною,— снилось, вероятно, то же самое. Луна светила ему прямо в лицо, и я видел ужасные гримасы, появлявшиеся на нем то и дело. Сон его был крепок и, вероятно, очень мучителен. В это время в соседней лодке встал другой мой спутник, приподняв дохи и шкуры, которыми он был покрыт. Все было бело и пущисто от изморози, и весь он казался белым привидением, внезапно возникшим из холодного блеска инея и лунного света.

— Бр...— сказал он.— Мороз, братцы...

Лодка под ним колыхнулась, и от ее движения на воде послышался звон, как бы от разбиваемого стекла. Это в местах, защищенных от быстрого течения, становились первые «забереги», еще тонкие, сохранившие следы длинных кристаллических игол, ломавшихся и звеневших, как тонкий хрусталь... Река как будто отяжелела, почувствовав первый удар мороза, а скалы вдоль горных берегов ее, наоборот, стали легче, воздушнее. Покрытые инеем, они

уходили в неясную, озаренную даль, искрящиеся, почти призрачные...

Это был первый привет мороза в начале длинного пути... Привет веселый, задорный, почти шутливый.

По мере того, как мы медленно и с задержками подвигались далее к югу,— зима все крепла. Целые затоны стояли уже, покрытые пленкой темного девственно-чистого льда, и камень, брошенный с берега, долго катился, скользя по гладкой поверхности и вызывая странный, все повышавшийся переливчатый звон, отражаемый эхом горных ущелий. Далее лед, плотно схватив уже края реки и окрепшие «забереги», противился быстрому течению. Мороз все продолжал свои завоевания, забереги расширялись, и каждый шаг в этой борьбе отмечался чертой изломанных льдинок, показывавших, где еще недавно было живое течение, отступившее опять на сажень-другую к середине...

Потом кое-где на берегах лежал уже снег, резко оттеняя темную, тяжелую речную струю. Еще дальше,— мелкие горные речки присоединялись к этой борьбе. Постепенно прибывая от истоков, они то и дело взламывали свой лед в устьях и кидали его в Лену, загромождая свободное течение и затрудняя ее собственную борьбу с морозом... Черты изломов на реке становились все выше; льдины, выбрасываемые течением на края заберегов,— все толще. Они образовали уже настоящие валы, и порой нам было видно с берега, как среди этих валов начиналось тревожное движение. Это река сердито кидала в сковывавшие ее неподвижные ледяные укрепления свободно еще двигавшимися по ее стрежню льдинами, пробивала бреши, крошила лед в куски, в иглы, в снег, но затем опять в бессилии отступала, а через некоторое время оказывалось, что белая черта излома продвинулась еще дальше. Полоса льда стала шире, русло сузилось...

Чем дальше, тем эта борьба становилась упорнее и грандиознее. Река швыряла уже не тонкие льдины, а целые огромные глыбы так называемого тороса, которые громоздились друг на друга в чудовищном беспорядке. Картина становилась все безотраднее. Ближе к берегам торос уже застыл безобразными массами, а в середине он все еще ворочался тяжелыми, беспорядочными валами, скрывая от глаз застывающее русло, как одичалая толпа закрывает место казни... Вся природа, казалось, была полна испуга и печального, почти торжественного ожидания. Пустынные ущелья горных берегов покорно от

ражали сухой треск ломающихся ледяных полей и тяжелое крахтение изнемогающей реки.

Еще через некоторое время темная струя в середине тоже побелела: по ней, тихо ворочаясь, сталкиваясь, шурша, — густо плыли белые льдины сплошного ледохода, готового окончательно стиснуть присмиревшее и обессиленвшее течение.

II

Однажды с небольшого берегового мыса мы увидели среди этих тихо передвигавшихся ледяных масс какой-то черный предмет, ясно выделявшийся на бело-желтом фоне. В пустынных местах все привлекает внимание, и среди нашего маленького каравана начались разговоры и догадки.

— Ворона, — сказал кто-то.

— Медведь, — возражал другой ямщик.

Мнения разделились. Одним черная точка казалась не больше вороны, другим — не меньше медведя: отдаленное однообразие этих белых подвижных масс, лениво проплывавших между высокими горами, — совершенно извращало перспективу.

— Откуда же взяться медведю на середине реки? — спросил я у ямщика, высказавшего предположение о медведе.

— С того берега. В третьем году медведица вон с того острова переправилась с тремя медвежатами.

— Нонче тоже зверь с того берега на наш идет. Видно, зима будет лютая...

— Мороз гонит, — прибавил третий.

Весь наш караван остановился у мыса, ожидая приближения заинтересовавшего всех предмета. Белая ледяная каша между тем тихо подвигалась к нам, и было заметно, что черная точка на ней меняет место, как бы действительно переправляясь по льдинам к нашему берегу.

— А ведь это, братцы, козуля, — сказал, наконец, один из ямщиков.

— Две, — прибавил другой, взглянувши.

Действительно это оказались горные козы и действительно их было две. Теперь нам уже ясно были видны их темные изящные фигуры среди настоящего ледяного ада. Одна была побольше, другая поменьше. Может быть, это

были мать и дочь. Вокруг них льдины бились, сталкивались, вертелись и крошились; при этих столкновениях в промежутках что-то кипело и брызгало пеной, а нежные животные, насторожившись, стояли на большой сравнительно льдине, подобрав в одно место свои тоненькие ножки...

— Ну, что будет! — сказал молодой ямщик с глубоким интересом.

Огромная льдина, плывшая впереди той, на которой стояли козы, стала как будто замедлять ход и потом начала разворачиваться, останавливая движение задних. От этого вокруг животных поднялся вновь целый ад разрушения и плеска. Льдины становились вертикально, лезли друг на друга и ломались с громким, как выстрелы, треском. По временам между ними открывалась и смыкалась опять темная глубь. На мгновение два жалких темных пятнышка совсем было исчезли в этом хаосе, но затем мы тотчас же заметили их на другой льдине. Опять собрав свои тонкие, дрожащие ножки, козы стояли на другой ледяной площадке, готовые к новому прыжку. Это повторилось несколько раз, и каждый прыжок с рассчитанной неуклонностью приближал их к нашему берегу и удалял от противоположного.

Можно было уже проследить план умных животных. Невдалеке от нас конец мыса выступал острым краем в реку, и здесь льдины, разгоняемые течением, разбивались с особеною силой. Зато более отдаленные, избегавшие линии удара, тотчас же подхватывались отраженной струей и уносились опять к другому берегу реки. Старшая из двух коз, видимо руководившая переправой, с каждым прыжком, очевидно, направлялась на этот мысок, гремевший от напора ледохода... Видела ли она нас, или нет,— но наше присутствие она явно не принимала в соображение. Мы тоже стояли на самом мысу неподвижно, и даже большая остроухая и хищная станочная собака, увязавшаяся за нами, очевидно, была заинтересована совершенно бескорыстно исходом этих смелых и трагически-опасных эволюций... Совсем уже близко от берега, в десятке саженей от целой кучки людей, козы все так же были поглощены только столкновением льдин и своими прыжками. Когда льдина, на которой они стояли, тихо кружась, подошла к роковому месту,— у нас даже захватило дыхание... Мгновение... Сухой треск, хаос обломков, которые вдруг поднялись кверху и поползли на обледенелые края мыса — и два

черные тела легко, как брошенный камень, метнулись на берег, поверх этого хаоса.

Они были уже на берегу. Но на другой стороне косы была темная полоса воды, а проход загораживала кучка людей. Однако умное животное не задумалось ни на минуту. Я заметил взгляд ее круглых глаз, глядевших с каким-то странным доверием, и затем она понеслась сама и направила младшую прямо к нам. Станочная собака, большой мохнатый Полкан, сконфуженно посторонилась, когда старшая коза, загораживая младшую, пробежала мимо нее, почти коснувшись боком ее мохнатой шерсти. Собака только поджала хвост и задумчиво отбежала в сторону, как будто озадаченная собственным великолепием и опасаясь, что мы истолкуем его в невыгодном для нее смысле. Но мы одобряли ее сдержанность и только радостно смотрели вверху, где два стройных тела мелькали на лету, распластавшись над верхушками скал...

III

Эту станцию с нами вместе ехал случайным попутчиком Иван Родионович Сокольский, начальник разведочной приисковой партии. Когда-то какая-то буря занесла его в далекую Сибирь, и он уже не старался вырваться отсюда, втянувшись в богатую своеобразными впечатлениями жизнь приискового разведчика. Это был человек крупный, с обветренным лицом, седеющей гривой волос и как бы застывшими чертами, нелегко выдававшими душевые движения. Его чувства, казалось, так же скрывались под невыразительной физиономией, как течение реки под льдами. В его кошеве (в которой эту станцию я ехал с ним вместе) лежало ружье в чехле из лосиной кожи, и хотя он стоял рядом и ему стоило только протянуть руку, чтобы вынуть ружье,— он не сделал этого движения. Его твердые серые глаза все время не отрывались от животных, и мне в первый раз в течение нашего — недолгого, впрочем — знакомства показалось, что в этих серых глазах мелькает что-то, не совсем холодное и не совсем загрубевшее.

Когда весь этот маленький эпизод закончился благополучно, мы все уселись опять, и наш караван двинулся далее, растянувшись под каменистым берегом. Все мы были настроены как-то весело, и все обсуждали смелый подвиг животного, сумевшего сохранить такое самооблачение среди стольких спасностей.

— Впрочем,— сказал я, улыбаясь,— кое-что надо отнести и на наш счет. Можно подумать, что мороз имеет свойство пробуждать добрые чувства.

— Из чего вы это заключаете? — спросил Сокольский сердечно.

— Из совершенно необычного поведения этого Полканы, а также, простите сопоставление,— вашего собственного: ваше ружье осталось в чехле.

— Да,— ответил приискатель.— Это правда. Эти бедные животные на наших глазах преодолели столько опасностей, и, я думаю, даже Полкану было совестно закончить все это простым убийством на берегу... Заметили вы, с каким самоотвержением старшая закрыла младшую от собаки?.. Всякий ли человек сделает это при таких обстоятельствах?

— Всякая мать, я думаю...— сказал я, улыбнувшись.— Вообще, мне кажется, на вас этот маленький эпизод произвел сильное действие.

Лицо Сокольского носило следы внутреннего волнения, глаза глядели с мягкою грустью...

— Да,— ответил он задумчиво.— Это напомнило мне одну историю и одного человека... Вот вы сказали о действии мороза и о добрых чувствах. Нет, мороз — это смерть. Думали ли вы, что в человеке может замерзнуть, например... совесть?

— И даже весь человек может превратиться в льдину, то есть перестанет быть человеком,— ответил я, опять улыбнувшись. Настроение моего спутника казалось мне все более загадочным.

— Нет,— ответил он с той же странной мягкой грустью.— Нет, гораздо раньше. Вот я расскажу вам, если хотите... Кстати и было это почти в этих самых местах. Я вот еду теперь с вами, и мне кажется, что... я переживаю начало моего рассказа, а вы поедете дальше и встретите его продолжение...

IV

— Это было в 18... таком-то году. В то время я только что получил место и ехал с товарищем на прииск. Осень, как и нынешняя, сильно запоздала, зима медлила, и мы подвигались очень тихо. Здесь вот приблизительно мы так же встретили первый ледоход. Дальше лед все крепче

схватывал реку, течение становилось все уже, потом оно стало перерываться заторами. Вот посмотрите сами, что это такое... В одном месте густо сталкиваются огромные льдины и загораживают течение. Река нагромождает их все больше, ломает лед, образует пороги, ревет, беснуется... Кругом на целые версты стоит гул и грохот... Потом лед опять прорвется и сплынет вниз, а на середине реки мало-помалу остаются только полыньи, над которыми носится густой пар, прохваченный морозом.

Я ехал с товарищем — поляком из ссыльных. Он участвовал в известном восстании на кругобайкальской дороге и был ранен. Усмиряли их тогда жестоко, и у него на всю жизнь остались на руках и ногах следы железа: их вели в кандалах без подкандалников по морозу... От этого он был очень чувствителен к холоду... И вообще существа это было хлипкое, слабое,— в чем душа, как говорится... Но в этом маленьком теле был темперамент прямо огромный. И вообще весь он был создан из странных противоречий... Фамилия его была Игнатович...

Сокольский задумался, и некоторое время мы ехали в молчании. Молчание это длилось долго, и я хотел уже напомнить моему спутнику о продолжении рассказа, как вдруг он опять повернулся ко мне.

— ...Боюсь, что я не сумею вам передать, что это была за натура... Идеалист и романтик, воспитанный на Красинском, Словацком и Мицкевиче. Нам, русским, всегда было чуждо это настроение, эти... как бы сказать... эстетические преувеличения, что ли. Есть у Мицкевича одно стихотворение: кто-то, какое-то огромное я головой поднялось в надзвездные высоты... Кругом головы венец из солнц, руки он возложил на звезды, и их хоры, как клавиши, звучат созданной им мировой симфонией... В этом роде... Я всегда оставался холоден к этим образам и с некоторым удивлением слушал, как мой приятель (мы жили с ним в Якутске около года) декламировал их с необыкновенным огнем и увлечением. И, не понимая сам ни возможности, ни красоты этих картин и этого настроения,— я все же должен был признать, что они могут будить ответные отголоски: мой маленький приятель, казалось, вырастал, голос его начинал звенеть, глаза сверкали, и... если не образы, которые мне все-таки казались ненатурально преувеличенными и странными,— то звуки его голоса заражали даже меня...

Я думаю, что это можно назвать романтизмом.. Ка-

кое-то преувеличенное представление о человеке, о его «божественном начале», об его титаническом значении. Но в этом настроении моего приятеля не было цельности. Кажется, уже во время самого восстания, за которое он и попал в Сибирь, человеческая природа повернулась к нему своими не особенно привлекательными и во всяком случае далеко не божественными сторонами... Потом было что-то и с женщиной. Когда она представляется в надзвездных высотах, созданной из лучей,— то, разумеется, обратная сторона женской натуры воспринимается с болезненной чуткостью... Как бы то ни было, на него находили порой целые полосы мизантропии. Тогда он становился почти невыносим, особенно в совместной жизни. В его взгляде, пронизывающем и холодном, виднелось что-то вроде презрения — к вам, к незнакомому прохожему, к самому себе. В эти периоды он становился материалистом и циником, говорил резкости, и... я тогда старался уйти куда-нибудь надолго, по возможности на несколько дней... Товарищ же мой с особенной заботливостью принимался ухаживать за животными...

Любовь к животным была тоже выдающейся чертой этого странного человека. Бывали целые периоды, когда наше скромное жилье положительно превращалось в лечебницу. Целую неделю он возился с замерзшей вороной, которую вернул к жизни, а больную лошадь водил в по-вodu на прогулку по два раза в день, не смущаясь насмешками. И замечательно, что, чем более он сердился на человека, тем более нежности отдавал животным. В конце концов, пессимист и циник (в такие периоды) по отношению к «царю природы» — он превозносил ее меньших тварей. Он не только признавал в них ум, память, соображение, совесть, но даже считал эти стороны интеллекта исключительно их принадлежностью, совершенно чуждой человеку... При этом он становился дьявольски, невыносимо остроумен и саркастичен, и порой, когда мне некуда было скрыться в периоды его мизантропии, я совершенно изнемогал под градом его парадоксов и начинал, право же, чувствовать себя действительно ниже всякого скота, в то время, как какая-нибудь собака со спиной, перешитленной поленом досужего бездельника, казалась мне чуть не сознательным страдальцем и философом. Впрочем, когда эти припадки проходили, он опять ожидал, опять парил под небесами и декламировал «мировые симфонии». В то время он тоже получил место на принске

чем-то вроде смотрителя материального склада... В практических вопросах я всегда имел преимущество. Я нашел ему эту должность и уговорил принять ее. Он пассивно подчинился, и мы отправились в путь, как только получили аванс. Обстоятельства наши были не особенно блестящи.

Ехали мы все-таки несколько быстрее вашего и, несмотря на то, что одежонка у нас была неважная, как-то еще не успели озябнуть настоящим образом до самой Олекмы и даже дальше. Морозы были порядочные, но озябнешь и отогреешься, а на следующий день выезжаешь как ни в чем не бывало.

За Олекмой река уже остановилась, оставались только полыньи... Однажды, проезжая мимо одной из них, мы увидели двух уток. На них нам указал ямщик кнутовищем. Трудно мне теперь передать вам это истинно жалостное зрелище. Утки были отсталые. Товарищи давно улетели, а они, застигнутые болезнью или недостатком сил для перелета, остались умирать на этой холодной реке. Пока течение было еще свободно хоть на середине,— они плавали, спасаясь как-то от ледохода; потом пространство воды все суживалось, потом остались только эти полыньи. Когда и они замерзнут, уткам предстояла гибель. Теперь они вдвоем метались по узкой полынью, охваченные холодным паром, а кругом на них смотрели вот такие же сумрачные и безучастно холодные горы.

Я помню, что ямщик смеялся, скаля свои белые зубы... Мне стало немного жутко и холодно, и я запахнулся дохой, как будто это подо мной была эта темная, холодная глубина. Но мой товарищ сразу заволновался и вспыхнул.

— Стой! — закричал он ямщику. — Неужели вы способны проехать мимо?.. — обратился он ко мне с горечью и, не ожидая, пока ямщик остановит лошадей, выскочил из кошевы, затем, скользя и падая на торосьях, кинулся к полынью.

Ямщик смеялся, как сумасшедший, и я тоже не мог удержаться от улыбки при виде того, как мой товарищ, наклонившись над узкой, но длинной полынней, старался поймать уток. Птицы, разумеется, кинулись от него. Тогда мой маленький спутник перебежал на нижний конец полынни, правильно рассчитав, что уток теперь понесет течением к нему, особенно когда, заинтересованный этим эпизодом, я тоже вышел на лед и погнал их книзу... Нырять они боялись, так как течение несло под лед. Одна из этих птиц поднялась было на воздух, но другая, потерявшая

силы, а может быть, когда-нибудь подстреленная, летать не могла, она только взмахнула крыльями и осталась. Тогда и другая, сделав круг над холодными льдами реки, вернулась к своей подруге.

Я не могу вам описать, какое действие произвело это проявление великодушия на моего друга. Он стоял на льду, следя за полетом птицы, мелькавшей на фоне угрюмых гор, опущенных снегами, и когда она самоотверженно шлепнулась в нескольких шагах на воду, с очевидным намерением разделить общую опасность,— у него на глазах появились слезы... Затем он решительно заявил, что мы можем, если угодно, ехать дальше, а он останется здесь, пока не поймает обеих уток.

Я знал, что он непременно исполнит свою угрозу, и у нас началась своеобразная охота, к которой, наконец, присоединился и ямщик. В результате одна птица, именно та, которая пыталась улететь,— утонула. Она нырнула из моих рук, и течением ее унесло под лед... Другая очутилась в руках ямщика. Игнатович сильно вымок, и с рукавов его дохи лилась вода.

Это было очень серьезно, так как до станции было еще не близко. Я укутал его, чем мог, но на станке мы едва оттерли его обмороженные пальцы, и целые сутки после этого мы не говорили друг с другом. Утку эту мы повезли дальше, и хотя я принимал участие в ее спасении и под конец даже увлекся этим благотворительным спортом,— но все-таки сознавал, что это сентиментально и глупо, тем более, что всюду наш третий пассажир вызывал справедливые, по-моему, насмешки станочников. Игнатович чувствовал это мое настроение и презирал меня.

В конце концов, утка все-таки издохла, и мы ее кинули на дороге, а сами поехали дальше. Несколько дней шел густой пушистый снег, покрывший на три четверти аршина и лед, и землю. Он массами лежал на деревьях и порой падал с них комьями, рассыпаясь мелкою пылью в светлом воздухе.

Потом ударил мороз в тридцать, тридцать пять, сорок градусов. Потом на одной из станций мы уже видели замерзшую в термометре ртуть, и нам сказали, что так она стоит несколько дней.

Птицы замедляли полет, судорожно взмахивали крыльями и падали на землю, медведи зябли в берлогах и выходили тощие, испуганные и злые... Охотники на белок прекратили из-за этих озлобленных медведей свой промысел.

Мы тоже начали зябнуть. Вы ведь знаете, что это такое: дыхания не хватает, моргнешь глазами — между ресницами протягиваются тонкие льдинки, холод забирается под одежду, потом в мускулы, в кости, до мозга костей, как говорится,— и говорится недаром... Вас охватывает дрожь, какая-то внутренняя, пронизывающая, неприятная и даже, право, унизительная... Приедешь на станцию,— до полуночи едва начнешь обогреваться, а на утро трогаешься в путь и чувствуешь, что в тебе что-то убыло, что начнешь зябнуть раньше, чем вчера, и приедешь на ночлег еще более озябший... Настроение меняется, впечатления постепенно тускнеют, люди кажутся неприятнее. Сам себе тоже становишься противен... В конце концов закутываясь как можно плотнее, садишься поудобнее и стараешься об одном: как можно меньше движений, как можно меньше мыслей... организм инстинктивно избегает всякой траты... Сидишь, и понемногу стынешь, и ждешь с каким-то испугом, когда кончатся эти ужасные сорока-пятидевяностиверстные перегоны.

Наконец мы стали приближаться к Витиму. С Н-ской станции выехали мы светлым, сверкающим, снежным утром. Вся природа как будто застыла, умерла под своим холодным, но поразительно роскошным нарядом. Среди дня солнце светило ярко, и его косые лучи были густы и желты... Продираясь сквозь чащу соснового бора, они играли кое-где на стволах, на ветвях, выхватывая их из белого, одноцветного и сверкающего сумрака.

Перегон был необычайно длинен. Ямщик (им здесь ездить приходится не очень часто) сначала был очень бодр и даже пел какую-то безобразную приисковую песню... Потом и он смолк и то и дело бежал вприпрыжку рядом с санями, усиленно топая ногами и хлопая озябшими руками в рукавицах... Мой спутник, казалось, совсем застыл. Во все время он заговаривал только раз, но его голос показался мне скрипучим и неприятным, и я прорвorchал что-то сердитое и невнятное даже для меня самого. Потом он молчал, как закоченелый, и я представлял себе его лицо — с мизантропическим и противно-злым выражением. Я тоже молчал и отворачивался в сторону, чтобы изморозь от моего дыхания не попадала мне в лицо — через отверстие в башлыке...

Дорога пошла лесом, полозья скрипели; лошади то и дело фыркали, и тогда ямщик останавливался и извлекал пальцами льдины из их ноздрей... Высокие сосны прохо-

дили перед глазами, как привидения, белые, холодные и как-то не оставлявшие впечатления в памяти...

Уже вечерело, последние лучи солнца, еще желтее и гуще, уходили из лесу, с трудом карабкаясь по вершинам. А внизу ровный белый сумрак как бы еще более настывал и синел. Звон колокольчика болтался густо и как-то особенно плотно, точно ударяли ложечкой по наполненному жидкостью стакану. Эти звуки тоже раздражали и тревожили нервы...

В одном месте в глаза мне попало неожиданное впечатление: невдалеке от дороги вился тонкий дымок между валежником. На пне сидел человек, и его фигура одна чернела среди общей белизны темным пятном... Над ним со всех сторон свесились мохнатые лапы лесной заросли, вверху еще освещенные солнцем, внизу уже охваченные сумраком наступающей ночи. Зрелище это промелькнуло мимо моего неподвижного взгляда... В последнее мгновение мне показалось, что фигура шевельнулась и что это имело какое-то отношение к нам, к нашему суевитому колокольчику, к нашему быстрому движению. Но я не повернул головы, не повел глазами. Видение пронеслось мимо и исчезло, и впечатления плыли к сознанию застывшие, мертвые, неподвижные, ничего в нем не будя и не шевеля воображение...

Ямщик повернулся к нам и, наклоняясь, стал говорить что-то, и помню, что он смеялся. Но для меня это были только разрозненные звуки, точно звенели льдинки... Самые слова были пусты, в них для меня в ту минуту не было никаких понятий. Смех ямщика тоже не казался мне смехом и не производил на меня того впечатления, какое произвел бы при других обстоятельствах. Я просто видел неприятно-желтоватое лицо в рамке мехового малахая, два глаза с ресницами, опущенные инеем. Челюсти на этом лице двигались, рот был неприятно перекошен, и из него вылетали вместе с паром пустые звуки, как звон по стеклу... Вот и все... Мой спутник зашевелился и тоже пробормотал что-то. Кажется, он сердито торопил ямщика...

Короткий день давно угас, когда мы достигли станка и расположились на ночлег.

Помню, это была кучка лачуг, как и большинство станков — под отвесными скалами. Те, кто выбирали места для этих станков, мало заботились об удобствах будущих обитателей. N-ский станок стоял на открытой каменной площадке, выступавшей к реке, которая в этом месте

вьется по равнине, открытой прямо на север. Несколько верст далее станок мог бы укрыться за выступом горы. Здесь он стоял, ничем не прикрытый, как бы отданый в жертву страшному северному ветру.

Кроме официального названия, жители называли его еще «Холодным станком». И действительно, трудно найти что-нибудь более вызывающее представление о холодах, чем эти кучки бревен, глины и навоза на каменистой площадке, заметенные снегом и вздрагивавшие от ветра. Лес, который мы оставили назади, кончился у начала лугов в низинке и не закрывал станка, а только наполнял воздух протяжным, пугающим гулом.

Впрочем, мы рады были и этому приюту и доехали как раз вовремя, чтобы быть еще в состоянии отогреть застывшие члены. К счастью, лесу в окрестностях было довольно, не принадлежащего никому, кроме бога, поэтому скоро в камельке запыпал яркий огонь, и мы, разостлав на полу одеяло и шкуры, — легли прямо против пламени, проглотив наскоро по стакану чаю. Стаканы было трудно держать в закоченелых руках, но ощущение теплоты потерялось; мы только обжигались, а не согревались кипятком и, бросив чай, заползли под свои шубы. Зубы у меня все еще стучали, озноб чувствовался даже в костях.

Хозяин, допив наш чай, угостив также сильно озябшего ямщика, подложил еще дров и скрылся в какой-то угол.

В темной избушке все затихло.

Только снаружи слышался ровный гул, как будто кто-то огромный шагал от времени до времени по окованной морозом земле. Земля глухо гудела и смолкала до нового удара... Удары эти становились все чаще и продолжительнее. По временам наша избушка тоже как будто начинала вздрагивать, и внутренность ее гудела, точно пустой ящик под ветром. Тогда, несмотря на шубы, я чувствовал, как по полу тянет холодная струя, от которой внезапно сильнее разгорался огонь и искры вылетали гуще в камин.

— Беда! — сказал в одну из таких минут хозяин, обращаясь к засыпавшему ямщику. — Как поедешь? Поднялся сивер, поземка идет.

— Да... — ответил тот. — А мороз не стал меньше... Такому ветру, — прибавил он, по-своему коверкая русский язык, — гляди и почта не ходит...

— Не дай бог, — прибавил хозяин, зевая.

Я понял, что это начинается сравнительно редкое явление — морозная буря, когда налетающий откуда-то ве-

тер толкается в отяжелевший морозный воздух. Отдельные толчки и гул служили признаками первых усилий ветра, еще не могущего двинуть сгущенную атмосферу... Потом толчки стали продолжительнее, гул становился ровным, непрерывным. Охлажденный ниже сорока градусов, воздух тронулся с места и тянул, точно над нашей площадкой неслась волны бездонного океана...

Под этот шум я стал засыпать, все еще плохо сознавая происходящее и только радуясь животною радостью при мысли, что я в избе, близко к огню, что все то, что во мне так неприятно застыло и окоченело,— скоро должно оттаять и распуститься...

И действительно, что-то «оттаяло... и распустилось...»

V

— Как и когда оказалось, что я уже не сплю и при том совсем не сплю,— сказать я бы не мог. Я проснулся незаметно, но некоторое время мне казалось, что я еще вижу сон или что я тщательно берегу в памяти остатки сна, как бы боясь, что он исчезнет и я не успею рассмотреть в нем что-то очень важное и очень нужное. А между тем, сон был самый простой.

Мне снилось, что я опять еду той же дорогой, и опять мне холодно, и опять кругом меня опущенный инеем лес, и косые лучи солнца, густые и желтые, уходят из этого леса, играя кое-где на стволах и мохнатых ветках... Только где-то за лесом что-то еще гудит глухими, стонущими ударами, как будто гонится за нашими санями.

Потом я увидел кучу деревьев, составлявших как бы беседку под мохнатыми ветвями, белыми от снега, и тонкий, как будто замирающий дымок, и около костра темную фигуру... И все это, по обычной нелогичности сна,— казалось мне острыми, колючими льдинками, попавшими мне в грудь и холодившими сердце.

Потом я увидел еще лицо ямщика, сначала бессмысленное и лишенное выражения... Постепенно, однако, оно менялось, становилось знакомым, и, под влиянием его взгляда, льдинки в груди начали вдруг мучительно быстро таять. И, вместе с тем, я чувствовал, что беседка из ветвей в лесу встает во всех подробностях, которых я не замечал раньше, и всякая подробность обрастаet в воображении особенными впечатлениями, и мне страшно вглядеться в

лицо человека, как будто зашевелившегося на пне, но ямщик требует от меня, чтобы я непременно взгляделся... Я сержусь на него, но потом вижу, что это уже не ямщик, а Игнатович, и что под влиянием его взгляда, полного мучительной тоски,— все то, что лежало в глубине моей памяти бесцветными холодными льдинками, вдруг растаяло...

Рассказчик остановился и, помолчав, сказал:

— Вы помните, вероятно, легендарные рассказы о полярных странах средневековых путешественников. Зимой слова замерзают и лежат мерзлыми льдинами до тепла. А потом оттаивают и опять становятся словами... Если понимать это, как метафору, в этом есть глубокий смысл. По крайней мере, в эту минуту я вдруг вспомнил слова ямщика, которые он говорил еще тогда, на дороге, и которые до этого времени лежали у меня где-то в глубине памяти лишенными смысла. Да, несомненно, он говорил тогда об этом человеке в лесу и о том, что он «убился» где-то на приисках и идет пешком от станка до станка... Только теперь эти слова вдруг оттали, и от них в груди у меня что-то мучительно заныло...

Я невольно застонал и раскрыл глаза. Огонь в камине почти догорел. На дворе все еще тянул ветер, надо мной наклонилось лицо моего спутника...

Никогда в моей жизни, ни прежде, ни после, я не видел ничего ужаснее этого лица, освещенного трепетным пламенем камина... Оно было совершенно искажено выражением ужаса и как будто мучительного вопроса. Нижняя челюсть его дрожала, зубы стучали, как будто от озноба...

— Что такое? Ради бога? — сказал я, подымаясь.

— Вы не знаете? — спросил он, глядя на меня своими угасшими и помутневшими глазами.— Скажите — разве это... был только сон?

— Что именно?

— То, от чего вы сейчас застонали и проснулись,— сказал он резко и затем подозрительно взглянул на меня. И, видя, что я не отвечаю, он все так же подозрительно всматривался мне в лицо:

— Вы не заметили там, в лесу... человека?..

Я промолчал и невольно отвел глаза.

— Послушайте,— заговорил он,— скажите мне что-нибудь... Я еще думаю, что это был сон... Ведь не может быть, чтобы это было наяву!.. Чтобы мы...

— Да ведь это и был почти сон,— сказал я.— Мороз так притупляет впечатления..

Он сделал резкое движение и сразу сел на своем месте; глаза его странно сверкнули...

— Правда?.. — сказал он жалобно и потом вдруг прибавил с какой-то дикой энергией: — Не лгите! Не изворачивайтесь... Я тоже лгал... Я знал, что это было наяву... Мы все видели... все... Этот человек подымался, он хотел что-то крикнуть... Вы это знаете, и я знаю, и тогда знал... Вы будете подыскивать оправдания... Совесть замерзла!.. О, конечно, это всегда так бывает: стоит понизиться на два градуса температуре тела, и совесть замерзает... закон природы... Не замерзает только соображение о своих удобствах и подлое, фарисейское лицемерие... О, какая низость...

Он схватил голову руками, и несколько секунд прошло в молчании. Наша избушка все продолжала вздрагивать, но ровный гул прекратился: опять послышались толчки, и мне положительно казалось, будто там, над рекой, лесом и ущельями размеренно шагал кто-то огромный и тяжелый...

— Да встаньте же, наконец, вы... негодяй! — крикнул вдруг Игнатович с дикой враждой.— Ведь мы с вами убили человека. Пон-нимаете ли вы, себялюбивое животное! Хозяин, вставай... Зови всех... Господи боже!.. Что делать, что теперь делать?..

В освещенном пространстве около камина появилось испуганное лицо нашего хозяина. Уже с минуту он шевелился, прислушиваясь к непонятному и тревожному разговору незнакомых проезжих людей, упоминающих об убийстве. И теперь, все еще полусонный, испуганный не столько, вероятно, словами, сколько дикой энергией, звучавшей в голосе почти помешанного человека, он быстро вскочил и стал напяливать на себя верхнюю одежду. Потом, не говоря ни слова, он открыл дверь и вышел в темноту. Ямщик, привезший нас, тоже проснулся, зевнул, сошел с своего места и подбросил поленьев в камин... Он, видимо, совсем не понимал, в чем дело. В углу заплакал ребенок, и послышался успокаивающий его женский голос.

Все это навсегда врезалось мне в память, и никогда не забыть мне этой ужасной ночи, темной избушки с тихо набиравшимся в нее народом и этого протяжного гула снаружи. Знаете, порой есть что-то изумительно сознательное в голосах природы... Особенно, когда она грозит...

— Послушайте, может быть, вы все-таки доскажете, что было дальше? — спросил я через некоторое время, видя, что мой спутник задумался и как будто забыл о своем рассказе, глядя прямо перед собой на освещенные солнцем горы нашего берега. Реки с ледоходом теперь не было видно. Мы ехали лугом, впереди плелись мои спутники, о чем-то весело балагуря с своим ямщиком.

— Да, простите, пожалуйста!.. — заговорил рассказчик. — Я задумался. Это очень тяжелые воспоминания, но... конечно, я доскажу... остановился я на том, что...

— Что в избу стали набираться ямщики, которых, вероятно, созвал хозяин.

— Да, да, конечно... Хозяин созвал их чуть не всех, думая, что в самом деле надо будет вязать убийц. Ямщики входили робко, зевая, крестясь, и жались к сторонке, оставляя вокруг нас пустое пространство. Скоро в углу около дверей образовалась темная куча людей, лица которых с любопытством и испугом тянулись из-за плечей стоявших впереди, глядя в нашу сторону. Последним явился староста с десятскими. Перекрестясь на икону, он резко ступил прямо к нам и заговорил грубо, очевидно стараясь ободрить и себя, и становчников:

— Ну, что такое набедокурили? Винуйтесь богу, великому государю...

Однако, когда я стал разъяснять, в чем дело, в избе постепенно водворялось что-то вроде разочарования. Этим людям жилось всегда так холодно, и мой рассказ, правда бессвязный и сбивчивый, не облекался для них тем захватывающим, трагическим смыслом, какой он имел теперь для нас. Где-то в углу послышался даже смех.

— Да это Митрохин, поселенец! — сказал кто-то.

— Верно, он... Недели, сказывают, уж три плетется с приисков. Надоели нам...

— И верно, — вставил свое замечание привезший нас ямщик. — У нас на станке третьего дня был. Лошадь просил. Сvezите, говорит, христа ради, ноги не ходят.

— Ну, что ж не дали? — спросил староста сурово.

— Надоело уж нам возить-то их. Да и бумаги нет... — ответил ямщик, отворачиваясь. — Была бы бумага или бы к нам привезли его, а то пешком же пришел... Как люди, так и мы...

— Пешком пришел! Умные! То, чай, тепло было, а тут,

видишь, сивер. Застынет теперь,— заседатель с доктором, небось, пешком не придут... Возить же доведется... А вы, господа, что народ зря булгачите?.. Ночное дело...

— У него теплина́ была (костер),— вставил ямщик в виде оправдания.

— Как же зря,— сказал я, чувствуя, что почва у нас начинает ускользать.— Ведь человек замерзнет... Надо помочь.

— Как поможешь?.. Ежели бог сохранит, придет, дальше свезем... Почто, Тимофе́й, не подобрал его? — обратился он опять к нашему ямщику.

— Где посадил бы я? Сани махоньки, сам околел...

— Верно и то... Трое ехали... Что ж теперь делать? Теплина была, так, может, господь упасет...

— Постойте,— крикнул я с тоской.— Нельзя же этак... Ведь в эту минуту, может быть, человек умирает... Слыши, что делается...

На мгновение водворилась тишина,— и опять со двора слышны были удары, точно кто размеренно и с промежутками толок что-то в ступе. И по временам воображение примешивало к этому стоны... Это доносился, вероятно, звянящий гул лесных верхушек или, может быть, на реке трескался лед.

В избе послышались вздохи. Тем не менее, дверь открывалась. Ямщики начинали понемногу выходить.

— Спаси господи! — прошептал кто-то, и чей-то другой голос прибавил резко:

— Сами тоже стынем... Зима не пройдет, чтобы на ближних станках не застыл человек, а то двое. Перегон у нас лютый!

— Третий год — Федька в этом же лесу застыл.

— В прошлом году баба с мальчиком.

— А у меня мнук не застыл, что ли? — злобно выкрикнул в толпе какой-то старик.

— Этому ветру почта не ходит,— опять сказал наш ямщик.

Двери скрипнули еще и еще... Народу убывало.

— Постойте,— сказал я в отчаянии.— Возьмите деньги, что ли! Десять рублей,— кто согласится поехать со мною...

В это время мой взгляд упал на лицо Игнатовича, безмолвно сидевшего на скамье у стола с совершенно помертвевшим лицом, и мне стало вдруг как-то жутко. Голос мой сорвался...

Помню, что в эту минуту староста с внезапным участием взглянул мне в лицо и сделал движение...

— Двадцать, тридцать, все, что у нас есть! — сказал я, почти задыхаясь от волнения...

— Стойте, — крикнул староста своим грубо-решительным голосом, от которого толпа ямщиков сразу остановилась. — Никто не уходит! Слышите, люди деньги дают, а и без денег все одно надо бы. Верно, что грех!.. Надо бога вспомнить! Ну, чья очередь? Говорите, старики!..

Толпа отхлынула от порога к середине избы... Староста стоял рядом со мною, и я теперь не сводил с него глаз. Это был мужик средних лет, рослый, смуглый, с грубыми, но приятными чертами лица и глубокими черными глазами. В них виднелась решительность и как будто забота.

— Эх, господин, — сказал он мне суворово, когда среди ямщиков начался тот говор, которым открывается обыкновенно обсуждение мирского дела на сходе. — Совесть у тебя есть, а ума мало... Без денег-то бы, пожалуй, лучше было... Я уж хотел объявить наряд... Теперь пойдет склёка.

И действительно, началась мучительная «склёка». Вы знаете, — эти ленские ямщики составляют своеобразные ямские общины, обломок прошлых веков. Земли у них нет, и состоят они на жалованья. «Пара лошадей» составляет основание подушной раскладки, «душа» равняется части лошади, которой соответствует часть жалованья. Все доходы станка и все повинности приурочены к этому основанию... Теперь мои деньги вступали в эту раскладочную машину, и притом деньги экстренные. Предстояло разверстать их на мир, а мир должен был выставить очередных.

Поднялись споры... Прогонная плата, части лошадей, старые счеты, очереди, возка дров, прогон почты, провоз заседателей и исправников, сироты, кормежка арестантов — все это теперь выступило на сцену и обсуждалось горячо и всесторонне. Я несколько раз пытался остановить эти споры тоскливым напоминанием о том, что человек в это время может погибнуть, но ближайший ямщик сказал мне с серьезной непреклонностью:

— Ничего не поделаешь, не мешай! Дело мирское... помешаешь, хуже...

Споры продолжались. Решение все еще не выяснялось... Снаружи несся все тот же зловещий гул...

Наконец вмешался староста, которому как будто сообщалось мое нетерпение. Он лучше меня, конечно, знал ту разверсточную машину, которая так шумно действовала

перед нашими глазами, и видел, что пока она сделает точно и справедливо свое дело,— пройдет еще немало времени... И вот он выступил вперед, одним окриком остановил шум, потом повернулся к иконе и перекрестился широким крестом. Кое-где в толпе руки тоже поднялись инстинктивно для креста... Тревожная ночь производила свое действие на грубые нервы...

— Братцы,— сказал он.— Нельзя эдак-ту... Видит бог, святая владычица... Я отказываюсь. Не надо мне денег... Я еду, не в зачет, без очереди... Когда господь ежели поможет,— оставьте свои деньги, господин... Свечку, когда что, поставите...

В толпе водворилось молчание, и через минуту один из станочников, еще недавно много споривший и горячивающийся из-за какой-то неочередной «выти»,— первый сказал с спокойным сочувствием:

— Ну, помоги тебе господи... Ежели охотой...

— Дело твое...

— Не в зачет,— твоя воля... И то сказать: душа дороже денег... Тут и сам застынешь...

— Ишь ведь сиверко... Господи помилуй... Верно,— почта не пойдет... Ну их, и с деньгами. Своя душа дороже...

— Помоги тебе владычица, Софрон Семеныч.

Я с безотчетным облегчением взглянул в ту сторону, где сидел Игнатович... Мне казалось, что в великолушном предложении старости и в том, как оно было принято,— есть что-то разрешающее и как бы оправдывающее также и нас... Но Игнатовича на этом месте уже не было.

Вскоре изба очистилась. Остались только хозяин, несколько замешкавшихся ямщиков и я. Игнатовича нигде не было видно. Ямщики говорили, что он вышел, одевшись, еще до окончания разверстки...

У меня сжалось сердце каким-то предчувствием. Я вспомнил его бледное лицо во время переговоров. Вначале на нем было обычное мизантропическое выражение, с примесью злого презрения к себе и другим. Но в последнюю минуту мне запомнилось только выражение глубокой, безнадежной печали. Это было в то время, когда я предложил деньги и среди ямщиков начались споры...

Я вышел на площадку, искал и звал его, прибавляя на всякий случай, что дело сделано и что я скоро еду за человеком в лесу... Но ответа не было, в окнах встревоженного станка гасли огни, ветер тянул по-прежнему:

по временам трещали стены станочных мазанок и издалека доносился стонущий звук лопающегося льда...

— Товарища кличешь? — спросил меня проходивший мимо ямщик.— Да он, чай, ушел спать в другую избу... Беспокойно было у вас... Может попросился к шабрам.

В это время к избе подъехали широкие розвальни, запряженные парой лошадей, и староста, весь закутанный в меха, в огромных рукавицах, соскочил с них и подошел ко мне.

— Что такое? — спросил он — Что еще?

— Скорей, скорей, ради бога,— сказал я, охваченный нервным ознобом. У меня возникла внезапная уверенность, что я найду Игнатовича по дороге.

— Ну, нет,— сказал он.— Погоди, барин, этак нельзя. Одежда у тебя не по этому ветру. На вот, я привез тебе. Одевайся.

И он настоял, чтобы я оделся в его меха... Мы выехали почти уже на рассвете, захватив с собой еще кучу одежи на всякий случай...

Ветер был тяжелый и палящий. На небе светила полная луна, а внизу мчалась так называемая позёмка.

Вы знаете, что это? Ветер подымал с земли сухой снег и нес нам навстречу ровно, беспрерывно, упорно... Это не метель, но хуже всякой метели... В такую погоду всякое движение останавливается; кажется, мы действительно кой-чем рисковали в это утро. Мне потом отрезали два пальца...

— Нашли вы этого человека? — спросил я нетерпеливо, видя, что Сокольский опять остановился.

— Нашли,— ответил он как-то беззвучно...— Это было уже серым утром... Ветер стал стихать... Сел холодный туман... У него был огонь, но он давно потух. Он, вероятно, заснул... Глаза у него, впрочем, были раскрыты, и на зрачках осел иней...

— А ваш товарищ? Он действительно остался на станке?

Сокольский посмотрел на меня помутившимся и потускневшим взглядом.

— Я был глубоко убежден, что он пошел по дороге в лес, и потому всю дорогу ночью кричал и взглядывался. Староста успокаивал меня. Он, во-первых, никак не понимал, что человек может бесцельно отправиться на гибель, а во-вторых, дорога от станка была только одна

и притом широкая и обставленная вехами, так что сбиться было невозможно, особенно в светлую все-таки ночь...

Когда мы поехали обратно, уложив нашу печальную находку и закутав в меха, было уже утро. Ветер стих, и мороз внезапно сдался. Потом взошло солнце. Следов нигде не было.

— Значит, вы ошиблись?

— Мы приехали на станок... Там его тоже не было...

Сокольский замолчал, и на растроганном грубоватом лице его проступило выражение глубокой нежности...

— Он был непрактичен и беспомощен, как ребенок,— сказал он.— Никогда он не умел найти дорогу... Выйдя из избы, он пошел спасать замерзающего, но... взял в другую сторону...

Рассказчик повернулся ко мне.

— Понимаете вы это? Взял сразу из станка в другую сторону и пошел все прямо. Дорога тут была такая же широкая, и скоро опять начинался лес. В этом густом лесу на следующий день еще сохранились в затищих местах следы. Они шли все прямо, не сворачивая. Прошел он удивительно много и... не отступил ни шагу, пока...

Сокольский замолчал и довольно долго смотрел в сторону.

— Надеялся ли он спасти этого незнакомого человека?.. Не думаю. Он пошел, как был, захватив, впрочем, трут и огниво, которыми едва ли даже сумел бы распорядиться. Говорю вам — совершенный ребенок. Ему, просто, стало невыносимо... И еще... Мне порой приходит в голову, что он казнил в себе подлую человеческую природу, в которой совесть может замерзнуть при понижении температуры тела на два градуса... Романтик в нем казнил материалиста...

Он опять замолк.

— Вы сказали, кажется, — подлую человеческую природу? — сказал я через некоторое время.

Он оглянулся, как будто несколько удивленный.

— Ах, да!.. Не знаю я, не знаю!.. Просто ничего не знаю. Знаю одно, что погибают часто не те, кому бы следовало, а мы, которые остаемся...

Он не досказал, махнул рукой, и все остальное время мы ехали молча, пока из-за откоса не показались дымки станка, на котором нам пришлось расстаться. Сокольский очень торопился к своей партии и уехал вперед, а мы поневоле ехали тише.

Дня через два после этого, когда мы проезжали густым лесом, ямщик, молодой мальчишка, подросток, указал мне кнутовищем большой каменный крест в чаще, в стороне от дороги, и сказал:

— Человек тут застыл... двое... Крест поставил присягатель, Сокольской; может, знаете? Вчера проезжал. Гляди, его следы это...

Действительно, по глубокому снегу, освещенному про-диравшимися сквозь чащу лучами солнца, ясно виднелись чьи-то крупные следы от дороги к кресту и обратно.

— Никогда мимо не проедет,— сказал опять ямщик, повернувшись на облучке и улыбаясь.— Всегда вылезет. Постоит-постоит, опять садится. Креститься не крестится, а, видно, молится... Когда и заплачет... Чудак, а барин хороший.

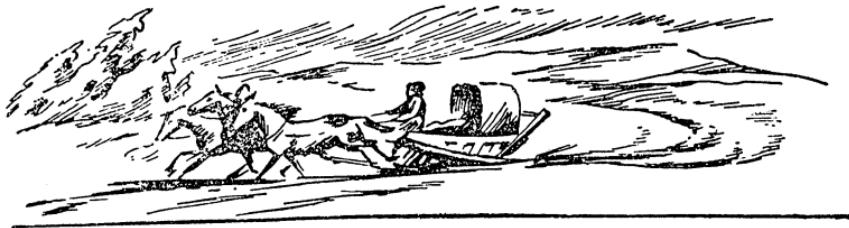
И, хлестнув лошадь, он прибавил задумчиво:

— Видно, приятели были...

1900—1901







«ГОСУДАРЕВЫ ЯМЩИКИ»

I. СТАНОЧНИКИ

Осенью 188... года мне с двумя товарищами пришлось совершить по Лене путь от Якутска до Иркутска, что составляет приблизительно около трех тысяч верст.

Наше положение давало нам право на «тройку обычательских лошадей с провожатым» бесплатно. Но перед отъездом мы имели несчастие повздорить несколько с местной властью. Исправник, «из хохлов», человек в высшей степени флегматичный и ленивый, не стал с нами спорить или изобретать способы мщения. Он только нашел, что выданная нам бумага составлена неправильно, и выдал другую. В этой последней было все то же, что и в первой, за небольшим исключением: как и в первой, в ней было сказано, что мы имеем право «следовать от станка до станка» и даже с провожатым, но о лошадях не было упомянуто ни слова.

Впоследствии мы узнали, что такими загадочными бумагами якутская полиция снабжала иногда, в виде особого одолжения, проторговавшихся или прокутившихся на летней якутской ярмарке иркутских приказчиков. Остальное предоставлялось ловкости и авторитету путников. Если они сумеют импонировать забитому и неграмотному населению, то проедут даром всю дорогу... Они будут кричать, торопить ямщиков, кое-где откупаться подачками от редких грамотеев, кое-где даже, для большей уверенности, бить старост по скулам, а ямщиков по шее. Во всяком случае такая дружеская бумажка дает возможность сильно сократить расходы длинного и дорогого пути.

С такой же бумажкой в руках очутились и мы. Наше право на «обычательских лошадей» было неоспоримо, но, чтобы восстановить его, нам пришлось бы жаловаться и ждать. Ждать, пока жалоба и резолюция проедут те же

три тысячи верст, до Иркутска и обратно, какие приходилось сделать нам... И мы решились пуститься в путь без жалобы...

Сначала дело шло гладко. Под городом споров не возникло. Далее мы ехали от станка до станка, и ямщики везли нас беспрекословно только потому, что нас к ним привозили соседи. Значит, так и нужно. Но затем, уже довольно далеко от города, на одном из станков какой-то грамотей, одетый в звериные шкуры, вчитался в наше «свидетельство» и заподозрил в нем форму знакомой «дружеской бумаги», смысл и значение которой население уже разгадало. Он стал что-то говорить ямщикам по-якутски, те робко окружили нас, топтались, молчали, поталкивали друг друга, и, наконец, задние объявили, что по этой «бумаге» нас везти не следует. Станочники, вероятно, ждали с нашей стороны вспышки и обычных проявлений авторитета, которые доказали бы им если не наше право, то степень нашего значения в мире повелевающих (грамотей на всякий случай поместился сзади всех). Но мы не имели к этому ни охоты, ни способностей. Мы просто стояли только на своем. Тогда толпа стала смелее, голоса все больше возвышались, начались шумные споры...

Положение становилось затруднительным. Мы походили на путников, отчаливших с ненадежным парусом от одного берега и рисковавших не пристать к другому. Прогоны, особенно в осеннее время, на три тысячи верст требовали несколько сот рублей. Таких денег у нас не было. Если бы где-нибудь произошла окончательная остановка, у нас не хватило бы и на обратный путь до Якутска. Год был голодный, хлеба трудно было на пустынных станках достать и за деньги, и поэтому провизию мы тоже везли с собою. Вообще, мы физически не могли уступить, если бы и хотели, и наш путь обратился в настоящую каторгу: приезжая к вечеру на станцию, усталые и озябшие, мы вместо отдыха встречали новые сомнения, возражения, упреки и споры... Они продолжались обыкновенно и утром следующего дня. Выезжали мы поздно, проезжали мало, и если была в этом хорошая сторона, то разве та, что таким образом мы имели случай ознакомиться с своеобразным бытом этих ленских станочников...

Ленские станки — это как бы сколок прошлых веков, оставленный на далекой реке в нетронутом виде периодом российских реформ, как остается зимний лед в глубоких ущельях... Это бывшие «государевы ямщики», мужики,

несущие на жаловании ямскую государеву службу. Государству необходимо поддерживать сношения с отдаленным и мало населенным краем. Изредка проедет по реке чиновник или полицейский заседатель, в неделю раз прокачет почта, порой промчится эстафета или генерал-губернаторский курьер пролетит, как сорвавшийся с цепи, по-старинному понукая ямщика полновесными ударами по шее. И уже совсем редко появится купец или иной партикулярный человек, следующий по собственной надобности и, значит, платящий «прогоны», в общем составляющие совершенно ничтожную цифру...

Да еще порой в эту узкую ленскую щель с юга, от Иркутска, пригонят партию арестантов и пустят ее дальше самостоительно вниз по реке. Начальник партии уезжает вперед, а команда с арестантами растягивается на далекое расстояние. Скрыться из этой щели некуда: направо и налево за береговыми хребтами дикая таежная пустыня, населенная лишь бродячими тунгусами. Назади — уже пройденные станки, население которых, раз накормивши арестанта (своего рода натуральная повинность), в другой раз его не примет. И партия, растягиваясь иногда на неделю, спускается от станка к станку летом в лодках, зимой на дровнях, мечтая о далеком якутском остроге, как о земле обетованной. День за днем на станки являются эти люди в серых халатах, испуганные, подавленные суровым величием этих камней и голодные. Их с проклятиями разводят по очередным избам и проклятиями же сопровождают каждый кусок подаваемого дорогого хлеба...

Наконец, порой поселенец напроказит на приисках, — тогда его снабжают «листом», и ямщики везут его до места приписки... А весной он опять спускается в лодке, чтобы через некоторое время опять катить на обывательских обратно...

В совокупности всего этого — смысл существования ленских ямщиков. Когда-то, давно, по реке проехали землемеры и чиновники, высматривая из лодки «места, годные для поселения», и по глазомеру определяя расстояние. Потом из разных мест России и Сибири пригнали мужиков и поселили на голых камнях. Мужики, по большей части завербованные волшебными сказками о «золотых горах», плакали и били кайлами углубления порой в сплошном камне. В ямы вставляли столбы, на столбы клали венцы и строили избы и юрты... И с тех пор они живут здесь столетия, — мужики, несущие на жаловании государственную

службу. Старинные «ямы» всюду давно исчезли, исчезло крепостное право во всех видах. Осталось оно только на Лене...

Выбор мест для станков, по-видимому, из «государственных видов», останавливался преимущественно на местах, совершенно не удобных для земледелия. Станочники не наделены землей, и все их существование зависит от почтовой гоньбы...

Каждые три или четыре года исправники, их помощники или заседатели проезжают по станкам и заключают с ямщиками контракты «по добровольному соглашению». Для станочников это добровольное соглашение определяется тем, что без «жалования» они перемрут голодною смертью... Целыми станками, поголовно, они будут умирать среди этих равнодушных камней, и никому до этого не будет дела... Зато, если бы они действительно отказались, почтовая служба станет, и необходимое «воздействие центра на окраину» прекратится. В ямщики нужен мужик и только мужик. Варнака-поселенца, с которым пришлось бы пробираться сам-друг этими дикими камнями и ущельями, боится начальство. Якуты и инородцы, в свою очередь, боятся начальства, и было много случаев, когда при первом же окрике или ударе грозного фельдъегеря ямщики-инородцы бросали лошадей и разбегались... Ввиду этого признано, что для правильной гоньбы идет только правильный и настоящий русский мужик, искушенный в долготерпении и понимающий начальственное обращение.

На этой почве возникают отношения в высшей степени запутанные, своеобразные, а пожалуй, и безобразные. Чиновник, отправляющийся по станкам для заключения новых контрактов, прежде всего должен обеспечить гоньбу, а затем сделать это как можно дешевле, так как этим он может отличиться и получить награду. Поэтому в тех местах, где поблизости есть пашни и покосы, которые станочники снимают у якутов или бурят, население держится крепко, и цены за пару доходят иной раз до тысячи и более рублей. Одна из таких счастливых волостей носит даже название «дворянской». Здесь мужчины ходят в приисковых, расширенных кафтанах, собольих шапках, и молодые ямщики курят привозные папиросы «Лаферм» с золотыми орлами на мундштуках. Однажды при мне такой ямщик, которому проезжий обещал на чай, если он подаст лошадей скорее, посмотрел на него равнодушным взглядом и ответил:

— Я тебе, господин, сам, пожалуй, дам на чай,— только не езди!

И это понятно, потому что редкие прогоны, развертываемые по душам,— ничтожны сравнительно с «жалованьем» этих счастливцев.

Зато в других местах, где нет ни пашен, ни покосов, ни сторонних заработков,— цена сбивалась до трехсот и даже до двухсот шестидесяти рублей, особенно в трудные годы дорожевизны хлеба и сена... Население таких обездоленных станков — наследственно угнетенное, необыкновенно печальное и явно вырождающееся. Уйти им целым обществом в переселение — нельзя! Это будет уже «бунт», и начальство примет «строгие меры». Отдельных же членов своих не пустит само общество: остающиеся не желают принять от уходящих часть тяжкого бремени этой ужасной жизни...

Так и тянется забытая историей жизнь своеобразных ямщичьих общин. На каждом станке должно быть столько-то пар лошадей, по стольку-то за пару. Население разделяет «по душам» и почтовую повинность, и плату. «Душа» ямщика это такая-то доля лошади... В станках с меньшим населением эта доля будет больше, и на домохозяина придется половина лошади и даже целая... Где население более многочисленно — душа соответствует четверти, осьмой и т. д. части лошади... Разворстка этих лошадиных «душ» с лежащими на них повинностями и «жалованием» чрезвычайно своеобразна и заслуживала бы внимания исследователя... Если лошадь пала, на ямщика навалят ее работу: он будет грести летом или таскать лодки лямкой... Если работник захворал или умер, — семья тоже вымирает медленной смертью, на которую полуголодные соседи глядят с испуганным состраданием, а камни и леса — с величавым стихийным равнодушием...

В общем — большинство этих забытых жизнью «государевых ямщиков» производят впечатление медленного вымирания. Они болезненны, бледны, печальны и хмуры, как эти берега. Свою родную реку они зовут «проклятою» или «гиблою щелью» и уверяют с полным убеждением, будто «начальники» (устанавливающие «добровольное соглашение») не верят в бога, отчего земля ни одного из них после смерти не принимает в свои недра. «Что губернаторы, что исправники, что заседатели, — все одно... Положат его в домовину, он так скроль землю и пойдет, и пойдет... в самые, видно, тартарары».

И с этими-то несчастными людьми мы, хитростью нашего лукавого врага, были поставлены в положение взаимной борьбы... И теперь еще я не могу вспомнить без

некоторого замирания сердца о тоске этого долгого пути и этих бесконечных споров с людьми, порой так глубоко несчастными и имевшими полное основание подозревать с нашей стороны посягательство на их даровой труд... Да, это была настоящая пытка...

II. МИКЕША

На одной из станций произошла серьезная остановка. Ямщики уперлись и, не видя с нашей стороны решительных действий, продержали нас целые сутки. К счастью, ранним утром я услышал колокольцы: кто-то проезжал на почтовых в Якутск. Пока перепрягали лошадей, я вынул свою дорожную чернильницу и бумагу и при свете камелька стал писать письмо в город, изображая наше положение. Это таинственное в глазах станочников и совершенно необычное действие произвело сильное впечатление. Ямщики входили, смотрели на меня с глубочайшим вниманием, уходили опять, и, наконец, когда письмо было готово и я собрался его заклеивать, вошел, видимо встревоженный, староста, поклонился мне и сказал:

— Зачем писать? Не надо, пожалуйста... Повезем...
Брось бумагу...

И, действительно, около полудня нам подали трех верховых лошадей. На четвертой впереди ехал хозяин-ямщик и еще сзади — вприпрыжку бежал пеший, молодой парень лет двадцати трех, придерживаясь по временам за мое стремя. Дорога на этот раз отошла от берега и пролегала тайгой, уже пожелтевшей, но еще не совсем потерявшей листву... Порой из-за верхушек деревьев мелькали вдали береговые горы и ущелья, освещенные косыми лучами осеннего солнца. Лошади бежали бойко, и, когда я нарочно сдерживал свою, чтобы не затруднять бегущего, — хозяин-ямщик оборачивался и покрикивал:

— Не отставай! Не отставай!

А пеший глубоко вдыхал воздух и прибавлял шагу.

— Ничего, ничего! Ударь!.. — говорил он и, все так же держась за стремя, продолжал бежать рядом...

Это было странное существо с очень смуглым лицом и глубокими вдумчивыми глазами. Пока я писал свое письмо, он, войдя в избу, стоял рядом, не отрывая глаз от клочка бумаги, по которой бегало мое перо, выводя непонятные для него знаки. Когда этот процесс вызвал на станке суматоху и ямщики стали входить и выходить из избы, с явными

признаками беспокойства,— он так же внимательно следил за ними, переводя взгляд с бумаги на лица своих земляков и обратно, как бы изучая таинственную связь, установившуюся между этим листком и их настроением. По временам на лице его мелькало что-то похожее на злорадную улыбку. Когда же, наконец, станок уступил,— он крякнул и вздохнул так сильно, как будто это он сам только что свалил с себя тяжелую работу. В его глазах виднелось выражение восхищения, почти восторга, как будто он присутствовал при волшебном опыте, проделанном с замечательной чистотой, и результаты которого он отчасти предвидел или угадывал. Когда впоследствии ямщики подняли обычные споры из-за очереди и разверстки,— он слушал этот галдеж равнодушно и отчасти насмешливо.

При этом как-то неожиданно вышло, что разверстка запуталась. Общество находило, что везти нас было выгоднее обычных очередей. Мы не пользовались привольствием очередного станочника и, сколько могли, платили на чай везшим нас ямщикам. Таким образом «равнение» нарушалось, очередь становилась слишком легкой, и другим казалось обидно. Очередной ямщик горячился и спорил, находя, что это уже его «фарт», но кто-то вдруг предложил исход:

- Прибавить ему Микешу,— сказал он.
- И верно,— согласились остальные.
- Куда мне его? — протестовал хозяин.
- Ничего,— побежит пешим. Назад, однако, с четверкой трудно тебе... Помогет будто...
- И верно. А ты, значит, ему за четъ... Оно и выйдет вровень...
- Много...
- Чего много?.. Надо тоже и ему как-ни-набудь... хоша бы и Микеше...

Микеша слушал эти разговоры с таким равнодушием, как будто речь шла совсем не о нем. Из разговоров я понял, что его считают несколько «порченым». Хозяйство после смерти отца и матери он порешил, живет бобылем-захребетником, не хочет жениться, два раза уходил в бега, пробираясь на приски, и употребляется обществом на случайные междуочередные работы или, как теперь, в качестве некоторого привеска, для «равнения»...

Теперь этот живой привесок общинных весов бежал рядом с нами, держась по большей части у моего стремени, так как я ехал последним. Когда мы въехали в лес, Микеша

остановил меня и, вынув из-под куста небольшой узелок и ружье, привязал узелок к луке седла, а ружье вскинул себе на плечо... Мне показалось, что он делает это с какой-то осторожностью, поглядывая вперед. Узел, очевидно, он занес сюда, пока снаряжали лошадей.

Вскоре впереди, между перелесками, послышался звон колокольцев, и, растянувшись длинным караваном с переметными сумами в седлах, мимо нас пробежала встречающая почта. Передовой ямщик наш проводил ее разочарованным взглядом,— очевидно он надеялся приехать на станцию раньше и заодно на обратном пути захватить часть почты на свою четверку. К одной выгодной очереди он, таким образом, присоединил бы и другую, выгодную уже для всего станка. Микеша посмотрел на его разочарованную фигуру и свистнул.

— Гляди, умные наши станочники,— сказал он с насмешкой.— Не спорились бы вчера, как раз бы поспели... Четыре лошади не гоняли бы зря...

Очевидно, неудача станочников его не касалась и будила в нем лишь некоторую ироническую наблюдательность...

— Ну-ну! Сам умнай! — со злостью ответил ему ямщик.— Обчество учить станешь...— И он хлестнул опять свою лошадь, выбирайся на дорогу...

После этого мы поехали легкой рысцой, и Микеша вздохнул свободно. Верст уже десять он пробежал, не отставая от рыси лошадей, но, видимо, это скороходное искусство, созданное привычкой с детства, не давалось ему даром. Лицо его слегка побледнело, на лбу были крупные капли пота.

Теперь он, не торопясь, шагал рядом, все так же держась за мое стремя, и зекидал меня вопросами. На мои расспросы о жизни ямщиков он отвечал неохотно, как будто этот предмет внушал ему отвращение. Вместо этого он сам спрашивал, откуда мы, куда едем, большой ли город Петербург, правда ли, что там по пяти домов ставят один на другой, и есть ли конец земле, и можно ли видеть царя, и как к нему дойти? При этом смуглое лицо его оставалось неподвижным, но в глазах сверкало жадное любопытство.

Эта кипучая жадность, горевшая во взгляде молодого станочника, произвела на меня странно-возбуждающее действие, и я, неожиданно для себя, разговорился. Казалось, горы, нас окружавшие, раздвинулись, я заглянул далеко за них и почти бессознательно старался дать

заглянуть туда и этому наивному станочнику. Товарищи уехали вперед, покрививания передового ямщика смолкли, кругом нас тихо стоял лесок, весь желтый, приготовившийся к зиме, а из-за его вершин выглядывали верхушки скал, на которых угасали последние лучи дня.

Через некоторое время дорога вышла из лесу и направилась через опушку к реке. На другой стороне, казалось, совсем близко, стояли стеной скалы, изломанные, причудливые, мертвые, с трещинами, выступами, ущельями... А под ними, убегая вдаль, струилась темная река.

Зрелище было полно такой глубокой и такой красивой печали, что я невольно остановил лошадь. Микеша тоже остановился и с удивлением посмотрел на меня.

— Что стал? — спросил он.

— Хорошо очень, Микеша, — ответил я с невольным восхищением, не отрывая глаз от освещенного косыми лучами горного берега.

— Хорошо? — переспросил он все так же удивленно и прибавил с глубоким убеждением на наивно-изломанном наречии средней Лены: — Нет! Белом свете хорошо. За горами хорошо... А мы тут... зачем живем? Пеструю столбу караулим... Пеструю столбу, да серый камень, да темную лесу...

Впереди из-за куста выглядывал полосатый казенный столб, полинялый и наклонившийся. Его-то, очевидно, и разумел Микеша под «пестрой столбой». В голосе его слышалось столько глубокой грусти, что мне стало вдруг не по себе, как будто я был виноват в чем-то. Зачем я только что с таким увлечением рассказывал ему о далекой стране, куда мы едем? Пройдет месяца два или три, и я буду там, в этом широком белом свете, а этот странный молодой станочник с глубокими черными глазами все равно останется здесь, у своей «пестрой столбы», среди этих красивых, но мертвых и бесплодных камней, над пустынной рекой.

После этого с версту мы проехали молча. Лучи на камнях угасали, в ущельях залегали густые сумерки, насыщенные туманами, которые в Сибири называют красивым словом «мброки». В воздухе быстро свежело. Шаг лошади гулко раздавался по перелескам.

— На Титаринском станке опять, видно, писать будешь? — спросил Микеша, с любопытством поднимая на меня свои наивные глаза.

— Зачем? — спросил я, несколько удивленный.

— Не дадут лошадей, — пояснил он. — Титаринские

станочники — не народ, а дьявол. Не пишешь — не дают, пишешь — боятся. Пиши! Я смотреть буду...

— Не отставай! Не отста-ва-ай! — донесся издалека протяжный окрик передового ямщика.

— Ударь,— сказал Микеша.— Ночь придет...

Я тронул лошадь поводом, но, пробежав несколько сажен, она вдруг шарахнулась в сторону, так что я едва усидел. Впереди на дороге, прямо перед нами, стояли на коленях две человеческие фигуры.

— Батюшка, кормилец... ваше сиятельство!..— услышал я два гнусавых, лицемерно жалобных голоса.— Не дай пропасть душам христианским...

— Ва-ш-ше высоч-чество! — подхватил другой.— Помираем... Обносились, оголодали...

— Бродяги,— спокойно сказал Микеша, остановившись у моей лошади и с обычным своим внимательным любопытством присматриваясь к приемам бродяг и к тому действию, какое они окажут на меня... Вид у бродяг был действительно ужасный, лица бледные, в голосах, деланно-плаксивых и скулящих по-собачьи, слышалось что-то страшное, а в глазах, сквозь заискивающую и льстивую покорность, настораживалось вдруг что-то пристально высматривающее и хищное.

Я дал серебряную монету и вынул кусок хлеба из перенетной сумы. Оба схватились за хлеб, и в голосах их послышалась радостная благодарность. Отъехав на некоторое расстояние, я заметил, что Микеша остановился и дружелюбно, как с знакомыми, беседует с варнаками. Впрочем, через несколько минут он опять присоединился ко мне.

— Сколько дал? — спросил он у меня и, получив ответ, прибавил: — Хитрый варнак. Глаза закатит — слепой делается, ногу подогнет — хромой делается... Одного в лесу встречает тебя — горло перервет, пожалуй. А тут ногам кланяется.

— Ты их знаешь?

— В тайге встречал, чай варили... Этот Иван — умнай, беда! Говорит: царю помогал, деньги делал. Не знаю — правда, не знаю — хвастает... В остроге много сидел.

И, пройдя еще несколько сажен, он прибавил задумчиво:

— В остроге человек много сидит, умнай бывает...

Он вздохнул... Мы опять ехали под скалами, и лицо его мне было видно довольно плохо в вечернем сумраке. Но в его голосе слышались ноты такого же почтительного

удивления к острожникам, какое он выказывал по поводу моего писания...

Через полчаса стало уже совсем темно. Вверху угасали еще в синем небе последние отблески заката, но в затененной ленской долине стояла тьма... Вдруг мой спутник издал легкий гортанный крик удивления и вскочил сзади на круп моей лошади.

— Гони! Скорей! — сказал он.

— Что такое?

— Огонь! Слепой ты, что ли?

Действительно, взглянувшись в темноту, я заметил впереди слабые отблески переливавшегося, как дыхание, огня... Горело где-то в стороне, в ущелье...

— Островский горит, поселенец, — сказал Микеша, всматриваясь вперед и усиленно колотя по бокам лошадь пятками своих торбасов.

Через несколько минут лошадь тяжелой рысью вынесла нас двоих к повороту дороги, и здесь из-за возвышенности перед нами открылось направо широкое ущелье. В глубине его, на отлогом скате горы виднелось догоравшее пожарище. Языки пламени еще вырывались из обугленной кучи бревен, и довольно резкий ночной ветер, дувший из пади, тихо колебал ставшийся по земле беловатый дым. К какой-то человек то и дело мелькал черным силуэтом на фоне пламени и, как мне показалось, кидал что-то в огонь. Невдалеке виднелось еще несколько фигур, конных и пеших, стоявших в некотором отдалении неподвижно, в роли праздных зрителей...

Передовой ямщик успел съездить туда и теперь выехал опять на дорогу. Он сказал Микеше несколько слов по-якутски и хлестнул лошадь. Опять прежний звук, выражавший не то удивление, не то радостный восторг, раздался за моей спиной...

— Чай! — крикнул Микеша. — Погляди ты, какие люди бывают: сам юрту зажигал, амбар зажигал, городьбу, что есть, в огонь бросал... У-у, дьявол!

— Кто это?

— Да кто иной: Островский, говорю, униат...

И Микеша с интересом и оживлением стал рассказывать мне историю этого пожара.

Она была проста и сурова, как эти берега и горы. Несколько лет назад униат Островский был выслан, кажется, за отпадение от православия и поселен на Лене. За ним пришла молодая жена с маленькой девочкой.

Якуты отвели ему надел в широкой пади, между двумя склонами. Место показалось удобным для земледелия, якуты оказали некоторую помощь. Сравнительно нетрудно было сбывать хлеб на прииски, и Островский бодро принялся за работу. Якуты не сказали ему одного: в этой лощине хлеб родился прекрасно, но никогда не вызревал, так как его уже в июле каждый год неизменно убивали северо-западные ветры, дувшие из ущелья, как в трубу, и приносившие ранний иней. Якуты, не желающие вообще поселенцев на своих землях, имели свои виды, а соседи-станочники, арендовавшие у якутов покосы и поэтому зависимые, тоже не предупредили поляка, боясь рассердить якутов.

Первые годы Островский приписывал свои неудачи случайности и, глядя на необыкновенно буйные урожаи, все ждал, что один год сразу поставит его на ноги. И он убивался над работой, голодал, заставил голодать жену и ребенка, все расширяя свои запашки... В этом году лето опять дало одну солому, а осенью измученная горем жена умерла от цинги.

Островский вырыл могилу, без слез уложил жену в мерзлую землю и заровнял ее... Потом он взял билет на прииски и пособие у якутов на дорогу. Якуты охотно дали то и другое в расчете избавиться от поселенца и воспользоваться его домом и кое-каким имуществом. Но Островский обманул эти наивно-хитрые ожидания: он снес все имущество в избу и зажег ее с четырех концов. Этот-то пожар мы и видели теперь, проезжая мимо. Роковой ветер из ущелья раздувал пламя, пожиравшее пять лет труда, надежд, усилий и жертв...

— Все зажигал! В один раз кончил,— заключил Микеша свой рассказ и потом спросил по-своему вдумчиво:

— Уни-ат... Что такое униат?.. Какой человек бывает?

— Вера такая,— ответил я.

— То-то. И он говорит: вера. В одну церковь сам не идет, в другую не пускают. Чего надо?..

Я не знал, как объяснить ему. Мне казалось, что для этого нет слов, понятных Микеше, и некоторое расстояние мы проехали молча среди темной и притихшей тайги... Потом он легко соскочил с лошади и пошел рядом, несколько впереди, заглядывая мне в лицо.

— Другие люди на белом свете,— сказал он серьезно,— вздорят за веру... Есть скопец, есть духобор, есть молокан... Много их мимо нас гоняли. За веру своей

стороны лишаются... А у нас никакая церковь нету...
Лесине хочешь, молись, никто не спросит...

Я молчал. Над горами слегка светело, луна кралась из-за черных хребтов, осторожно окрашивая заревом ночное небо... Мерцали звезды, тихо веял ночной ласково-свежий ветер... И мне казалось, что голос Микеши, простодушный и одинаково непосредственный, когда он говорит о вере далекой страны или об ее тюрьмах, составляет лишь часть этой тихой ночи, как шорох деревьев или плеск речной струи. Но вдруг в этом голосе задрожало что-то, заставившее меня очнуться.

— Другие говорят... никакой бог нету,— говорил Микеша, стараясь в сумерках уловить мой взгляд...— Ты умной, бумага пишешь... Скажи,— может это быть?..

— Не может быть, Микеша,— ответил я с невольной лаской в голосе.

Он вздохнул, как мне показалось, с облегчением.

— Не может быть!.. Враки! — подхватил он убежденко. И, подняв глаза к темным вершинам береговых гор или к холодному небу, красиво, но безучастно сиявшему своими бесчисленными огнями, и как бы отыскивая там что-то, он прибавил:

— Хоть худенький-худой, ну, все еще сколько-нибудь делам-те правит.

Теперь я невольно наклонился с седла, стараясь поймать взгляд человека, только что и так изумительно просто исповедавшего странную веру в «худенького бога». Была ли это ирония?.. Или это было искреннее выражение как бы ущербленной и тоскующей веры, угасающей среди этих равнодушных камней?..

Луна совсем поднялась над суровыми очертаниями молчаливых гор и кинула свои холодные отблески на берег, на перелески и скалы... Но лицо Микеши было мне видно плохо. Только глаза его, черные и большие, выделялись в сумерках вопросительно и загадочно...

— Не отста-вай, не отста-ва-ай!.. Ночь пришла-а! — слышалось издалека, из глубины таинственной и сумеречной дали...

III. ОТЧАЯННЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ТИТАРИНСКОМ СТАНКЕ

Предсказание Микеши сбылось: на Титаринском станке опять не призывали нашу «бумагу», и опять целый день

мы провели без движения в избе очередного станочника. В середине этого дня уехал обратно наш прежний ямщик. К его, а отчасти и моему удивлению, Микеша не последовал за ним, а остался на станке. Ямщик звал его, ругался, грозил даже, но Микеша молча сидел на лавке, потупившись, с видом безнадежного упрямства. Когда ямщик, наконец, увязал гусем всю четверку и, сев на переднюю лошадь, еще раз крикнул Микешу, тот только махнул рукой и ответил:

— Не еду я!.. — И потом, повернувшись ко мне, спросил: — Писать будешь? Пиши, пожалуйста.

Но писать мне на этот раз не приходилось: почта пробежала вчера, проезжающих не было, и до следующей почты у титаринцев времени было слишком много, чтобы испытать наше терпение. Оставалось сидеть в избе, бродить с тоской по берегу Лены и ждать счастливого случая.

К вечеру на станке появился вдруг «униат» Островский. Это был человек небольшого роста, коренастый, с сильно загорелым энергичным лицом настоящего земледельца. На плечах он нес несколько связанных вместе узлов, образовавших целую гору, а за полу его суконного кафана держалась девочка лет восьми или девяти, тоненькая, бледная и, видимо, испуганная. Я встретил его на площадке и сразу угадал, кто это: в глазах у него как будто застыло охладевшее тяжелое горе. Станочники робко оглядывались при встрече с этим человеком, в несчастии которого станок чувствовал и свою долю, хотя и пассивного, участия.

Он спросил очередную избу и вошел в нее вслед за мною. Не скидая шапки и не здороваясь, он сбросил на лавку свою ношу и сказал грубо:

— Ну, хозяева, принимайте гостя. Чайник, лепешку, живо!

— Вот он какой... униат,— сказал мне Микеша, тотчас же принявшийся наблюдать суетню оробевших хозяев... Наш чайник был уже готов, и мы пригласили Островского разделить с нами наши дорожные запасы. Но он осмотрел нас с холодным вниманием и, составив какое-то заключение, ответил решительно и сурово:

— Нет, вы люди дорожные... А с ними я все равно сосчитаюсь,— прибавил он с усмешкой, кивая в сторону хозяев.— Ну, живее, что ли! Падаль!

— Позвольте хоть девочку напоить чаем.

Он посмотрел на нее, поколебался и потом сказал дочери:

— Садись с ними... Да мне только для нее и нужно... Самому и кусок в горло не пойдет.

В последних словах прозвучала горечь и как будто усталость. Свои дальнейшие планы, на наш вопрос, он изложил с холодным лаконизмом:

— На прииски иду... Если дорогой не пропаду, найдусь... А девчонку стану господам продавать...

Я с ужасом взглянул на него, стараясь разглядеть в суровом лице хоть что-нибудь, что выдало бы неискренность его слов. Но его лицо было просто пасмурно, слова звучали резко, как холодные льдины во время ледохода... А девочка ласково прижималась к нему, и грубая рука, может быть, механически гладила ее волосы...

— Как же вы доберетесь с девочкой до приисков? — спросил я.

— В лодке, — ответил он сухо.

— У тебя, Островский, разве есть ладья? — вкрадчиво спросил хозяин избы.

Островский уставился в него своим тяжелым, холодным взглядом.

— Мало, что ли, лодок на берегу?.. — ответил он. — Возьму любую...

— Так то ведь наши, — наивно сказал станочник, и, видя, что Островский только усмехнулся, он как-то робко поднялся и вышел из избы.

После этого на площадке, освещенной луною, собрались станочники, и даже в нашу юрту долетали их шумные разговоры. Станок жужжал, как рой беспокойных пчел. По временам ямщики поодиночке входили в избу, здоровались, переминались у камелька с ноги на ногу и смотрели на пришельца, как бы изучая его настроение. Островский не обращал на все это ни малейшего внимания. Он сидел, согнувшись, на лавке, против огня; по временам клал в камелек полено и расправлял железной кочергой угли...

Проснувшись среди ночи, я увидел его в той же позе. Слабый огонек освещал угрюмое лицо, длинные, опущенные книзу усы и лихорадочный взгляд впалых глаз под нависшими бровями. Девочка спала, положив голову ему на колени. Отблеск огня пробегал по временам по ее светлым, как лен, волосам, выбившимся из-под красного платочка. Кроме Островского, в юрте, по-видимому, все спали; из темных углов доносились разнотонное храпение.

Девочка потянулась и заплакала.

— Спи! — сказал отец угрюмо. — Ночь еще...

Она всхлипнула как-то горько и спросила сонным голосом:

— Куда пойдем?..

— Ага! — с злобной горечью ответил про себя Островский.— Когда бы я сам знал... К дьяволу, верно... Больше некуда...

— Куда? — громче спросила девочка, но сон брал свое, усталое тельце снова съежилось, и она стала засыпать.

— Ку-да?.. Куда-а? — еще раза два прошептали сонные губы, и, не дождавшись ответа, она заснула.

Сквозь стены доносилось к нам жужжанье голосов. Я протер запотелое оконце и глянул наружу.

Ночь сильно изменилась... Луна поднялась высоко над горами и освещала белые скалы, покрытые инеем лиственицы, мотавшиеся от ветра и кидавшие черные тени. Очевидно, после полночи ударил мороз, и вся каменная площадка побелела от инея. На ней черными пятнами выделялась группа людей... Станочники, очевидно не ложившиеся с вечера, обсуждали что-то горячо и шумно.

Потом группа ямщиков медленно направилась к нашей юрте. Дверь скрипнула, ворвался клуб холодного воздуха... Ямщики один за другим входили в избу, подходили к камельку, протягивали руки к огню и смотрели на Островского. Тот как будто даже не замечал их...

После всех вошел седой старик. Очевидно, его сняли с теплой лежанки собственно для этого случая. Волосы у него были белые, как снег, редкие усы и борода тоже. Рука, опиравшаяся на длинную палку, дрожала. Под другую руку его поддерживал молодой ямщик, вероятно, внук.

— Здравствуй, брат! — сказал он слегка дрожащим по-старчески, но приятным и каким-то почтенным голосом.

— Здравствуй, дед, — ответил Островский, не поворачиваясь.— Зачем слез с печи?

— Да, дело старое, — вздохнул старик и потом спросил политично: — На прииски собрался?

— Ну, на прииски. Так что?

— Добро... Как пойдешь с девочкой?

— В лодке.

— Где возьмешь?

— У вас...

— Дорогой чем девку кормить станешь?

— Хлебом.

— Где возьмешь?

Вы дадите... Пуд муки и кирпич чаю!..

Среди ямщиков послышался негодуший говор. К камельку протискался, между тем, Микеша, и мне с моего места было видно его заинтересованное лицо. Черные лаза переходили с мрачной фигуры Островского на потенциального станочного патриарха.

Тот покачал головой. Островский посмотрел на него, усмехнулся и сказал:

— Ну, говори, старый хрыч!

— Буду говорить,— сказал старик.— Я, старый человечек, могу тебе сказать. А ты, молодой, послушай. У тебя, Матвей, изба была ведь?

— Была.

— Что ты с нею сделал?

— Спалил, чтоб собакам якутам не досталась.

— Твое дело. У тебя добро тоже было... Где оно?

— С дымом улетело.

— Пошто с дымом пустил? Огонь съел, спасибо не сказал. Мы тебе соседи. Пришел бы к нам... Возьмите, дескать, что осталось. Сбруя, телега, два хомута, дуга хорошая, стол, четыре лавки... Вот и добро было бы. Ты бы до нас, мы до тебя...

— Не надо! Все спалил, чтоб и вам не досталось.

— Ну, спалил, твое дело. Зачем теперь к нам пришел? Островский посмотрел на старика прищурившись.

— Ты не знаешь, зачем я пришел?.. Сосчитаться с вами пришел. Давайте лодку, давайте хлеба... Дешево прошу... Смотрите, не обошлось бы дороже...

— Иди, у огня проси...— ответил старик, сердито стукнув клюкой.— Огню все отдал, у него и проси. Нам не давал, как теперь просишь? Негодяй!

Эта ясная логика и твердый тон пришлись, очевидно, по вкусу ямщикам. По всей избе пошел одобрительный говор. Но Островский только сверкнул глазами и с внезапной яростью ударил кочергой по дровам. Пук искр метнулся в трубу камелька... Ямщики дрогнули; ближайшие попятались.

Девочка, разбуженная резким движением, проснулась и села на скамье. Островский не обратил на нее внимания.

— Вот так,— сказал он с дикой энергией,— пошло все мое добро... Видели, как хорошо горело вчера ночью?

Он повернулся и посмотрел на замолкшую толпу ямщиков упорным и злым взглядом...

— Своего не пожалел... Думаете — ваше пожалею?

В толпе опять послышался ропот. Микеша тяжело перевел дух.

— Нас, смотри-ка, много,— сказал сзади чей-то задорный голос.

Островский посмотрел туда и отвернулся опять к огню.

— Убейте,— сказал он спокойно.— И меня, и девку... Мне все одно. А не убьете,— давайте хлеба, давайте лодку... И с парусом...

— Еще с парусом ему!..— зароптали ямщики.

Старик стукнул палкой об пол и, когда водворилось молчание, сказал:

— Слушай, Матвей. Я тебе еще скажу слово, ты послушай.

— Говори, мне все одно, что ветер.

— Ты сюда за что прислан?.. За веру?

— Забыл,— угрюмо ответил Островский.

— В господа бога веруешь? — торжественно сказал станочный патриарх, глядя ему в лицо.

— Не знаю,— ответил Островский, и вдруг поднялся со скамьи. Ямщики шарагнулись прочь, тесня друг друга.

— Слушай,— сказал Островский, отчеканивая слова.— Слушай и ты меня, старая со-ба-ка...

— А-ха! — охнул внезапно Микеша при этом тяжком оскорблении станочного патриарха. Ямщики смолкли. Несколько мгновений слышно было только легкое потрескивание огня в камельке.

— Помнишь ты,— продолжал Островский,— как я в первый раз приходил к тебе с женой, как я кланялся твоим седым волосам, просил у тебя совета?.. Аа! ты это позабыл, а о боже напоминаешь... Собака ты лукавая, все вы собаки! — крикнул он почти в исступлении, отмахнувшись от девочки, которая, не понимая, что тут происходит, потянулась к отцу.— Вы — дерево лесное!.. И сторона ваша проклятая, и земля, и небо, и звезды, и...

Он остановился, и в потемневшей избушке опять водворилось молчание, полное тяжелой подавленности и испуга... Островский опустился на скамью, тяжело переводя дыхание, с искаженным, почти неузнаваемым лицом... Через несколько мгновений оно все передернулось неприятной гримасой, отдаленно напомнившей улыбку, и он насмешливо сказал старику:

— Ну, скажи еще что-нибудь...

— Нечего с тобой и говорить, с отчаянным,— ответил старик грустно и как-то сконфуженно повернулся к вы-

ходу. Станочники молча расступались, но вид у патриарха был приниженный и жалкий... Микеша прошел за камельком и, тихо сев рядом со мной, сказал после короткого молчания:

— Слыхал?.. А? Как он его... Евстигнея Прокопьича... Собака ты, говорит... А-ай-а-ай! Теперь, гляди, станочники все дадут. Побоятся... Чистой дьявол...

— Уни-ат,— прибавил он в раздумье, покачивая головой, как будто в этом малопонятном слове заключалась загадка странного могущества Островского...

Ямщики один за другим, в глубоком молчании, выходили из избы...

Вскоре, столпившись на той же площадке, они зажужжали и заспорили снова... Микеша угадал: ямская община, нравственно побежденная в лице патриарха, уже сдалась, станочники наметили старую лодку с оборванным парусом, оценивали ее и развертывали по душам этот непредвиденный расход... Станок, очевидно, спешил избавиться от человека, который дошел до того, что уже не дорожит ничем и ничего не боится.

Островский все еще сидел на лавке. Потом он оглянулся по опустевшей избе, и его взгляд встретился с моим. Глаза его, еще недавно горевшие, теперь были совершенно тусклы и неприятно, как-то матово отсвечивали под слабым огнем камелька.

— Ха! — сказал он, продолжая глядеть на меня этим тяжелым взглядом.— За веру!.. Бога вспомнили... Давно это было... Не хотел ребенка хоронить на православном кладбище... Теперь жену зарыл в яму, завалил камнями, без креста, без молитвы... Лес, камни... и люди, как камни...

Он провел рукой по лицу и, как будто отряхнувшись, заговорил спокойнее и с насмешкой:

— Я бьюсь, голодаю, жду... В конце лета приходит мороз, и кончено... И если бы я работал до судного дня,— было бы все то же. А они знали... И никто не сказал, ни одна собака!..

— Врешь, Островский,— послышался вдруг около меня голос Микеши.— Я тебе говорил...

Островский пристально всмотрелся и увидел говорившего.

— А, это ты, Микеша... Верно,— ты говорил, да я не послушал, потому что ты полоумный... А умные говорили другое...

При слове «полоумный» я невольно взглянул на Ми-

кешу Он сидел, опустив голову, лица его не было видно
но он не сказал больше ни слова...

Через час, когда Островский напился, как ни в чем не
бывало, чаю вместе с хозяевами, а мы напоили его девочку,
пришел молодой ямщик, принес в мешке муку и сказал,
что лодка для Островского выбрана.

Меня поразило благодушное выражение голоса этого
ямщика. Очевидно, раз общество решило,— ему уже не
было дела до того, каким путем была отвоевана эта лодка...
Ее приходилось еще чинить, но так как до берега было
не близко, то Островский собрался совсем. Он заботливо
одел девочку и взвалил на плечи свои узлы. Мы дали
девочке сахару, белого хлеба и несколько серебряных
монет. Она вопросительно посмотрела на отца. Он не
сказал ни слова, не поблагодарил, даже не посмотрел
в нашу сторону, но и не помешал ребенку сунуть все
полученное в небольшую котомку. Лицо его оставалось все
так же холодно и решительно. Уходя, он сказал только:

— Прощайте, господа! Вас они тоже повезут... В лодке
не соглашайтесь... Повезут, подлецы, и на лошадях.

И, повернувшись на пороге, он прибавил:

— Бейте по морде... Тогда доедете скоро...

Затем он вышел, ведя девочку за руку.

Я посмотрел за ними в окно. Долгая осенняя ночь
чуть-чуть бледнела, но луна все так же светила с вышины,
так же дул предутренний ветер, так же качались и бились
лиственницы под большой скалой, так же мелькали по
инею отблески и тени. Только теперь к этому мельканию
прибавились три человеческие фигуры. Впереди шел мол-
одой ямщик, сзади — нагруженный Островский и рядом
с ним девочка. И на белой равнине за ними следовали
черные тени: одна огромная и уродливая, другая тоненькая
и как будто готовая растаять среди этого холода и
камней...

IV. ПО РЕКЕ

По-видимому, раз уступив Островскому, станок как бы
потерял силу сопротивления, и это послужило нам на
пользу. Утром в избу вошел незнакомый нам ямщик,
небольшой, коренастый, с беспокойно бегающими глазами.
Он помолился на образ и, не глядя на нас, спросил:

— Чего думаете делать?.. Общество лошадей не дает

— А тебе что нужно?

— Да я об вас хлопочу. В лодке, пожалуй, ямщики согласятся.

— Ну, в лодке, так в лодке.

Маленькие глазки ямщика радостно сверкнули.

— Значит, согласны? — прорвалось у него восклицание, и он быстро направился к двери. Отворив ее, он повернулся и сказал:

— Микеша, подь-ка сюда... Говорить надо.

Через час мы уже были на берегу реки. Солнце поднялось над горами и сгоняло иней, еще лежавший в тени. Холод начинал уступать перед солнечными лучами, но в заливчиках и затонах держались еще льдистые иглы...

Подходя к берегу, мы с удивлением увидели, что к лодке подходит также Микеша. На одном плече он нес весла, на другом висела винтовка, в руке у него был узелок, который он тщательно спрятал в ящик на корме.

Проделав все это, он посмотрел на меня как будто укоризненным и слегка пренебрежительным взглядом.

— Зачем не писал? Лошадям ехал бы... Дальше тоже лошадей давали бы... Лодкой худо... Когда доедешь?

Мы, очевидно, много потеряли в его глазах, так легко согласившись ехать в лодке, тем более, что станок, в сущности, уступил бы, и мы стали жертвой хитрости старого ямщика. У него пала лошадь, и он отправлял свою долю повинностей греблей. Поэтому он стоял на сходе за то, чтобы нас везти, но непременно в лодке, — таким образом ему выпадала сравнительно легкая очередь. Общество сомневалось, согласимся ли мы тащиться сорок пять верст против течения, когда дорога еще допускала более удобный и скорый способ передвижения. Старый ямщик взялся уговорить нас и теперь, к явному разочарованию Микеши, торжествовал легкую победу...

— У-у! хитрой ямщик, — говорил он, глядя с улыбкой на торопливо бежавшего по берегу старика. По-видимому, «хитрой ямщик» боялся, что мы еще можем раздумать.

Но мы беспрекословно уселись в широкую лодку, старик двинул ее багром, а Микеша толкал с носа, шлепая по воде, пока она не вышла на более глубокое место. Тогда и Микеша вскочил в нее и сел в весла.

Не успели мы обогнать небольшой мысок, как от станка к берегу подбежала девочка и кинула нам с деревянных мостков узелок.

— Что это? — спросил я.

— Ничего, ничего, так, посылка... — ответил старик.

— Хлеб, чайник... — пояснил Микеша. — На острове чай пить будем. Далеко...

Старик сердито посмотрел на него: он уверял, что до захода солнца мы уже будем на станке, и боялся, что разоблачение Микеши еще может изменить наше решение. Он открыл дверку ящика, чтобы сунуть туда свой узелок, и остановился с удивлением, видя, что место занято. Мне показалось, что Микеша в свою очередь смущился, когда старик нашупал рукой в его узелке сапоги.

— Это что? — спросил старик, пытливо глядя на Микешу. — Сапоги взял, барахло взял, винтовку взял... Смотри, Микеша, опять, видно, дурить хочешь...

Микеша не ответил и только крепче налег на весла, так что они застонали в уключинах... Лодка взмыла вперед, под килем забились и зажурчали ленские волны. Высокие горы как будто дрогнули и тихо двинулись назад. Темные крыши Титаринского станка скоро потонули за мысом.

День обещал быть теплым. Ветер стих, речная гладь сдва шевелилась, и широкие, пологие волны лишь тихо колебали, не взламывая, зеркальное отражение скал. Горы противоположного берега казались совсем близко, и, только пристально вглядываясь в подробности, можно было заметить, что это обман зрения; овраги представлялись извилистыми трещинками, а огромные лиственницы на склонах — былинками...

Наша лодка, тихо покачиваясь, шла точно по водяной аллее. По временам, будто кинутый чьей-то невидимой рукой, из-за гор вылетал черной точкой орел или коршун и плавно опускался к реке, проносясь над нашими головами. Порой где-то в воздухе раздавался торопливый перезвон птичьей стаи, но глаз не мог различить ее на пестром фоне лесистых скал, пока совсем близко в воздухе не пролетала стремительно горсточка черных точек, торопясь, свистя крыльями, погоняя друг друга и тотчас же сливаясь с пестрым фоном другого берега. Только серые бакланы неторопливо, деловито держались по следу нашей лодки, то припадая грудью к воде, то трепыхая на месте крыльями и погружая в воду тонкие красные лапки.

Порой дорогу нам загораживала далеко вдавшаяся в реку отмель... Тогда Микеша входил беззаботно в холодную воду, иногда по пояс, и тащил лодку лямкой.

— Гляди, вон там, под горой, Островский идет, — сказал мне ямщик, указывая вдаль. Вглядевшись пристально в пеструю полоску другого берега, я действительно

увидел на воде тихо двигавшуюся лодочку, а по камням, часто теряясь между ними, двигалась, как муравей, черная точка. Это Островский тащил лодку лямкой.

Плес был прямой, и долго я видел впереди эту точку, пока бессонная ночь и утомление не взяли свое, и я заснул под мерное взвизгивание уключин. Оба мои спутника тоже давно спали на дне широкой лодки.

Когда я проснулся, то сразу заметил, что кругом что-то изменилось. Микеша торопливо шлепал по воде, таща лямку, старик правил рулем, и лодка, круто забирая волну, перерезывала широкую курью (залив), направляясь к середине реки. В воздухе посвежело, берега как будто прижмурились, лица ямщиков были озабочены, движения торопливы.

— Сядь-ко к рулю, скорее будет,— сказал мне старший ямщик, заметив, что я проснулся.— Держи вон туда, на остров,— прибавил он, указывая на едва заметную полоску земли, как будто прижавшуюся к самому берегу на другой стороне, но оказавшуюся впоследствии большим островом на самой середине реки. Я сел к рулю, Микеша, разбрызгивая холодную воду, взобрался в лодку, и она понеслась наперерез течения.

— Халан (снеговая туча) придет,— пояснил старик.— Авось, еще на остров поспеем.

Я не видел никакой тучи. Лодка наша торопливо удалялась от одного берега, но другой как будто не приближался, и река, имеющая здесь около шести верст в ширину, только раздвигалась перед нами, как море. Вверх по течению широко разлившаяся водная гладь почти сливалась с золотом близкого заката, и только туманная синяя полоска отделяла воду от неба.

Все было светло, задумчиво, спокойно.

— Где же туча? — спросил я, удивленный тревожной торопливостью ямщиков. Старик не ответил. Микеша, не переставая грести, кивнул головой кверху, по направлению к светлому разливу. Вглядевшись пристальнее, я заметил, что синяя полоска, висевшая в воздухе между землею и небом, начинает как будто таять. Что-то легкое, белое, как пушинка, катилось по зеркальной поверхности Лены, направляясь от широкого разлива к нашей щели между высокими горами.

— Работай, работай! — поощрял старик, сам с усилием налегая на весла.

По лицам ямщиков катились крупные капли пота, руки

напрягались... Лодка неслась, как стрела, остров заметно отделялся от противоположного берега.

— Не поспеть,— сказал старший, повернув озабоченное лицо в сторону все мутневшей дали...

— Не сдавай книзу, смотри! Как бы не миновать острова...

Я повернул лодку и сразу почувствовал, что ее колыхнуло сильнее, приподняло, и в бока ударила торопливая, тревожная зыбь... Бежавший перед тучею охлажденный ветер задул между горами, точно в трубе. От высокого берега донесся протяжный гул, в лицо нам попадала мелкая пыль водяных брызгов, между берегом и глазом неслась тонкая пелена, смывавшая очертания скал и ущелий...

— Ну, запылит теперь,— сказал старик,— держи, смотри, потверже, помни, где остров.

С гор несся уже протяжный шум лиственниц, и скоро к нему присоединился плеск прибоя. Некоторое время было видно, как берег весь побелел от пены. Но вскоре все это стало исчезать... По всей реке запорхали белые снежинки, ложившиеся на темные волны. Они становились все гуще, заволакивая сначала дальние уступы, потом ближние скалы, потом самый обрез берега... Птичий голос смолкали, жизнь, казалось, уходила с реки... Только чайки вскрикивали еще нервно и отрывисто, кидаясь навстречу ветру, гнавшему тучу и сгущавшему ее между высокими горными берегами... Некоторое время сквозь эту пелену еще доносился шум лиственниц, потом смолк и он, как будто задавленный густым снегом; ветер тоже стихал...

Один из моих товарищей, крепко спавших на дне лодки, проснулся от этой тишины, поднялся и, протирая глаза, спрашивал с удивлением:

— Что такое? Где мы?

Кругом стало однообразно, бело, спокойно, и только миллионы снежинок, больших, плоских, пушистых, порхая и кружась, сыпались на воду, на весла, на лодку, на лица гребцов. Скоро края лодки, лавки, одежда побелели под толстым слоем снега.

Ямщики сложили весла и тяжело перевели дыхание... Кругом стояла будто белая стена, а на небольшой площадке воды у самой лодки густо валились белые хлопья, таявшие в воде и тотчас сменявшиеся другими...

— Что же, надо все-таки грести к острову,— сказал я.

— А где он, остров? — ответил насмешливо старший ямщик.

Действительно, определить направление было трудно. Лодка, покачиваясь, казалось, стоит на месте на небольшом темном кружке воды, окруженном белою непроницаемою стеною. Но вдруг Микеша наклонился, протянул весло и вытащил из воды таловую ветку с неопавшими еще листьями.

— Остров близко,— сказал он,— там...

Через минуту из белого тумана опять показались очертания, и мимо нас проплыло целое деревцо, очевидно, только что оторвавшееся с крутой, оставляя за собой глинистый след еще не обмытых корней. Ямщики бодро ударили в весла...

Прошло с четверть часа, и нос лодки уткнулся в крутой и обрывистый берег. Остров был плоский, и укрыться от снега было негде; ямщики нарубили сухого тальнику, и белый дым костра смешался с густой сеткой снега... Я посмотрел на часы: было уже довольно поздно, и скоро за снеговой тучей должно было сесть солнце...

— А далеко еще до станка? — спросил я.

— Недалече,— ответил старик, бегая своими плутоватыми глазами.— Вот чаю напьемся, остров ляжкой пройдем, потом ударимся на ту сторону...

Микеша усмехнулся.

— Остров десять верст,— сказал он равнодушно,— той стороной тоже десять... Ночь- полночь — и то на станке не будем... Ты писать можешь, а старик умнее тебя: обманул! — прибавил он.— Хитрой! Тюрьма сидел, и то оправился.

— За что? — спросил я.

— За купчиху,— ответил Микеша, спокойно и с некоторым любопытством взглядываясь в изменившееся лицо старика. У того глаза сверкнули внезапным огоньком.

— За какую купчиху... Врешь ты,— сказал он живо.— Не хлопай, чего не знаешь...

— Да тебя не Фролом ли звать? — спросил я.

— Ну, Фролом. Так что? — ответил он, настороживаясь, и в глазах его проступило что-то злое и чуткое, точно у зверя, сознавшего опасность...

Историю этого Фрола мне рассказывали еще в Якутске, так как несколько лет назад она занимала всю Лену, небогатую вообще событиями. Это был когда-то хороший хозяин, и жена у него, значительно моложе его самого, считалась красавицей. Говорили, что он очень любил ее, но и учил дьявольской ревностью, особенно после того, как, ув-

лекшись каким-то кудрявым хохлом-поселенцем, она убежала было с ним на прииски... Ее скоро вернули, она захвотила и умерла от тоски или от побоев. Фрол сначала очень тосковал, потом вдруг успокоился и даже повеселел. Когда ему напоминали о жене или принимались сватать других, он только лукаво усмехался и как-то загадочно уверял, что она опять убежала, но скоро вернется.

Однажды, лунною осеннею ночью, на середине перегона между двумя станками ему встретился ямщик соседнего станка, предложивший обменяться пассажирами. Это обычный прием ямщиков, выигрывающих таким образом целую путину. Пассажиры спали в открытых кибитках и не слышали даже, как ямщики перепрягали лошадей... Отъехав недалеко, встречный ямщик услышал назад как будто испуганный крик. Но он не обратил на него внимания и поехал дальше.

Оказалось, что пассажирка, ехавшая с ним до этой перепряжки, очнулась, когда Фрол влезал на козлы. Удивленная остановкой, она отодвинула фартук, и на Фрола взглянуло внезапно женское лицо, освещенное светом полной луны...

Что было после этого, и сам Фрол, и обезумевшая от испуга пассажирка помнили плохо. Только уже днем Фрол привез ее на станок, но вместо того, чтобы высадить у почтовой станции, привез к своей избе, сгреб в охапку, внес в избу и крепко запер. На расспросы соседей он объявил, что к нему опять вернулась жена, и что теперь он ее уже не отпустит... Явился староста, собрались станочники, и у сумасшедшего с трудом отбили до бесподобия испуганную женщину, оказавшуюся вдовой-купчихой из приленского города, часто разъезжавшей по торговым делам.

Суд признал Фрола невменяемым, и он опять вернулся в общество, только хозяйство его сильно пошатнулось.

— Как мог оправиться? — спрашивал теперь у меня Микеша, с любопытством присматривавшийся к странным огонькам, тревожно вспыхивавшим в глазах старика...

Я тоже с любопытством взглянул на Фрола. Он был низкого роста, с широкими плечами, длинными руками и быстрыми движениями сильной обезьяны. В скуластом зеленовато-желтом лице, с тонкими, постоянно как будто жевавшими губами, виднелись типические признаки вырождения. Глаза бегали, и теперь в них загоралось лукаво скрытое мелькающее выражение, как будто он что-то затаил в себе, что-то относящееся до этой истории, известное

ему одному, чему глупые люди, пожалуй, не поверят. Микеша приглядывался к нему с любопытством и отчасти с насмешкой; он, вероятно, давно уловил этот двойственный взгляд Фрола и по-своему характеризовал его часто повторяемым словом: «хитрой». Мне казалось, что из бегающих глаз этого станочника глядело просто сумасшествие... Очевидно, и теперь еще в нем, среди этих сумрачных скал, шла какая-то своя жизнь, полная сумасшедших мечтаний, быть может, радостных и светлых, а может быть, и еще более мрачных, чем эти горы. Но трудная доля ямщика, не дававшая отдыха и досуга от тяжелых повседневных забот, не выпускала его из своих тисков, и ей, вероятно, он был обязан тем, что ему позволяли оставаться на реке, вместо сумасшедшего дома, и тянуть до нового случая будничную лямку здравомыслящих земляков...

Впрочем, скоро беспокойные огоньки в его глазах, освещавшие эту глубоко скрытую и таинственную глубину омраченной человеческой души, угасли. Он стал распоряжаться закипавшим чайником... Только лицо его стало несколько бледнее, и губы все как бы жевали что-то...

— Где-то теперь Островский? — спросил я, чтобы переменить разговор...

— Куда девается? — ответил Фрол. — Тоже где-нибудь чай варит на том берегу... Варнак проклятой!..

— Чего ругаешься? — спросил Микеша.

— Хвалить, что ли, стану... — огрызнулся Фрол. — Лодку с общества взял нахрапом... Лодка чего-нибудь стоит...

— На прииски пошел... Проклятое место сидеть не хочет, — задумчиво сказал Микеша и потом, усмехнувшись, прибавил: — А титаринские испугались. Тридцать человек боятся... Один человек не боится... Деньги, сказал бы, давайте, деньги дали бы... Удивительное дело... Уни-ат!

— А тебе любо? — ехидно спросил Фрол и, живо повернувшись ко мне, сказал: — Микешко этот вот какой человек: гоньба гонять — не хочу, жениться — не хочу, начальник возить — не хочу. Ничего не хочу! Как будешь жить?..

— Неволя жить не хочу, — задумчиво и просто сказал Микеша. — Пашпорт давали бы, — белый свет пойду...

Фрол посмотрел на него долгим и насмешливым взглядом...

— Безумной! — сказал он убежденно. — Как пашпорт тебе дадут? Другой тоже пашпорт хочет... Все захотят, кто на станке останется? Начальник приедет, кто повезет?..

Микеша промолчал. Лицо у него было грустное. Быть

может, он признавал неодолимую правильность аргумента, но внутри у него бессознательно, нелогично и непобедимо засело стремление к белу свету и вольной воле. Вообще мне казалось, что теперь роли ямщиков радикально изменились. Фрол представлял собою само здравомыслie, вековую мудрость ямщицких общин,— и он с уничтожающей насмешкой смотрел на «безумного» Микешу. В глазах последнего стояла лишь грустная растерянность и темное, бессознательное стремление... неизвестно куда...

— Как же ты говоришь,— застуился я за Микешу, к «безумию» которого я почувствовал глубокую симпатию,— как ты говоришь, что он не хочет работать, когда вот он лямку с тобой же тянет...

— Так тó я его нанимал,— ответил Фрол насмешливо.— Какой это станочник на чужой станок нанимается, свою очередь держать не хочет... Два раза бегал... обществом пороли... Может, скажешь, неправда?

Микеша продолжал молчать.

— Теперь, гляди, опять чего-то надумал,— с чисто мефистофелевской улыбкой продолжал Фрол, пронизывая бедного Микешу острым и насмешливым взглядом.— Скажешь — и это неправда? А зачем барахло взял?.. Сапоги зачем? Ружье для чего захватил? Смотри, общество все равно достанет тебя... Опять портки спустят.

Он говорил с негодованием и увлечением. Но Микеша вдруг перевел на него свои выразительные глаза, в которых засветилась определенная мысль, и сказал просто:

— Меняй у меня лодку. Моя лодка на станке осталась, хорошая!..

Маленькие хитрые глазки Фрола забегали. Он был сбит с бескорыстно-обличительной колеи и не мог сразу попасть на другую, тем более, что ему приходилось стать пособником подозреваемого нового побега. Через некоторое время, однако, он ответил заискивающим тоном:

— Придачи, Микешенька, не спросишь?

— Где придачу возьмешь? Лодку сегодня давай. Проеезжающих доставим, я в лодку сяду, ты пешком назад пойдешь.

— А я потом как твою ладью достану? Станочники не отдадут.

— Бумагу пишем. Вот он бумагу пишет,— указал Микеша на меня.

— Пишешь бумагу? — живо спросил у меня Фрол...— Ну, когда так,— меняю!

Они ударили по рукам, и я тут же на листке, вырванном из записной книжки, наскоро написал условие, буквы которого расплывались от снега. Фрол тщательно свернул мокрую бумажку и сунул в голенище. С этой минуты он становился обладателем хорошей лодки, единственного достояния Микеши, которому в собственность переходила старая тяжелая лодка Фрола. В глазах старого ямщика светилась радость, тонкие губы складывались в усмешку. Очевидно, теперь он имел еще больше оснований считать Микешу полоумным...

Снегу, казалось, не будет конца. Белые хлопья все порхали, густо садясь на ветки талины, на давно побелевшую землю, на нас. Только у самого огня протаяло и было черно. Весь видимый мир для нас ограничивался этим костром да небольшим клочком острова с выступавшими, точно из тумана, очертаниями кустов... Дальше была белая стена мелькающего снега.

Вдруг оба ямщика насторожились.

— Будет! — сказал старик, подымаясь.— Собирайся, ребята, халан проходит...

Где-то совсем близко послышалось веселое щебетанье птиц, как будто птичья стая радовалась опять наступившему свету, и вслед за этим я и оба мои товарища вскочили на ноги, пораженные, почти испуганные. Сплошная завеса снега разорвалась в вышине, и оттуда, как-то угрожающе близко, точно в круглое окно, глядел на нас огромный утес, черный, тяжелый, опущенный снегом, с лиственницами на вершине. Впечатление было такое, как будто кто-то огромный и мрачный тихо раздвинул сугревую тучу и молчаливо смотрит сверху на кучку людышек, маленьких и беззащитных, затерявшихся на пустом острове.

Мгновение... окно закрылось, утес исчез, как мимолетный кошмар, но снег уже пришел в движение и несся мимо, волнуясь и колеблясь. Опять в этой колеблющейся пелене мелькнул разрыв, другой, чаще и шире, и через несколько минут весь горный берег выступил перед нами в поражающем величии...

Огромные базальтовые скалы стояли у самой воды, возвышаясь вершинами вровень с хребтом... Столбы, арки, крепостные стены с зубцами, башни, мосты, пещеры, фасады причудливых зданий, разбросанных по гигантскому склону,— все это, опущенное по выступам белыми каймами снега, облитое лучами заходящего солнца, полное покоя, величия и невообразимой первобытной красоты...

А последние столбы снеговой тучи мчались мимо, как остатки какой-то призрачной армии...

Ничего прекраснее этого зрелища я не видел никогда в своей жизни.

— Камнями этими поманили отцов наших,— сказал Фрол, и в лице его я прочел почти ненависть.— В них, говорит, золота лопатами греби... Поди, возьми его! Однако, братцы, ехать пора... Бери, Микеша.

— А во-он — Островский идет,— указал Микеша, когда мы вышли на откос берега.

Под огромными горами, на побелевшей и залитой косыми лучами вечернего солнца береговой полоске опять виднелась маленькая черная точка...

Долго еще после этого плыли мы по темной реке. Последние лучи заката давно погасли, горы утонули в густом сумраке, река как будто притаилась между смутными берегами, и всплески наших весел одни нарушали очарованное молчание, отдаваясь чутким эхом заснувших ущелий... Вверху было глубокое, темное небо, внизу таинственно мерцающая глубина... И до сих пор еще, порой, я вижу во сне эту темную реку, и смутные отражения редких звезд, и эти горы, похожие в темноте на тучи, и нашу лодочку, покачивающую невидимой волной великой сибирской реки... И на меня веет от этих воспоминаний глубокою, неизобразимою словами печалью. Откуда она — я сказать не могу... Отголосок ли невозвратного прошлого, смутное мерцание пройденного уже пути жизни? Или это определенная человеческая грусть этих станочников, обреченных караулить на диких берегах полосатые казенные столбы и холодные камни?..

— Огонь! — радостно сказал один из моих товарищ.

Действительно, за поворотом, навстречу нам засверкал на берегу живой огонек костра под темными скалами. Подъехав ближе, мы услышали хриплый голос, выводивший какую-то песню, у костра виднелись три человеческие фигуры, в которых мы скоро узнали Островского и недавно встреченных нами бродяг.

Вероятно, заслышав плеск весел, Островский поднялся, отошел от костра и остановился, вглядываясь в темноту.

Потом он сошел на берег.

— Ага! Это вы? — сказал он.— Ого-го! и Микеша с вами...

— А вы, Островский, нашли себе товарищ? — сказал я.

— Ребята теплые! — ответил он с насмешкой в голосе.

— Не совсем только подходящая компания для девочки...

— Ни-и-чего! — ответил он уверенно. — Го-го! Островского никто не обидит, а за Анюту... горло перервуй!..

— Островской! Куда ушел? С кем ты там разговариваешь? — крикнул один из бродяг от костра.

— Молчи! Не твое дело! — грубо ответил ему Островский и, опять обращаясь к нам, прибавил: — Думаете, пропаду?.. Нет, не пропаду... Был дурак, чуть не пропал... Ха! Думал святую землю работать, других научить, как за нею ходить надо... Спасибо, самого научили!

— Островской — дьявол! — послышалось опять с берега, и один из сидевших у костра бродяг зашевелился...

— Однако вы лучше проезжайте по добру, — сказал Островский. — Товарищи мои выпили... Как раз захотят познакомиться...

Фрол быстро двинул лодку багром, и она нырнула с нами из освещенного пространства в темноту.

— Храни господи, — сказал старый ямщик. — Жиган ныне голодный, как волк. На станках не подаем мы... А водку жрут, — прибавил он с удивлением и, пожалуй, с завистью...

Мне показалось, что Островский тоже был слегка выпивши. Мы отъехали сажен тридцать, когда с берега послышался пьяный голос бродяги:

— Микеша! А, Микеш! Желторотой! На волю хочешь?

— Молчи ты, пьяный! — сказал сурово Островский.

— Ну, ничего, не сердись, Островской, я ведь, любя...

— Микеш!.. Мике-еш!.. Микешенька... — катилось еще долго над сонной рекой, перемежаясь пьяным хохотом. Ямщики молча налегали на весла, и вскоре огонек скрылся из виду.

Ночь продолжала тихо ползти над Леной. Взошла луна, красная, как кровь, и опять закатилась за вершину близкой горы. Северная Медведица спустилась низко, все растягиваясь и вырастая... Потом мутное облако поглотило редкие звезды, а наша лодка все плыла... Я как-то не заметил, как мы еще раз перерезали реку, и спохватился только, когда лодка зашуршила килем по песку.

Кругом было пусто. За широкой береговой отмелю лежала полоса гор, молчаливых и сонных...

Ямщики сложили весла, стали в лодке, приставили руки к щекам, и над пустынным берегом, будяочные отголоски, понесся протяжный крик:

— Аг-ы-ы-ы...

Фрол кричал, видимо надрывая старую грудь. Микеша тянул свободно, полным и звучным голосом. Никогда еще я не слыхал подобных звуков из человеческой груди... Крик был ровный, неустанный и гулкий, точно тягучий отголосок огромного колокола... Это был обычный призыв с берега к спящему за отмелю отдаленному станку.

— Аг-г-гы-ы... ямщики!

Старик сорвался глухим хрипом и болезненно закашлялся.

— Э-эх,— сказал он с горечью,— съела у меня голос река-матушка.

Микеша продолжал кричать, не останавливаясь для передышки...

— Идут,— сказал, наконец, Фрол.

Действительно, за отмелю мелькнули огни фонарей, и Микеша тоже смолк. И тотчас же со стороны реки, из-за горы, как бы в ответ на крик ямщика раздался такой же протяжный крик, только чудовищно громкий и глубокий. Мы невольно переглянулись и замерли, охваченные безотчетным испугом... Казалось — сказочное чудовище пронеснулось и завыло где-то неподалеку.

— Пароход,— сказал первым опомнившийся Фрол.

Вскоре в глубине темной ночи послышались частые гулкие удары, и на реку, сверкая огнями, выплыл пароход с двумя барками. Микеша быстро вскочил в лодку и отсунулся от берега, кинув Фролу его узел. Через минуту лодку едва можно было разглядеть на темных волнах Лены.

— Прощай, Микеша! — крикнул я вдогонку.

— Проща-ай! — донеслось в ответ из темноты.

— Варнака к варнаку тянет,— с презрением сказал Фрол.— К жиганам, видно, пристанет.

— А ты разве не знал, зачем он у тебя выменивает лодку? — сказал я.— Зачем же уступил?..

Фрол ответил не сразу.

— Хорошо ли бумагу писал? Крепко ли? — спросил он через минуту.— Станочники чисто собаки. Не отадут, пожалуй.

В это время к нам подошли станочники с фонарями, и все мы молча смотрели, как пароход, повернув к нам оба огня, бежал как будто прямо к нашему берегу... Под лучом пароходного огня мелькнула на мгновение черною тенью лодка Микеши и исчезла...

— Кто на реке? — спросил один из ямщиков.

— Микеша,— ответил Фрол торопливо.— Со мной приехал, да, вишь, сейчас отсунулся.

— Пошто?

— Я разве знаю?.. Ничего не говорил. А видно, опять в бега снарядился.

— В бега, так пошто за барку зачалился? — сказал опять пришедший ямщик, зоркие глаза которого, очевидно, пронизывали темноту там, где я ничего не видел.

— С жиганами, видно, стакнулся. Жиганы повыше камней noctуют.

— Ну, ин, видно, так,— равнодушно подтверждали ямщики. Некоторое время они следили за поворачавшимися огнями парохода, как бы обсуждая, что принесет им с собою эта редкая еще на Лене новинка: облегчение суворой доли и освобождение или окончательную гибель... Оба огня на кожухах исчезли, и только три звездочки на мачтах двигались еще некоторое время в черной тени высоких береговых гор... Потом и они угасли... Над Леной лежала непроницаемая ночь, молчаливая и таинственная...

Недели через две, с теми же остановками и спорами, мы все еще двигались кверху по замерзающей Лене, когда нас догнал знакомый почталион, встреченный нами еще под Якутском и теперь возвращавшийся обратно. Сообщая различные новости пройденного уже нами пути, он рассказал, между прочим, что на несколько станков ниже Батамая оголодавшие бродяги ограбили было проезжего купца. Согнали народ и устроили облаву: варнаки отсекивались в пещере, отстреливаясь камнями, но, в конце концов, сдались. С ними, говорили, попался молодой ямщик, убежавший с Титаринского станка.

— А Островского с ними не было? — спросил я.

— Нет. Он отстал от них раньше.

— Неужели Микеша тоже участвовал в грабеже?

— Кто его знает. Сам говорит, что участвовал, но ни купец, ни бывший с ним ямщик его не видели. А бродяги смеются: «Так, говорят, припутался к нам желторотый зря...»

Мне казалось, что я понял Микешу: он, очевидно, думал, что если ему удастся выбраться «за горы» через острог, то это будет крепче, и станочники его уже не достанут, как свою собственность, обратно... Да и сам он, долгим общением в остроге с «умными» и бывальными людьми, надеялся, вероятно, просветиться...

Да, всякие бывают мечты... Сбылась ли мечта молодого станочника, — я не знаю...

С О Д Е Р Ж А Н И Е

<i>В. И. Этov. Человек рожден для счастья</i>	5
<i>Сон Макара (Святочный рассказ)</i>	21
<i>Парадокс (Очерк)</i>	49
<i>Без языка (Рассказ)</i>	67
<i>Мороз</i>	199
<i>«Государевы ямщики»</i>	223

Литературно-художественное издание

Д л я с р е д н ей ш к о л ы

Короленко Владимир Галактионович

СОН МАКАРА

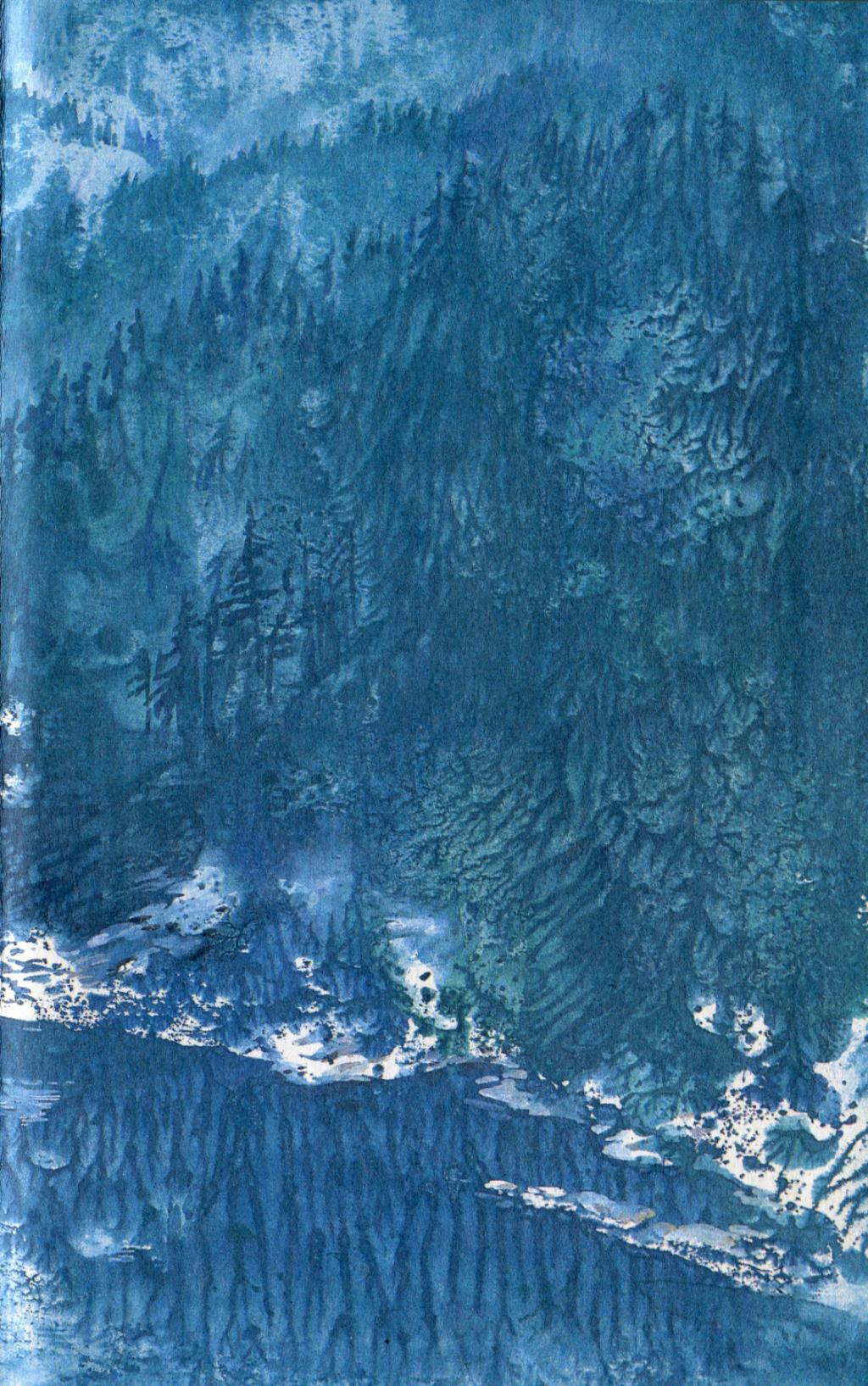
Ответственный редактор *И. П. Посоинская*. Художественный редактор *Л. Д. Бирюков*.
Технический редактор *Г. Г. Рыжкова*. Корректор *Л. А. Лазарева*

ИБ № 11300

Сдано в набор 25.01.89. Подписано к печати 24.05.89. Формат 84×108¹/32. Бум. типогр. № 1.
Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,44. Усл. кр.-отт 14,7 Уч.-изд. л. 13,39.
Тираж 200 000 экз. Заказ № 1400. Цена 80 к. Орденов Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкас-
ский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Росглавполиграф-
прома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».





ШКОЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА

80 к.

Упрямо,
не щадя себя,
никого и ничего не щадя,
вносите в жизнь
справедливость.

В. Г. Короленко



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»